

ANNALES INSTITUTI PHILOGOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XIV.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP



DEBRECEN, 1977

СОТРУДНИКИ
НАШЕГО ТОМА

И. К. БЕЛОДЕД

профессор кафедры украинского языка
КГУ, академик АН СССР, вице-прези-
дент АН УССР
(СССР, Киев)

ЛАСЛО ДЭЖЕ

(См. Slavica XIII.)

А. С. ДЯЧЕНКО

доцент кафедры истории украинской ли-
тературы КГУ
(СССР, Киев)

Н. С. ЗАРИЦКИЙ

доцент кафедры славянской филологии
КГУ
(СССР, Киев)

ЭНДРЕ ИГЛОИ

профессор (См. Slavica I.)

М. А. КАРПЕНКО

профессор (См. Slavica X.)

ЛАЙОШ КИШ

старший научный сотрудник (См. Slavica
V.)

А. В. КУЛИНИЧ

профессор кафедры истории русской ли-
тературы КГУ
(СССР, Киев)

ЛАСЛО ЛИБЕР

(См. Slavica XIII.)

ИШТВАН МОЛНАР

старший преподаватель (См. Slavica XIII.)

ЭМИЛЬ НИДЕРХАУЗЕР

профессор (См. Slavica IV.)

ФЕРЕНЦ ПАПП

профессор (См. Slavica XI.)

С. В. СЕМЧИНСКИЙ

профессор (См. Slavica X.)

МИХАЙ ХОППАЛ

научный секретарь (Институт Этногра-
фии и Фольклористики АН Венгрии)

К. А. ШАХОВА

(См. Slavica X.)

С. Ф. ЩЕЛОКОВА

старший преподаватель кафедры исто-
рии русской литературы КГУ
(СССР, Киев)

SLAVICA

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

XIV.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1976

**Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение
в жизни народов СССР**

И. К. БЕЛОДЕД

Учение В. И. Ленина о развитии национальных языков, ленинская теория и практика национально-языкового строительства в социалистическом обществе, опираясь на основополагающие работы, высказывания классиков марксизма-ленинизма по вопросу социальной сущности и общественных функций языка, сформировалось вместе с созданием всего комплекса ленинского учения о социалистической революции, о революционных преобразованиях в стране победившего пролетариата, в стране трудящихся. Являясь продолжателем идей К. Маркса и Ф. Энгельса и в этой области общественного развития, В. И. Ленин на основе глубокого анализа языковой действительности в многонациональных капиталистических государствах Европы, Америки, Азии и др. высказал свои глубокие политические, философские, социологические положения, вскрывшие сущность угнетения языков подневольных народов этих континентов как части общего социально-экономического, политического, культурно-просветительного и общего духовного угнетения. Борьба за свободное развитие национальных языков народов, их функционирование во всех сферах жизни определяется в ленинизме как часть общей борьбы рабочего класса, всех трудящихся за свое социальное и национальное освобождение из-под гнета капитализма, как одно из важнейших положений ленинской теории социалистической революции.

Для глубокого понимания этого вопроса большое методологическое значение имеет марксистско-ленинское положение о языке как характерной, определенной черте, признаке различных форм человеческих общностей, в частности и особенно его роли в формировании нации. Как известно, в марксистско-ленинском определении нации язык, наряду и в сочетании с другими важнейшими компонентами, выступает как один из основных признаков этой общности людей.

Процессы языкового развития общества в период формирования наций, в частности национальных движений, привлекали пристальное внимание В. И. Ленина. «Экономическая основа этих движений, — отмечал он, — состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внут-

ренного рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения. . .»¹. Таким образом, в этом высказывании сформулированы важнейшие марксистско-ленинские методологические положения, определяющие сущность нации как исторической общности людей, объединенной единым языком, территорией, прочными внутренними экономическими связями, определенными чертами культуры. Язык назван здесь как важнейшее средство человеческого общения и как важнейший признак нации, что В. И. Ленин неоднократно подчеркивал и в ряде других своих работ.

С другой стороны, здесь четко охарактеризовано социально-историческое значение единства национального языка, его беспрепятственного развития и закрепления в литературе. Единство языка нации фиксирует, во-первых, ограничение сфер употребления ряда территориальных диалектов, игравших свою значительную роль в развитии и жизни языка в период донациональной общности (на этапе народности, например), и возвышение центральных языковых массивов, ставших основой единства национального языка; во-вторых, это единство языка нации характеризуется закреплением народно-разговорной речи в литературе, т. е. литературный язык нации базируется на народно-разговорной национальной основе, и в этом его существенное отличие от языкового развития в донациональный период, когда литературный язык (письменный) не был тесно связан с народно-разговорной основой, речью, даже больше: в роли литературного, письменного языка мог быть использован и другой язык (например, церковнославянский у восточных и некоторых южных славян, латинский — в ряде западноевропейских стран — и т. п.).

Обладая качествами поливалентности, т. е. охватывая своей сущностью и функциями все сферы социальной структуры общества, многогранной деятельности человека, единый национальный язык, однако, не унифицирует общественное сознание, мышление людей, принадлежащих к одной нации, но к разным классам, ибо «иметь один язык — это не значит одинаково мыслить»². Национальный язык не является также категорией, обособляющей его носителей от других народов, говорящих на других национальных языках, и якобы препятствующей общей, общечеловеческой логике мышления, усвоению общечеловеческих интеллектуальных языковых ценностей, достижений цивилизации, прогресса.

Классики марксизма-ленинизма большое внимание уделяли, в частности, проблеме развития языка и языков в многонациональных и многоязычных государствах. В. И. Ленин еще в конце XIX — в начале XX вв. глубоко изучал языковую ситуацию в таких многонациональных странах, как Россия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Германия и др., т. е. правовое положение народов, населяющих эти государства, и реальную языковую действительность, связанную с этим положением. Как известно, эта языковая ситуация характеризовалась

¹ В. И. Ленин. ПСС, т. 25, стр. 258.

² См.: Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М. Политиздат, 1972, стр. 72.

жестоким угнетением «негосударственных» языков, т. е. языков тех народов, которые буржуазными идеологами, реакционерами назывались в России «инородцами», а в Австрии, Германии — исторически «бесперспективными» нациями и народностями.

В. И. Ленин и Коммунистическая партия решительно боролись за престиж и права национальных культур (в ленинском понимании содержания культуры) и языков всех народов, подчеркивая, что в благоприятных условиях языки всех народов могут достичь высокого уровня в своем развитии и быть орудием прогресса и борьбы народов за свои права.

Как известно, государственно-политический строй царской России, Австро-Венгрии и ряда других многонациональных стран законодательно закреплял язык господствующей нации как язык государственный (это осталось и в ряде современных государств). В. И. Ленин высказал категорическое отрицание обязательного государственного языка: «... социал-демократия, — писал он, — отвергает «государственный» язык»³. Он обосновал требование об отсутствии «... обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках»⁴.

Еще в дореволюционные годы внимание В. И. Ленина привлекал также вопрос о языке межнационального общения народов, живущих в многонациональном и многоязычном государстве. Наблюдая языковую ситуацию в странах Европы, Америки и др., усиление экономических, исторических, научных и культурных связей между народами, между рабочими разных национальностей, он видел историческую потребность и необходимость в языках межнационального общения, которые были бы избраны для этой цели трудящимися совершенно добровольно, в своих жизненных интересах. Еще в 1913 г. В. И. Ленин писал, что «... потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства. Чем демократичнее будет строй России, тем... настоятельнее потребности экономического оборота будут толкать разные национальности к изучению языка, наиболее удобного для общих сношений»⁵, «... потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной страны, знать который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм...»⁶.

Таким языком межнационального общения еще в дореволюционной России стал русский язык. Вопреки царской реакции, идеологии буржуазного национализма и шовинизма разных мастей высокоразвитый русский язык, который к угнетенным народам нес свет освободительных идей и передовой культуры, стал для народов России языком межнационального общения и единения. В. И. Ленин боролся за то, чтобы были ликвидированы препятствия, затрудняющие

³ В. И. Ленин. ПСС, т. 23, стр. 317.

⁴ В. И. Ленин. ПСС, т. 24, стр. 295.

⁵ В. И. Ленин. ПСС, т. 23, стр. 423.

⁶ В. И. Ленин. ПСС, т. 23, стр. 424—425.

«...великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы...»⁷, чтобы были созданы условия, при которых бы «каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку»⁸.

С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин, Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют максимум внимания ко всем нациям и народностям СССР, к развитию их языков. Огромными, эпохальными во всей истории человечества были мероприятия по осуществлению культурной революции в Советской стране, важнейшей частью которых была ликвидация неграмотности народов Советской страны, процесс, происходивший на родных, национальных языках наций и народностей СССР и на русском языке. Это был могущественный социальный рычаг приобщения самых широких масс трудящихся страны к активной государственно-политической, производственной, культурной жизни. Для 43 народностей СССР, ранее бесписьменных, были созданы алфавиты, письменности... К ликвидации неграмотности были привлечены большие силы ученых, учителей, культурмейцев — всей советской интеллигенции. Все эти мероприятия, в которых активное участие принимала советская языковедческая наука, нашли свое освещение в литературе, получили высокую оценку со стороны Коммунистической партии, Советского правительства, всей общественности. Один из участников создания письменности для народов Севера, выдающийся советский лингвист, ныне член-корреспондент АН СССР В. А. Аврорин вспоминает, что для 25 народов Севера была создана «Золотая грамота» — письменность на 14 языках. Со временем малочисленные народы объединились в обучении с другими, и в настоящее время на Севере действует 8 письменностей. Подготовлены кадры национальной интеллигенции — учителей, культработников, выросли писатели, ученые. В тайге, на берегу Ледовитого океана, на берегах далеких, казалось бы, северных рек звучит радио на языках народов Севера; в школах идут занятия на национальных и на русском языках. Органы Советской власти, Коммунистической партии разговаривают с массами на родных языках⁹.

Ярким примером развития национальных языков народов СССР в эпоху развитого социалистического общества, внимания и уважения к ним со стороны Коммунистической партии, Советского правительства, лингвистической и педагогической науки, всей системы просвещения является то, что 1974/75 учебный год школы многонационального советского общества начинают обучение в первом классе по букварю, созданному на 90 языках народов СССР тиражом до 5 миллионов экземпляров.

Так как начало этого учебного года совпало со знаменательной датой в истории культуры русского, украинского и белорусского народов — с 400-летием первого русского букваря великого сына русского народа — восточнославянского просветителя Ивана Федорова, букваря, изданного во Львове в 1574 году, уместно будет напомнить, что многие великие просветители каждого народа

⁷ В. И. Ленин. ПСС, т. 24, стр. 295.

⁸ В. И. Ленин. ПСС, т. 24, стр. 295.

⁹ В. А. Аврорин. Роль родного и русского языков в культурном подъеме народов Севера. «Известия АН СССР», Серия лит. и яз. Том XXXII, вып. 6, 1973.

нашей Родины стремились создать первоначальную учебную книгу на родном языке, однако осуществить это стало возможным только после Великой Октябрьской социалистической революции, на основе ленинской национальной политики КПСС: свыше 40 ранее бесписьменных народов нашей страны, с помощью русского языка, обрели свою письменность, развили, наряду со старописьменными, свои литературные языки.

В числе названных выше 90 букварей этого учебного года отметим такие, например, как буквари на ненецком, чукотском, эвенкийском, мансийском, эскимосском языках, на языке шурыхшарских хантов и др.¹⁰

Осуществились великие надежды А. С. Пушкина: «И назовет меня всякая сущая в ней язык»; пророческие слова Т. Г. Шевченко: «Нічим отверзуться уста».

В. И. Ленин своей государственной и партийной деятельностью всемерно способствовал всестороннему развитию народов СССР, в частности развитию и совершенствованию их культуры, их языков, просвещению на родных языках. В языковой жизни народов Советского Союза установилось гармоническое сочетание функций национальных языков и языка межнационального общения и единения — русского языка. Это положение нашло свое отражение в Программе КПСС¹¹.

Равноправие национальной жизни народов СССР, в том числе и равноправие, всемерное содействие развитию национальных языков, обеспечение их престижа, было осуществлено на деле и закреплено законодательно Конституцией Союза ССР и Конституциями союзных республик.

Высокое право обучать своих детей на родном языке зафиксировано также в Законе о школе.

Все эти мероприятия КПСС и Советского правительства, осуществляемые на основе ленинской национальной политики, полностью обеспечили развитие и совершенствование национальных языков народов СССР, их эффективное функционирование во всех сферах государственно-политической, производственно-экономической жизни нашей многонациональной страны, в области науки, культуры, просвещения, в быту. Высокий уровень литературных языков социалистических наций СССР, наличие в них всех функциональных стилей — научного, публицистического, делового, словесно-художественного, эпистолярного, литературной устной речи и т. п. — это яркое свидетельство заботы партии и правительства о развитии национальных языков народов СССР.

Достижения в национально-языковом строительстве Советского Союза и их влияние на развитие культуры советских народов, сама лингвистическая теория и практика двуязычия в нашей многонациональной стране, основанная на ленинской национальной политике КПСС — политике уважения ко всем языкам и культуре народов страны вызывает, с одной стороны, озлобленную клевету буржуазных националистов, в частности украинских, извращенно толкующих вместе с идеологами капиталистического мира о якобы имеющемся в СССР угнетении национальных языков, о «русификации» и т. п. Однако мно-

¹⁰ См. подробнее: Молчанов. С днем рождения, букварь! «Правда», 14. VIII. 1974.

¹¹ Программа КПСС, М., Политиздат, 1972, стр. 115—116.

гие прогрессивные зарубежные ученые, социологи видят правду и в этом вопросе и в своих книгах, статьях, впечатлениях реалистически показывают нашу языковую действительность. Так, например, американский общественный деятель, социолог Уильям Таунсенд в книге «Они нашли общий язык. Общность на основе двуязычия»¹², явившейся результатом двух поездок автора в СССР, убедительно показывает сочетание развития национальных языков народов СССР и языка межнационального общения — русского языка — во всех сферах деятельности советских людей. Автор подчеркивает, что с помощью национальных языков, создания письменности на этих языках была поднята грамотность и культура ранее отстающего в этом отношении населения окраин. С помощью русского языка, овладение которым происходит на базе глубокого уважения к национальным языкам, расчищающим путь для изучения русского языка, — все народы, добровольно избравшие его как язык своего межнационального общения и единения, приобщаются к достижениям всех народов СССР, к общей науке и культуре, к культурным ценностям мира¹³.

Равноправие национальных языков народов, их всемерное развитие и совершенствование — это программное положение Коммунистической партии, фиксируемое на всех этапах ее истории как составная часть общей борьбы за революционное преобразование общества. Программа КПСС отражает и современное состояние и перспективы развития национальных языков народов СССР: «Обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков. В условиях братской дружбы и взаимного доверия народов национальные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения»¹⁴.

Программа КПСС отражает также утвердившееся в языковой жизни народов СССР отношение к русскому языку: «Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком, русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР»¹⁵.

В языковой жизни народов Советского Союза установилась общепризнанная практика: гармоническое сочетание функций национальных языков страны и языка межнационального общения и единения — русского языка. При этом национальные языки советских народов действуют во всех сферах общественной жизни как высокоразвитые литературные языки. Русский язык с честью выполняет свои задачи языка межнационального общения и сотрудничества

¹² Townsend, W. C. They found a common language; Community through bilingual education. New York, 1972.

¹³ См. рец. на книгу У. Таунсенда: М. Исаев, В. Нестеров. Язык дружбы свободных народов. «Коммунист», 1973, № 18, декабрь.

¹⁴ Программа КПСС. М., Политиздат, 1972, стр. 115.

¹⁵ Программа КПСС. М., Политиздат, 1972, стр. 115—116.

народов СССР, языка международного действия. Во всех республиках СССР народы, наряду со своими национальными языками, глубоко изучают, овладевают и русским языком, который расширяет, умножает жизненные возможности человека в нашей многонациональной и многоязычной стране. Таким образом, в многоязычном советском обществе широкую практику приобрел тот тип плодотворного двуязычия, который обеспечивает полные функции как национальных, родных языков, так и второго языка — языка межнационального общения.

Отношение к языкам наций и народностей СССР со стороны Коммунистической партии и советского правительства зиждется на ленинском положении о том, что национальные различия между народами и странами «будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе...»¹⁶

В Программе КПСС зафиксирован дальнейший путь развития наций и национальных языков: «С победой коммунизма в СССР произойдет еще большее сближение наций, возрастет их экономическая и идейная общность, разовьются общие коммунистические черты их духовного облика. Однако стирание национальных различий, в особенности языковых различий, — значительно более длительной процесс, чем стирание классовых граней»¹⁷. Ленинские положения о развитии национальных языков народов СССР, о русском языке как языке межнационального общения народов СССР, являющиеся программными основами политики КПСС и Советского правительства в этом вопросе, полностью воплощены в жизнь народов СССР, в развитии социалистического общества Советского Союза. В нашей стране сформировалась новая историческая общность людей — советский народ, единая интернациональная общность, характеризующаяся монолитной дружбой всех наций и народностей страны. Эта новая социальная структура общества создавалась не путем ассимиляции народов, нивелирования их национального облика, игнорирования их языков и культур, как это имеет место в многонациональных капиталистических странах, — она возникла на основе постоянного учета «как общих интересов всего нашего Союза, так и интересов каждой из образующих его республик — такова суть политики партии в этом вопросе»¹⁸. Наше развитое социалистическое общество достигло расцвета государственной, экономической, духовной жизни всех наций и народностей великой многонациональной страны, подъема этих национальных достояний до высокого уровня единой многонациональной общности, в частности единой многонациональной культуры с ее интернациональным характером. Яркую реализацию получает при этом положение о социалистической по содержанию, национальной по форме культуре народов СССР, о расцвете языков народов СССР. «Вызывает большое удовлетворение тот факт, — говорил в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС Л. И. Брежнев, — что плодотворное развитие литературы и искусства происходит во всех наших

¹⁶ В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 77.

¹⁷ Материалы XXII съезда КПСС. М., Политиздат, 1961, стр. 406.

¹⁸ Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М., 1971, стр. 93.

республиках, на десятках языков народов СССР, в ярком многообразии национальных форм»¹⁹.

В Советском Союзе нет языков «государственных» и «негосударственных» — они все равноправны во всех сферах жизни многонационального советского общества. О расцвете языков социалистических наций и народностей СССР свидетельствуют развитие печати на этих языках. Вот некоторые данные: книгопечатание в СССР осуществляется на 145 языках народов мира (ср.: из около 3000 языков мира письменными литературными являются около 250²⁰), т. е. больше, чем на половине лит. языков мира; в дореволюционное время в России литература существовала только на 13 языках народов страны, а в СССР — на 89 языках: десятки народов в годы Советской власти впервые получили письменность и литературный язык; малочисленные народности и этнические группы — их около 60 (некоторые насчитывают немногим больше ста человек) — добровольно, по мотивам целесообразности, пользуются языками крупных наций, среди которых они живут. В межъязыковых контактах народов СССР большое значение имеют переводы художественной, политической, научной, научно-популярной литературы с одного языка народа СССР на другой, а также перевод иностранной литературы на языки народов СССР. Это, кроме всех других аспектов, играет огромную роль для взаимообогащения языков, для усвоения одними языками ценностей, выработанных и в других языках.

В результате всестороннего исторического развития многонационального советского общества в нашей стране, как это подчеркнуто на XXIV съезде КПСС, утвердилась новая историческая общность людей — советский народ. Давая характеристику этой новой общности, Л. И. Брежнев сформулировал теоретические выводы, имеющие большое значение для общественных наук, в том числе и для языкознания. «Говоря о новой исторической общности людей, мы вовсе не имеем в виду, что у нас уже исчезают национальные различия или, тем более, произошло слияние наций. Все нации и народности, населяющие Советский Союз, сохраняют свои особенности, черты национального характера, язык, свои лучшие традиции. Они располагают всеми возможностями добиться еще большего расцвета своей национальной культуры»²¹.

Глубокое отражение теоретических и практических выводов этого марксистско-ленинского положения видно в высказываниях советских политических деятелей, ученых, писателей, мастеров культуры. Член Политбюро ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК КП Украины В. В. Щербицкий отмечает:

«Важным результатом ленинской национальной политики является всестороннее развитие социалистической по содержанию и национальной по форме культуры всех социалистических наций и народностей нашей страны. В братской семье народов Советского Союза неизмеримо обогатилась, засверкала

¹⁹ Л. И. Брежнев, там же, стр. 108.

²⁰ Р. С. Гиляревский., В. С. Гривнин. Определитель языков мира по письменностям. М., 1965.

²¹ Речь тов. Л. И. Брежнева на совместном торжественном заседании ЦК Коммунистической партии Казахстана и Верховного Совета Казахской ССР в Алма-Ате 15 августа 1973 г., «Правда» 1973, 16 августа.

всеми красками культура украинского народа, во все сферы общественной жизни вошел наш родной украинский язык.

Пламенное слово ленинской правды, вдохновенное слово партии с одинаковой силой и убедительностью звучит на всех языках. Каждый народ любит свой язык и одновременно с любовью и уважением относится к русскому языку — языку революции, языку великого Ленина. Сознательно и добровольно избранный всеми народами Советского Союза как средство межнационального общения и сотрудничества, он играет огромную объединительную роль, служит делу интернационального сплочения трудящихся, обмену материальными и духовными ценностями, взаимообогащению национальных культур»²².

Одной из характерных закономерностей развития процесса сближения и единения социалистических наций и народностей СССР, дальнейшего развития новой исторической общности людей — советского народа и является усиление роли и функций русского языка как языка межнационального общения народов СССР, языка международного действия, могущественного фактора творческой помощи в развитии и старописьменных, и младописьменных языков народов и СССР, а также и ряда языков мира.

Широту языкового восприятия действительности, многоаспектности языкового сознания, задача воспитания которых является неременной обязанностью лингвистов, преподавателей языка, психологии, методики языка, в противовес узости языкового сознания, весьма удачно, по нашему мнению, сформулировал Чингиз Айтматов. На вопрос, на каком языке вы пишете, он ответил: «Писать можно на нескольких языках. Если бы я знал, кроме киргизского и русского, скажем, английский язык, то обязательно что-либо написал по-английски. Но все-таки, как показывает опыт, свой родной язык — та почва, из которой вырастает художник. И если художник будет затем развиваться и писать на нескольких языках, то это не помешает никому.

Я пишу на киргизском и на русском языках. Сейчас, например, работаю над новым произведением, которое называется «Кайрылып куштар кельгиче», а по-русски это значит: «Пока вернутся птицы перелетные». Пишу его на киргизском языке. Киргизский и русский языки для меня как две руки — левая и правая, и я не могу обойтись без какой-либо из них...»²³.

Любовь к родному языку, воспитываемая в советской школе, опирающейся в методике обучения родному языку как начальному элементу языкового сознания на взгляды К. Д. Ушинского, А. А. Потемни и других выдающихся ученых педагогов и психологов, с глубоким чувством выразил якутский поэт Семен Данилов в стихотворении «Родной язык»:

²² В. В. Щербицкий. В братской семье советских народов — к победе коммунизма... — В кн.: *Материалы совместного торжественного заседания...* Киев, 1972, стр. 22.

²³ Чингиз Айтматов. Вечна, как жизнь. Запись А. Дергачева. «Правда», 15 апреля 1972 года.

Пусть ума остроту ты выскажешь
На любом языке земном,
Все равно на чужом не выскажешь
То, что выскажешь на своем. . .
Эта радость
Нам с жизнью подарена.
Потому матерински велик
И татарский язык — татарину,
И якуту — якутский язык²⁴.
(Перевел с якутского В. Шаргунов)

Совершенно справедливым, относящимся ко многим языкам народов, следует считать мысль народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова о том, что «наш калмыцкий язык, на котором создана многовековая письменная литература, отнюдь не относился к числу бедных языков, но благодаря русскому языку он стал значительно богаче. . . Развитие двуязычия в нашей стране — это такой процесс, который всемерно способствует укреплению единства национального и интернационального»²⁵.

Поистине, великий русский язык стал общим языком многонационального и многоязычного единого советского народа и — наряду с функциями языков социалистических наций и народностей — стал межнациональным общим языком великой исторической общности — советского народа.

Говоря о большом значении русского языка как могучего средства межнациональных связей, общения и единения народов СССР, о его высокой роли в жизни современного мира, Л. И. Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» отметил: «Быстрый рост межнациональных связей и сотрудничества ведет к повышению значения русского языка, который стал языком взаимного общения всех наций и народностей Советского Союза. И всех нас, товарищи, конечно радует, что русский язык стал одним из общепризнанных мировых языков»²⁶.

Как уже отмечалось, наймиты империалистических разведок — буржуазные националисты сочиняют различные клеветнические вымыслы о «языковой ситуации» в Советском Союзе, в том числе и на Украине. При этом, в зависимости от характера враждебных установок, от «разрабатываемого сюжета», то они говорят о «русификации», о введении «единого» языка, то, наоборот, утверждают, что советская власть расплодила так много национальных языков, «раздробила» их с целью, мол, более легкого управления народами. . . Все эти утверждения вызывают у советских людей, в странах социалистического сотрудничества, у людей доброй воли во всем мире только презрительную улыбку.

Развитие и совершенствование национальных языков, способность их к усво-

²⁴ «Огонек» № 4, январь 1974, стр. 21.

²⁵ Давид Кугультинов. Язык общения народов. «Правда», 29 ноября 1972 г.

²⁶ Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. «Коммунист», 1972, № 18, стр. 15—16.

ению и обозначению новых понятий, выдвигаемых жизнью, развитием общества, требует борьбы против буржуазно-националистических тенденций архаизации, искажений в языке, стремлений к его ограниченности и раритетности, требует борьбы за чистоту и многогранное обогащение языка, его контактов с другими языками, борьбы против узости в языковом воспитании. Научная разработка этих вопросов, практические мероприятия борьбы за чистоту языка являются актуальной задачей языковедческой науки, преподавания языковедческих дисциплин в высшей и средней школе и всей нашей идеологической работы.

В многонациональной семье социалистических наций все нации и народности СССР в развитии своих литературных языков достигли стиливой многогранности, обеспечивающей современное развитие науки, культуры, просвещения, всей социальной, материальной и духовной жизни общества.

В современном процессе сближения наций СССР происходит взаимообогащение и взаимодействие их языков. Происходит консолидация национальных литературных языков, выработка монолитности их структуры. В процессе этой консолидации некоторые языки малых численно народностей, этнических групп вливаются в языки крупных наций (например, языки таких этнографических групп, как крызы, хиналуги, будухи и некоторые другие — в азербайджанский; шугнанцы, рушанцы, ваханы — в таджикский и т. д.). В этом случае объединения с большой нацией и ее языком малых групп населения с их языком возможны и процессы естественной ассимиляции. При этом происходит определенная дифференциация общественных и бытовых функций языков этих народов в плане увеличения или уменьшения сферы их употребления.

Одновременно в развитии языков социалистических наций вырабатываются черты *общности* в определенных компонентах их структуры и общественных функций, т. е. происходит процесс, наблюдаемый и в жизни мирового языкового океана, в развитии и взаимодействии языков мира, однако в социалистическом обществе он имеет целенаправленный характер, базирующийся на социальных и научных прогнозах развития многонационального общества.

Прежде всего это касается языкового освоения создаваемого прогрессом общественной жизни нового понятийного фонда с его терминологическими универсалиями. Элементы общности фиксируются как в лексике, так и в моделях словообразования, в синтаксических конструкциях, в семантической системе, в фразеологии, образности словесного выражения. Большое значение имеют также заимствования из языка в язык, языковые кальки, перевод иноязычной литературы, параллельное развитие словотворчества национальных языков и т. п.

Уже в настоящее время создан общий для многих языков интернациональный языковый фонд, особенно фонд социалистических интернационализмов, способствующий развитию взаимопонимания и сотрудничества. Все эти процессы активизируют творческие возможности языка *каждой* нации, его стремление к многогранной жизни, к совершенствованию, к постижению новых и новых понятийных ценностей современного мира. Эти процессы возвышают также значение языков народов, борющихся за свое освобождение от ига коло-

ниализма и неокOLONиализма, стремящихся построить новое общество на справедливой социальной основе, основе мира, прогресса, социализма.

В жизни мирового языкового океана, в жизни языков народов различных континентов нашей планеты происходят процессы, свидетельствующие об усилении борьбы народов во всем комплексе народно-освободительной, национально-освободительной борьбы — и за свободное развитие своих национальных языков. Ярким свидетельством этому является, например, борьба народов Африки, где образование новых государств народов, освободившихся от колониального гнета, сопровождается утверждением, провозглашением национального языка народа в многогранных функциях общественно-политической, культурно-просветительной и др. жизни (пример с Сомали и др.).

Требования свободного развития своих языков являются составной частью борьбы против социального и национального угнетения народов, борьбы против насильственной ассимиляции национальных культур и языков народов Америки, в том числе США, Азии, в частности Китая, Австралии, ряда стран Европы²⁷.

Говоря об общенациональной гордости советских людей, об этом великом патриотическом чувстве всего советского народа, об идеологическом единстве всех советских народов, Л. И. Брежнев в своем докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» подчеркивал, что эти чувства выражаются на всех языках народов СССР: «... советские люди — все советские люди, без различия национальной принадлежности или языка, — гордятся своей великой Родиной... Всем этим по праву гордится каждый советский человек, все сыновья и дочери нашей великой многонациональной Родины, «всякая сушью в ней язык»²⁸.

В Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «К советскому народу, к трудящимся всех национальностей Союза Советских Социалистических Республик» в связи с 50-летием СССР говорится:

«Все мы, в какой бы советской республике ни жили, на каких бы языках ни говорили, — дети одной матери Родины — Союза Советских Социалистических Республик»²⁹.

²⁷ Подробнее об этом вопросе см., в частности, в нашей брошюре «Язык и идеологическая борьба», Киев, «Наукова думка», 1974.

²⁸ Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. М., Политиздат, 1972, стр. 61—62.

²⁹ «Правда», 30, XII. 1972.

**Зіставне вивчення лексики інослов'янської мови
в українсько-російському мовному середовищі****М. С. ЗАРИЦЬКИЙ**

Підхід до мови як системи все більше застосовується в дослідженні мови на різних її рівнях. Не є виключенням і лексичний рівень, хоча відмінність поняття системи в лексиці від системи в фонології чи морфології очевидна, на що неодноразово вказувалось у різних роботах. Послідовне поширення принципу системності мови на лексичні дослідження дає змогу виробити методику створення детального опису системи в лексиці, про необхідність чого говорилось неодноразово, зокрема, щодо слов'янських мов. (КОЛОМІЭЦЬ, 3; КОПЕЦКИЙ, 76). Як слушно зауважується в роботах В. Т. Коломієць, структурно-тематичне членування лексичного складу різних слов'янських мов вивчено недостатньо, і ще менше розроблено проблематику типологічних збігів і розходжень слов'янських мов у галузі структури лексичного складу в його синхронічному стані і діахронічному розвитку (КОЛОМІЭЦЬ, 6). Про необхідність і можливість субстанціональної класифікації стандартних мов на базі лексики говориться в роботах з теорії компаративістики (БРОЗОВИЧ, 21).

У данній статті розглядається питання про те, яке значення має врахування системного характеру лексики споріднених мов для дослідження закономірностей стратиграфії лексичного матеріалу у кожній із цих мов. З'ясування специфіки структури лексичного багатства будь-якої мови має велике значення для створення наукової основи процесу засвоєння як лексики мови, що вивчається, так і мови в цілому. Щоб зрозуміти структуру чужої мови (в даному випадку — лексики), потрібно знайти шляхи порівняння її із структурою власної мови. Але, як відомо, лексика мови має багато параметрів (походження слів, їх стилістична класифікація, лексико-семантична, лексико-граматична характеристика і т. д.).

Для кожної окремої мети доводиться оцінювати такий багатофункціональний елемент мов, як слово, відповідно до конкретного завдання в оперуванні мовним матеріалом. В нашому випадку ми маємо оцінювати структуру одного із споріднених лексичних масивів з точки зору наявності в ньому лексичних одиниць, які б могли бути ототожнювані з лексичними одиницями іншої мови. Інакше кажучи, йдеться про пошуки закономірностей ототожнення засобами

рідної мови одиниць тієї мови, що вивчається, іншомови, про проблему розуміння значення мовних знаків іншомови за допомогою засобів власної мови, йдеться, зрештою, про переклад як засіб осмислення і засвоєння значеннєвої сторони лексичного складу іншомови. Ця проблема частково зачіпалася в дослідженнях на матеріалі далеких за структурою мов — російської і англійської (КОВЛЕР), української і німецької (КУШТЕНКО). Зокрема, звертається увага на не обхідність виділяти в учбовому мовному тексті відомий і невідомий пласт лексики (КОПИЛЕНКО, 67), диференціювати нові лексичні одиниці, виходячи з труднощів при їх сприйманні (КОПИЛЕНКО, 67).

Всяку мовну данність (текст) можна представити як таку, що може бути осмислена за допомогою: 1. наявного запасу лексики рідної мови; 2. лексики тих мов, які знає вивчаючий; 3. здатності дослідника проводити належні операції з мовним матеріалом, в першу чергу аналізу відтворення словопородження, тобто усвідомлення тієї моделі, за якою відбулось творення слова. (КОВЛЕР, КОПИЛЕНКО, 74). Виходячи з таких установок, вся лексика, яка є об'єктом вивчення, може бути розділена на групи.

Перша група включатиме слова чужої мови, що мають тотожні відповідники в рідній мові. *У другу групу* входять такі чужі слова, що тлумачаться за допомогою інших мов, які знає той, хто сприймає чужий мовний текст. *Третя група* — це слова, що можуть бути ототоженені при проведенні відповідних лінгвістичних операцій по дешифровці словотворчої структури. І, нарешті, *четверта група* — слова, зовнішня форма яких зовсім незнайома для вивчаючого.

Потрібно зауважити, що аналіз співвідношення лексичного матеріалу слов'янських мов у данному аспекті ще не проводився. Коли йдеться про слов'янські мови, тобто мови з чималою кількістю слів спільнослов'янського походження, далі, слів, які засвоєні однією слов'янською мовою з інших слов'янських мов, нарешті слів, які запозичені водночас кількома слов'янськими мовами із інших неслов'янських мов — то врахування наявності таких груп лексики і застосування наслідків такого осмислення структури лексичного фонду на практиці суттєво допоможе знайти оптимальні варіанти методик вивчення слов'янської іншомови.

Проблеми дослідження процесів багатогранних форм взаємодії національних мов у сучасну епоху (у тому числі і проблем білінгвізму і полілінгвізму (поліглотизму) відносяться до відання нової мовознавчої дисципліни — інтерлінгвістики (ГРИГОРЬЕВ, 38). Як показує аналіз літературних даних, контрастивна лінгвістика (зіставна) набуває все ширшого застосування. Активно займаються нею в югославських, польських, румунських, угорських, американських мовознавчих центрах. З 1972 року югославські вчені почали роботу над зіставним аналізом сербохорватської і російської мов (МЕНАЦ). Контрастивна лінгвістика в радянському мовознавстві має багаті здобутки, коли говорити про вивчення фонетичного, граматичного рівнів, головним чином у зіставленні східнослов'янських мов і англійської, французької, іспанської, німецької. Семасіолог шукають засобів для найбільш об'єктивного і деталізованого розкриття ки особливостей семантичної структури однієї мови, так і семантичних відношень

успадкованої лексики споріднених мов. (Роботи Р. А. БУДАГОВА, В. В. МАРТИНОВА, М. І. ТОЛСТОГО, С. В. СЕМЧИНСЬКОГО і ін.). Що ж до лексичного рівня, особливо уміжслов'янських мовних відносинах, то тут маємо лише перші початки. Цікавими у цьому відношенні є роботи білоруських вчених А. Э. Супруна. Г. А. Цихуна, П. П. Шуби. Зокрема, А. Є. Супрун пропонує проводити системний опис лексики за трьома типами показників — парадигматичних, дистрибутивних і статистичних. За його справедливим міркуванням, ця структура лексичного опису, відображаючи структуру збереження слів у пам'яті, сприятиме аналізу і синтезу матеріалу (СУПРУН). Створення теоретичних засад контрастивної лексикології слов'янських мов і організація комплексних досліджень у цій галузі — невідкладне завдання нашого часу.

Коли йдеться про зіставне вивчення лексичного матеріалу, то потрібно розмежувати поняття тотожності і нетотожності зіставлюваних слів. Під тотожністю лексичних одиниць різних мов ми розуміємо співпадіння фонетико-морфологічної зовнішності цих одиниць (план вираження) і їх предметно-логічного чи абстрактно-логічного значення (план змісту.) Це найлегший для первинного осмислення інотексту випадок, бо при цьому дане слово іншомовне знаходить такий відповідник у власній мові, фонетико-морфологічний вигляд і значення (смысл) якого повністю збігається зі словом, що перекладається. В границях явища тотожності можна відзначити повну тотожність та часткову, тобто таку, коли при однакових смислах порівнюваних слів відмічаються фонетичні чи афіксальні розходження, які, проте, не приводять до втрати формальної і смислової співвідності, відповідності цих одиниць. Для ототожнення в цих випадках дослідник має знати відповідні правила, яким підлягають такі розходження.

Відсутність спільності якогось із названих двох складників — формального або смислового — дає нам міжмовну *омонімію*, (коли є спільність формальної зовнішності слова при різних значеннях), або явища *омосемії* (коли однакове значення передається різними за формальним видом словами). Зазначені явища можна назвати нетотожністю словесних одиниць. Поняття тотожності /нетотожності не треба змішувати із терміном еквівалентність/ нееквівалентність, хоча ці пари термінів мають де в чому свої схоження і взаємні поля логічної взаємодії. Так, можна вважати, що до еквівалентних слів належать повнототожні та частковототожні слова, а також ті, що належать до омосемічного ряду. Безеквівалентними є ті слова, що не мають аналогів у іншомові ні в плані форми, ні в плані змісту. Це слова, які не перекладаються на іншу мову за допомогою постійного відповідника, які не мають співвідносності з певним словом іншої мови, а семантизуються описово (ВЕРЕШАГІН, КОСТОМАРОВ, с. 82).

Зазначену співвідносність між планом вираження, планом змісту і поняттями тотожність /нетотожність, і еквівалентність/ безеквівалентність можна представити у вигляді таблиці.

Щоб структурувати лексичний склад іншомови, потрібно враховувати такі чинники, як рівень знання власної мови дослідника, а також знання інших мов, в нашому випадку слов'янських. Так, наприклад, структуруацію лексики інослов'янської мови для носія української мови слід робити, виходячи із того факту, що частина лексичного масиву досліджуваної мови буде перекриватися

Типи свідношення Об'єкти співвідношення	Еквівалентність (однослівна)				Безеквівалентність
	Тотожність		Нетотожність		
	Повна	Часткова	Омонімія	Омонімія	
Фономорф. зовнішність слова (план вираження)	=	≈	≠	=	≠
Значення (план змісту)	=	=	=	≠	=

Знаком = передається рівність (співпадіння) за даною ознакою зіставлюваних елементів у іншомові і власній мові; ≈ неповна рівність; ≠ відсутність співпадіння.

лексемами російської мови. Таким чином, дослідник-двомовець дістає змогу оперувати приблизно вдвічі більшим знайомим лексичним матеріалом при семантизації, дешифровці значення мовних одиниць інослов'янської мови.

Схематично структуруацію лексичного складу досліджуваної мови можна зобразити так.

Сегмент А об'єднує слова, які семантизуються за допомогою української лексики. В сегменті Б розміщуються слова, що їх дослідник осмислює, вдаючись до лексики російської мови. При цьому утворюється ділянка В, яка фіксує слова, що є спільними і для української, і для російської мови. В сегменти А, Б і ділянку В входять в основному повнототожні і деяка частина частковототожних слів. Поле Г складається із слів, що є тільки частковототожними. Це слова, що їх можна семантизувати, вдаючись до відповідних операцій словотворчого аналізу. Далі йде поле Д, яке об'єднує нетотожні слова, ті, які віднесені до омосемічної групи. Це слова, що мають відповідні еквіваленти у мові дослідника. І, нарешті, поле Е, утворюване словами, що таких еквівалентів не мають, а семантизуються описово. При зіставленні даних таблиці І і схеми І, одержимо такі результати. Весь лексичний фонд слов'янської іншомови можна розділити на дві частини. До першої увійде спільновживана лексика, тобто групи тотожних (повно і частково) слів сегментів А, Б, В, Г.

До складу цих сегментів входять три підрозділи *спільновживаної* лексики. По-перше, це когнати (ЖЛУКТЕНКО, КУШТЕНКО) — генетично споріднені спільнослов'янські слова, що ведуть своє походження від одного етимону. По-друге, це інтернаціоналізми, по-третє, це взаємозапозичення мов, що зіставляються. У другу частину лексичного запасу іншомови входить *неспільновживана* лексика, тобто така, яка не має спільного етимону у зіставляюваних мовах. До таких слів неможливо віднайти однокореневого відповідника, який хоча б у одному значенні був рівним за змістом слову іншомови. Це слова, що мають однослівні смислові еквіваленти, але зовсім відмінні за формою від слів іншомови. Такі слова різних мов, що мають однакове значення, але різний фономорфологічний вид, умовимось називати *омосемами*, а саме явище — *омосемією*. До цієї ж частини лексики іншомови відносимо і ті слова, що не мають

однослівного відповідника (безеквівалента лексика). Таким чином, до другої частини включаємо сегменти Д і Е.

Наведена схема знаходить своє втілення при дослідженні конкретного мовного матеріалу. У нашому випадку було проведено аналіз лексики чеської мови на літер *Ž* у зіставленні із українською і російською мовою. До групи А відносяться слова, що тлумачаться виключно за допомогою українських відповідників: *žádati* — просити, вимагати; *žádný* — жодний, ніякий; *žáha* — згага; *železnice* — залізниця, — *čpí*, *žežulka* — зозулька, зозуля; *žínka*, *žebrák*, *žebrácký*, — ачка, — *atí*. Ці слова мають корені спільнослов'янського походження, деякі з них утворились пізніше (напр. *železnice*). Тут відзначені і лексеми, що є запозиченими (*žert* — жарт).

В групі Б знаходяться слова, які розпізнаються із використанням російських слів: *žaludek* — желудок; *žena* — жєна, супруга; *ženuška* — жєнушка; *žábry*, *žatva*, *železný*, *žerd'*, *žernov*, *žgátí*. Це також слова спільнослов'янського лексичного фонду, що або втратились в українській мові (як, наприклад, желудок, жердь), або мають інший фонетично-морфологічний вигляд: *žatva* рос. — жатва, укр. — жнива; *žhoucí* — рос. жгучий, укр. — жагучий; *ženuška* — рос. жєнушка, укр. жіночка.

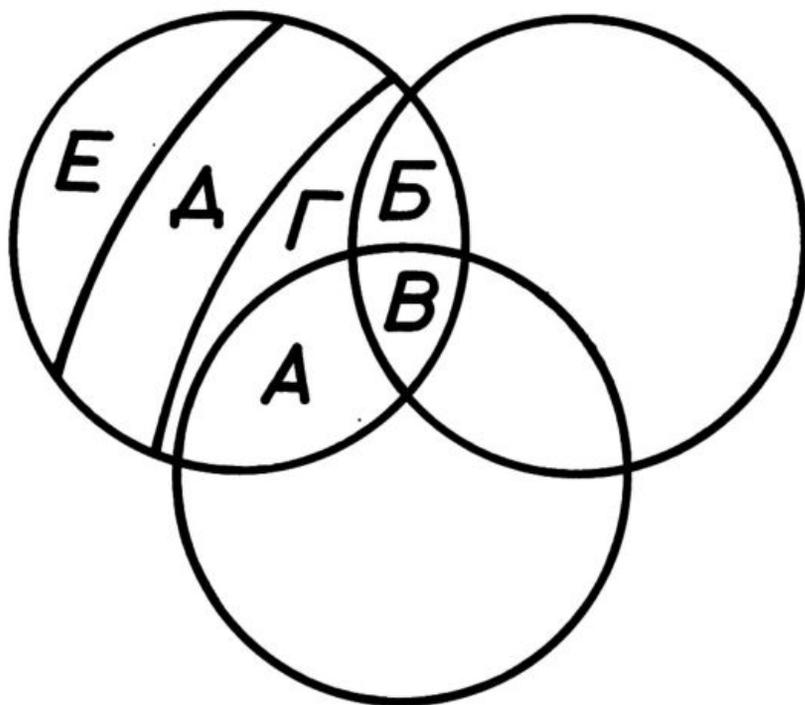


Схема І

Досліджувана
інослов'янська мова

Українська мова

Російська мова

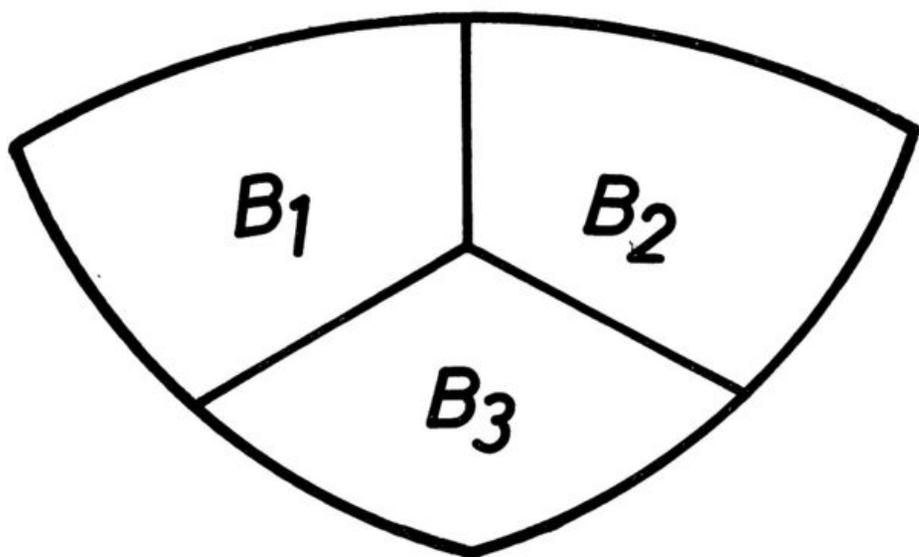


Схема II

Особливий інтерес становлять слова групи В (схема 2).

До їх складу відносяться, перш за все, слова спільнослов'янського походження (B_1): *žába* укр. рос. — жаба, *žaloba* укр. рос. — жалоба (в укр. мові існує синонім *скарга*). *žág* укр. рос. — жар, *ženich* укр. — жених, рос. — жених, *žila* укр. — жила, рос. — жила, *žirný* укр. — жирний, рос. — жирный, *žiti* укр. — жити, рос. — жить, *žito* укр. — жито, рос. — жито, *živý* укр. — живий, рос. — живой, *žpec* укр. — жнец, рос. — жнец.

Деякі з слів цієї групи мають фонетичні відмінності: *želeti* укр. — жаліти, рос. — жалеть; *živost* укр. — живість, рос. — живость.

По-друге, сюди входять слова, запозичені у зіставлювані мови з інших мов. (B_2).

žaluzie укр. — жалюзі, рос. — жалюзи; *žánr* рос., укр. — жанр; *žargon* рос., укр. — жаргон; *želatina* укр. — желатин, рос. — желатин; *želé* укр. — желе, рос. — желе; рос., укр. — жезл, ч. *žezlo*; рос., укр. — жираф, ч. *žirafa*; укр. — жиро, рос. — жи-ро, ч. *žiro*; рос., укр. — жокей, ч. *žokej*; укр. — жонглер, рос. — жонглер, ч. *žonglér*; рос., укр. — жоржет, ч. *žoržet*; ч. *žurnal* рос., укр. — журнал. Деякі слова, хоч і мають фонетичну відмінність, легко семантизуються: *žampión*, укр. — шампіньон, рос. — шампиньон.

По-третє, сюди відносяться слова, що є спільнослов'янськими, але з відомих історичних причин набули неоднакового фонетичного вигляду у різних слов'янських мовах (B_3). Так, наприклад, порівняно легко ідентифікувати такі словесні одиниці, як: *žlab* (*gelb*) — укр. — жолоб, рос. — желоб; *žlutý* укр. — жовтий, рос. — желтый. З метою полегшення семантизації таких слів треба вдаватися до матеріалів порівняльної граматики слов'янських мов, зокрема у фонетичному аспекті, як це зроблено, наприклад, в сконденсованому вигляді в останніх роботах; див. О. хешка, «Грамматический очерк чешского языка в Че-

ско—русском словаре», под редакцией Л. В. Копецкого, Й. Филиппа и Лешка, изд. «Советская энциклопедия», 1973 г., де вміщені відомості про історичні від-новідності у звуковому вигляді російських й чеських мов (ч. II, стор. 736).

Загалом же ділянку В складають такі слова, які є спільними для трьох, в данному разі, зіставлюваних мов. Єдність цих слів свідчить про спільність шляхів мовного розвитку, що, в свою чергу, є доказом близькості в історично-му, культурному, суспільному розвитку відповідних етнічних колективів.

Особливу групу становлять слова, значення яких можна виявити, застосовуючи відомості із сфери закономірностей словотвору в іншомові (Г). Так, якщо відомий корінь (žába) і значення суфіксів (-ař, -árna), то зрозуміти суфіксальні форми: žabař — «хто ловить жаб», žabárna — «невеликий ставок», — порівняно легко. При знанні значення žebrák — суфіксальні похідні: žebrácký, žebračka, žebrati, žebravý — «той, хто жебрає», не становлять проблеми при їх осмисленні, особливо, коли це стосується розпізнання лексичного матеріалу у певному мовному контексті. Те ж можна сказати і про форми: želežárna — «завод залізних виробів», železář, železářský, železářství, železítý, якщо відомі словотворчі типи, що включають вжиті в данному ряду суфікси іменників (-ař, -árna, -ářství /, та прикметників /-ářsky, itý /. Так само легко розпізнаються форми ženskost /žen-sk-ost /з прозорою словотворчою структурою, ženský, ženství. Сюди слід віднести префіксальні дієслова, особливо із просторово-часовим значенням префіксів, наприклад: pít укр., рос. — пити; dopít укр., рос. — допити; odpít, upít, укр., — відпити; popít укр. — попити; vypít укр. — випити; zapít укр. — запити; суфіксальні форми іменників і прикметників при загально-слов'янських коренях прозорої семантики: kov- (пор. kovat) kovat — укр. — кувати, рос. — ковать; kovaní — укр. підковування; kovaný — кований; kovář — коваль; kovářství — ковальство, ковальське ремесло; kovařský — ковальський; утворення похідних іменників від дієслів і навпаки: trouba- troubit. plavaní (від plavat). В цю групу слід віднести і складні слова типу: kovadělník — металіст, kovolitec — ливар; kovoposný — багатий на метал, металоносний; kovoprůmysl-металообробна промисловість; krasořečníctví — красномовство; krátkovlnný — короткохвильовий, куди входять композити, що складаються із елементів груп А, Б, В.

Ця група може названа частковототожною, оскільки при рівності змістів спостерігаються певні фонетичні розбіжності, які, проте, без особливих труднощів знімаються при відповідних аналітичних операціях із застосуванням правил і закономірностей формування словотворчої моделі. В цих випадках дослідник має бути ознайомлений із відповідними правилами.

Окрему підгрупу в групі Г становлять слова, які мають спільнослов'янський корінь, але особливості розвитку семантики його в данній мові привели до значеннєвих зміщень, однак зберігають деяку спільність із значеннями, що їх подибуємо в українській чи російській мовах. Наприклад, žádanka — бланк, заявка, вимога, безумовно, віддзеркалює те значення, яке має укр. жадати — вимагати, бажати, подібним чином суфіксальні форми: žadatel — заявник, прохач, žádost — заявка, бажання, — теж можуть бути осмислені. Проте, щоб пересвідчитись у правильності гіпотетичного осмислення, потрібно, якщо цього ви-

магає контекст, вдаватись до відповідних словників. Сюди ж віднесем такі слова, як: *žágovišť* — піч (кремаційна), *žárovka* — лампа накаливання, *žasnouti* — дивуватися (пор. рос. — ужасаться), *žhář* — підпалювач, палій, *žhavý* — розпечений, гарячий, *žhnouti* — палати, пекти (корінь *gig — жег- (жъг-) жиг-). І тут, так само, як і в підгрупах B_1 , B_3 слід пам'ятати про можливі факти міжмовної омонімії.

Групи А, Б, В забезпечують безперекладне розуміння іншомовного лексичного матеріалу. Це безперекладні групи, групи безпосереднього розуміння.

Групу Г можна охарактеризувати як групу опосередкованого розуміння, чи частковоперекладну, тобто таку, яка перекладається після певних операцій ототожнювання, що проводяться із застосуванням знань правил словотвору.

Групи А, Б, В, Г можна поділити за ознаками походження лексичних одиниць. Тут можна виділити слова-когнати, тобто спільнослов'янського походження слова, та інтернаціоналізми. Якщо говорити про когнати, то вивчення того, як функціонують лексеми загальнослов'янського походження в окремих слов'янських мовах має значення, оскільки, як правильно зазначає О. Н. Трубачев, проблема своєрідності слов'янського словникового складу за багатством матеріалу і недостатністю його опрацювання є однією з центральних проблем слов'янської етимології (ТРУБАЧЕВ, 1971). Як відомо, зараз у різних країнах опрацьовуються етимологічні словники (15, 16, 17, 18). Це, безумовно, дуже важлива річ, але своє велике значення має також і зіставне вивчення лексичних систем різних мов на нинішньому етапі їх існування. Важливість дослідження субстанціональної основи мов, (зокрема, лексики), визначається ще й тим, що в лексиці зосереджуються результати пізнання навколишнього світу, здійснюваного носіями даної мови, і саме лексика є одним із найбільш високих рівней мови (ЛЕМАН, с. 48).

Коли йдеться про зіставлення спільновживаної лексики, то потрібно розрізняти рівні такої співставності. Повна (абсолютна) тотожність форми слова і його змісту — це досить часте явище у близькоспоріднених мовах (ЗАЙЦЕВА, с. 33). Порівняємо: укр., рос. — вода, чеськ. *voda*, польськ. — *woda*, рос. — польза, болг. — полза, рос. — желать, с.х. — желети. Проте, небезпечно перебільшувати значення факту фонеморфологічного співпадіння чи близькості, бо дуже часто за ними криється чимала розбіжність у значеннях. Проти спрощеного підходу до оцінки фактів матеріальної спільності лексичного складу близькоспоріднених мов справедливо застерігали як спеціалісти структурно-зіставного напрямку мовознавства, так і дослідники теорії і практики перекладу (БАРХУДАРОВ, с. 9). Для того, щоб уникнути небезпеки схематизації і спрощення змістових відмінностей при видимому зовнішньому співпадінні словесних одиниць, потрібно спиратись на глибоке знання зіставляваних мов як в теоретико-мовознавчому, так і в практичному планах (ВИНОГРАДОВ В. В. с. 92), виходячи з того, що кожна мова являє собою як своєрідну і самобутню систему зовнішніх відмінностей, так і індивідуальну і неповторну систему значень (АХМАНОВА, ВИНОГРАДОВ, ИВАНОВ, с. 10).

Потрібно, працюючи із лексикою сегментів А, Б, В, Г, пам'ятати, що думка про легкість семантизації цієї лексики спирається на неглибоке проникнення

в будову її семантики, на загальнолінгвістичне уявлення про спорідненість цієї лексики. Особливо це важливо враховувати, коли йдеться про художній переклад (АНДРЕЕВ, с. 133).

Треба пам'ятати, що внаслідок типологічної і генетичної схожості близькоспоріднених мов іноді може створюватись помилкове уявлення, що між словами таких мов існують взаємно-однозначні відносини. Так, при сприйнятті болгариним російського слова *каша* він осмислить лише основне його значення «вид їжі». Що ж до інших можливостей слова, зокрема лексичної сполучуваності, то обидві мови виявляють розбіжність. Так, рос. — каша манная, для болгар — грис, рос. — каша рисовая, болг. — сутляш, рос. — каша гречневая, болг. — елдена (каша), рос. — каша овсяная, болг. — каша от овесени ячки (АНДРЕЙЧИНА, 49). Ще більша розбіжність міститься у фразеологізованих утвореннях із словом, що має однакове походження і спільне основне значення.

Найбільшу небезпеку при опізнанні лексичного матеріалу іншомови становлять міжмовні омоніми — слова, в яких співпадіння плану вираження супроводжується повною відмінністю їхнього плану змісту, порівняємо: рос. — благодарный, ч. — vděčný i blahodárny рос. — благотворный, рос. — бранить, ч. — nadávati i brániti рос. — захищати, ч. žádný — ніякий, рос. — жадный, ч. žal — печаль, горе, рос. — жалость, сожаление, ч. živnost — ремесло, рос. — животные, домашний скот, ч. život — життя, рос. — живот, укр. — живіт, ч. životný — живий, життєвий, рос. — властивий тварині (ниций, негідний людини), п. mieszkać — жити, рос. — мешкать (так звані повні омоніми). Особливо треба мати на увазі те, що в групах А, Б, В, Г часто можна зустрітись із явищем, що межує з міжмовною омонімією. Так, наприклад, на відміну від російського — поздравил, у болгарській — поздравил — означає: «привітав при зустрічі», болгарське — хляб — не передає тих значень, що є в російській і українській мовах — «зерно, злаки».

Факт повного співпадіння спостерігається лише при моносемії, тобто, коли і іншомовне слово і своє (в нашому випадку — українське чи російське) має по одному значенню. При полісемії бодай з одного боку співпадіння буває лише часткове. Так, наприклад, рос. — бить, укр. — бити, і болг. — бия, співпадає в значенні «наносити удари, завдавати поразки». Але для значення «бити посуд, скло», болгарин частіше вживе дієслово — чупя, а для передачі значення «бити птицю, худобу» дієслово — коля.

В свою чергу, в болгарській мові можливі такі сполучення дієслова — бия, які в рос. і укр. мовах не вживаються: *бия инъекция* — «роблю укол, ін'єкцію», *бия път* — «довго йду пішки».

Охарактеризована схема структуризації лексичного масиву цілком сприйнятна для моносемантичних лексем. Коли ж йдеться про полісеми, а серед лексики спільнослов'янського походження слів з розгорнутою системою лексико-семантичних варіантів (значеннями) переважна більшість, то потрібно виробити окрему методіку для зіставлення таких мовних одиниць. Для цього потрібний досить потужний і достатньо тонкий апарат диференціації і класифікації тих значень слів, які не співпадають при збіганні фономорфологічної зовнішності слів.

	у людини	у собаки	у птиці	у чайника	у човна, корабля	частина предмету (взуття)	частина суші на узбережжі	картярська гра	згоріла час- тина гноту свічки
рос. нос	нос	нос	нос, кльов	нос, носік	нос	нос	нос	нос	—
укр. ніс	ніс	ніс	дзьоб, ніс	носік	ніс	ніс	мыс	ніс	—
чеськ. nos	nos	čumák	zobak	hubička	příd	nos,	mas	—	—
польськ. nos	nos	—	dziób	dziobek	dziób	posek	supel	—	nos (застар.)
болг. нос	нос	нос	нос	носік	нос	нос	нос	—	—
с-х. нос	нос	њушка,	кльон човка, нос кльун	нос	кльун	кльун ципеле	гребен,	—	—

Особливості зіставлення полісемічних слів можна бачити на прикладі порівняння семантичної структури слова *nos у шести слов'янських мовах.

З таблиці видно, що співпадає лише одне, основне значення цього слова. Що ж до похідних значень, то вони виявляють розбіжність для різних мов. При зіставній еквівалентності цих груп лексики потрібно особливо враховувати синтагматичну характеристику слів в мовах, зокрема, не тільки синтаксичні, а й узуально-нормативні правила сполучуваності, наприклад: рос. — крепкий чай, ч. — silny čaj (КОПЕЦКИЙ, 1974, с. 16). Теж саме треба зауважити щодо стилістичного аспекту. Так, болг. — очи, укр. — очі, є стилістично нейтральними, тоді як рос. — очи — має ознаку «застаріле».

Слід окремо зауважити відносно інтернаціоналізмів, тобто слів, які запозичені з інших мов, і є водночас у зіставлюваних мовах. Існує помилкова думка про те, що інтернаціоналізми у різних слов'янських мовах семантично тотожні, тому вони й не становлять перешкод у процесі сприйняття тексту. Проте це не так. І серед цієї категорії лексики можна знайти і явища міжмовної омонімії, як повної (правда, рідко), так і часткової, тобто випадки, коли частина значень у полісема співпадає, а частина — різниться. Так, наприклад, на відміну від російської, в сербохорватській мові: аспірант — має значення «претендент», елеватор — «ескалатор». Слово інспіратор — «натхненник, ініціатор» — позбавлене пейоративного значення, яке воно має в російській і українській мовах.

Часткова міжмовна омонімія є у словах сербохорватської мови: канцелярія 1=рос., укр., 2. робоча кімната, кабінет; комбinezон 1=рос., укр. 2.

комбінація, білизна (ГУДКОВ, с. 72). Таким чином, бачимо, що контрастивна лексикологія повинна серйозно зважати на специфіку функціонування спільноживаної лексики, як когнативної, так і інтернаціональної.

Проте було б помилково недооцінювати вивчення тих можливостей, які містить в собі наявність спорідненого лексичного матеріалу для осмислення і засвоєння лексики іншомови. До того ж таке зіставне вивчення розкриває додаткові горизонти в усвідомленні явищ рідної мови. Саме у зіставленні семантичних структур слова у двох мовах можуть бути розкриті особливості семантики слова кожної з мов, іноді більше, ніж детальному тлумачному одномовному дослідженні (КОПЕЦКИЙ, 1958, с. 80).

Щодо групи Д, то сюди належать слова, значення яких не можна зрозуміти, не вдаючись до словника. За нашим матеріалом сюди слід віднести такі слова, як *žalář* — «гюрма», *žák* — «учень», *žíhaný* — «смугастий», *žalm* — «псалом», *žárliti* — «ревнувати», *žehnati* — «благословяти», *žehrati* — «жалітися», *živůtek* — «ліф», *želva* — «черепаха», *žízala* — «чerv'як», *žemle* — «булочка», *ženijní* — «інженерний», *žluva* — «іволга», *žok* «мішок», *židle* — «стілець», *žralok* — «акула», *žula* — «граніт», *žumra* — «помийниця», *žvast* — «брехня».

Д група є значно віддаленішою, ніж інші (А, Б, В, Г) від лексичної системи української і російської мов.

Як запозичені тільки в чеську з інших мов (див. МАСНЕК) *žák*, *žalář*, *žalm*, *žehnati*, *žemle*, *židle*, *žok*, *žula*, *žumra*, — так і ті, що є продуктом розвитку спільнослов'янських слів на чеському ґрунті — *žárliti*, *žehrati*, *želva*, *žíhaný*, *zíně žluna*, *žluva*; експресивного походж. — *žadoniti*, *žebzoniti*, *žvást*; звуконаслід.: *žblunk*. Тут можуть бути теоретично різного роду входження від діалектного ареалу, семантичні неологізми, терміни і терміноіди метафоричного походження, тощо. Ця група лексики становить специфічну складність при її семантизації, еквівалентності. Група Д належить до нетотожних зіставних лексем (група омосемії), у якій представлена однаковість змісту мовних одиниць при абсолютно різному фонетико-морфологічному вигляді.

Нарешті, група Е складається із лексем, які можна назвати безеквівалентними, тобто таких, які не мають в українській і російській мовах однослівного відповідника, наприклад: *knedlik* — «кнедлик» — (страва з вареного тіста), *betlém* — «вертеп» — (фігурне зображення сцени різдва Ісуса Христа), *polednice* — «відьма, що краде дітей опівдні», *kyselo* — «картопляний суп із кислим молоком», *žura* — «адміністративний округ», *žolíky* — «жоліки» (картлярська гра), *žinčice* — «сироватка з овечого молока», *žestě* — «мідні духові інструменти», *žentour* — «кінний привід», *žengle* — «голка для всіяння».

Ця група включає такі слова, які відображають специфіку найменування предметів, понять, дій, що або відсутні в українсько- і російськомовному колективах, або мають там словосполучальне визначення. Група Е також може складатись як із запозичених слів (*betlém*, *žolíky*, *žengle*, *žentour*), так і включати слова слов'янського походження, що позначають історичні реалії, предмети власнечеського побуту, фольклоризми (*žura*, *žinčice*, *kyselo*, *polednice*), чи слова терміноїдного характеру (*jízdenka*, *konečník*), або такі лексичні одиниці, словотворчий суфікс яких передається в українській чи російській мовах окремим

словом (zubar, zvonar). Така безеквівалента лексика становить для перекладача ще більшу складність, оскільки для знаходження тотожних засобів її передачі потрібно добре знати екстралінгвістичні деталі, що стоять за звукографічним видом слів цієї групи. Про створення окремого словника таких слів для цілей навчання мови останнім часом немало оговориться в працях (див. ВЕРЕЩАГИН, КОСТОМАРОВ).

Група Д і Е як нетотожні (омосемічні і безеквівалентні) у великій мірі визначають специфіку лексичної системи інослов'янської мови.

Значний інтерес становлять визначення квантитативної співвідносності охарактеризованих груп. Як показують дослідження, проведені із словами на літеру ž, слова груп А, Б, В, Г становлять понад 40% всієї кількості слів, вміщених на цю літеру.

Подібні дані отримані і на матеріалі літери К того ж словника, де слова цих же груп становлять близько 50%. Ці дані в основному співпадають із результатами, одержаними на матеріалі англоросійських мовних зіставлень. Так, за КОВЛЕР (67) слова групи 4, яка відповідає нашим Д і Е, становлять 55,8—57,7%. Як показують дослідження, що проводились на матеріалі вивчення російської мови як іноземної, ці цифри в цілому співпадають (КОПИЛЕНКО, 74).

Таким чином, системний підхід до аналізу лексичного складу слов'янських мов при їх зіставленні дає змогу здійснити таке членування лексичного складу кожної мови, яке допомагає орієнтуватися в цьому лексичному складі носієві іншої слов'янської мови. При цьому можуть бути здійснені дослідження як однобічних парних зіставлень (українсько-чеські, болгарсько-російські і т. д.), так і двобічних (українсько-чеські і чесько-українські, болгаро-російські і російсько-болгарські). Крім того, можуть бути здійснені дослідження якоїсь однієї мови за допомогою двох чи більше мов, а також кількох мов за допомогою кількох інших мов.

Як кінцевий підсумок, можна провести взаємоперехресний аналіз лексики усіх слов'янських мов. Внаслідок цього буде одержано системну класифікацію лексичного складу слов'янського мовного ареалу в синхронному розрізі. Така класифікація допоможе визначити загальнослов'янський лексичний фонд на сучасному етапі існування цих мов, визначити роль і місце інтернаціоналізмів у слов'янських мовах взагалі і стосовно до окремих груп слов'янської мовної сім'ї. А це, в свою чергу, дасть змогу закласти наукову підвалину для лінгвістичного прогнозування і спрямування розвитку лексичного багатства слов'янських мов, носії яких входять соціалістичну співдружність. Результати таких досліджень можуть бути використані з метою перекладу, у методиці міжслов'янського мовного навчання, у перекладній лінгвістиці, зрештою, з теоретичною метою, для удосконалення методів, що застосовуються в лексикологічних дослідженнях.

Якщо говорити про застосування висновків з контрастивної лексикології у практиці вивчення інослов'янських мов, то потрібно зазначити, що насамперед ідеться про підхід до лексики як до сукупності елементів, які знаходяться у певних відношеннях, тобто, як до системи. Вадодою нинішньої методики нав-

чання лексики є атомарний підхід до її опанування. Цей підхід полягає в тому, що, вивчаючи нові слова, студент недостатньо привчається до того, щоб тримати у полі зору всю систему лексики, всіляко використовуючи свої лінгвістичні знання інших мов, старослов'янської мови, тощо. В цих умовах недостатньо активно пробуджується чуття мови, словотворчих зв'язків між лексемами, семантичних ланцюгів, які існують між словниковими блоками, слабо використовується теорія дистрибуції мовного знаку як один із засобів визначити значимість його тощо.

Зіставна лексикологія допомагає визначити свої особливості для кожного сегменту лексичного масиву мови, що вивчається. Зокрема, щодо сегменту Д та Е, очевидно, необхідно, по-перше, визначити цю групу лексики. Допільно, очевидно, його розподілити на ЛСГ (розмовні теми). На першому етапі навчання потрібно залишити поза увагою слова, стилістично обмежені та рідковживані, виходячи з даних частотних словників. Д-лексикою потрібно максимально насичувати учбові тексти, створюючи навмисну високу частотність, повторюваність одиниць цієї групи. Це потрібно для того, щоб ця лексика за рівнем осмислення стала поряд із іншими групами. Після цього потрібно давати тексти, що містять гармонійно зрівноважені групи.

Окреме завдання стосується вивчення безеквівалентної лексики, але принцип тут має бути застосований той же.

АНДРЕЕВ В. Д., Некоторые вопросы перевода на русский язык болгарской художественной литературы, *«Теория и критика перевода»*, изд-во ЛГУ, 1962.

АНДРЕЙЧИНА К. Некоторые вопросы лингвострановедческого комментария лексики для болгарских студентов-русистов, в кн. *«Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам»*, изд. МГУ, 1974.

АХМАНОВА О. С., ВИНОГРАДОВ В. В., ИВАНОВ В. В., О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, 3.

БАРХУДАРОВ Л. С., Общелингвистическое значение теории перевода, в сб. *«Теория и критика перевода»*, изд-во ЛГУ, 1962.

БРОЗОВИЧ Д., Славянские стандартные языки и сравнительный метод, ВЯ, I, 1967.

ВЕРЕЩАГИН Е. М., КОСТОМАРОВ В. Г., Об учебном лингвострановедческом словаре безэквивалентной лексики, об *«Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам»*, МГУ, 1974.

ВИНОГРАДОВ В. В., Русско-украинский словарь, ж. *«Советская книга»*, 1950, № 2.

ГРИГОРЬЕВ В. П., О некоторых вопросах интерлингвистики, ВЯ, 1966, № 1.

ГУДКОВ В. П., О русско-сербохорватских и сербохорватско-русских словарях, *«Советское славяноведение»*, № 6, 1974.

ЖЛУКТЕНКО Ю. О., Англо-українські міжмовні відносини, Київ, 1964.

ЗАЙЦЕВА Т. В., Методологічні основи нового українсько-російського словника, Лексикографический бюллетень, вып. I, 1951.

КОВЛЕР Т. Д., Исследование лексической структуры текста с количественной стороны, АКД, Москва, 1967.

КОЛОМІЄЦЬ В. Т., Розвиток лексики слов'янських мов у післявоєнний період, Київ, 1973

- КОПЕЦКИЙ Л. В., Двухязычный словарь славянских языков, ВЯ, 1958, 3.
- КОПЕЦКИЙ Л. В., О статье двухязычного славянского словаря, в кн. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974.
- КОПИЛЕНКО М. М., Лингвистические основы адаптации иноязычных текстов, в сб. «Материалы межвузовской научно-технической конференции 16—19 сентября, 1967», Алма-Ата, 1967.
- КОПИЛЕНКО М. М., О принципах адаптации иноязычных текстов, в сб. «Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам», изд. МГУ, М., 1974, стр. 180.
- КУШТЕНКО Л. Ю., Англо-украинские лексические соответствия, АКД, Киев, 1972.
- ЛЕМАН У. Ф., Преемственность языкознания, ВЯ, 1966, № 1.
- МАСНЕК VACLAV, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957.
- МЕНАЦ А., Сопоставительное изучение языков и теория учебника, РЯЗР, № 3, 1974, стр. 75—77.
- ОПЕЛЬБАУМ Е. В., Восточно-славянские лексические элементы в немецком языке, Киев, 1971.
- ПЕТЛЕВА И. Н., Праoslavянский слой лексики сербохорватского языка, Этимология, 1968, М., 1971.
- СУПРУН А. Я., «Проблема системной організації спеціальної лексики у славянських мовах. Типологія і взаємодія славянських мов і літератур», Мінск, 1973.
- ТРУБАЧЕВ О. Н., Рецензия на F. Scholz, Slavische Etymologie, Этимология, 1968, М., 1971, стр. 255.
- ЦЫХУН Г. А., Беларуско-балгарскія лексіка – семантычныя паралелі, там же.
- ШУБА П. П., Межъязыковая омонимия и паронимия в условиях белорусско-русского двуязычия, в сборнике тезисов «Типологія і взаємодія славянських мов і літератур», Мінск, 1973.
- Этимологический словарь славянских языков, Проспект, Составитель ТРУБАЧЕВ О. Н., М., 1963.
- Srovník prasrovníaňsky, Zeszyt próbny, Kraków, 1961. (ротапонт)
- Základní všeslovenská slovní zásoba, Brno, 1964. (ротапонт)

**Семантичні запозичення слов'янського походження
в народних говірках східнороманських мов****С. В. СЕМЧИНСЬКИЙ**

При дослідженні лексики різних мов окремі слова цих мов виявляють ізоморфність своєї ексформи (фономорфологічної зовнішності) або однаковість семантичної структури. Таку однаковість або ізоморфність будови лексем чи однаковий зв'язок значень полісемічних слів у різних мовах ми назвали міжмовною ізосемією¹.

Явище міжмовної ізосемії проявляється в конкретних мовах по-різному і має різне походження. Міжмовна ізосемія може пояснюватися браком змін семантичної структури або успадкованим від спільного мовного джерела матеріалом, таку ізосемію можна назвати генетичною. Міжмовна ізосемія може бути наслідком лінгварної інтерференції в умовах білінгвізму, це — інтерферентна ізосемія. Нарешті, на основі загальнолюдської здібності до асоціації однакові зв'язки між величинами плану виразу і планом змісту в різних мовах можуть виникати цілком самостійно, це — незалежна асоціативна ізосемія.

Міжмовна ізосемія дедалі поширюється в лексичних складах мов світу, ведучи до створення «інтернаціональної ізосемії», паралельної до інтернаціональної лексики, яка охоплює неблизькоспоріднені і навіть неспоріднені мови. З цього погляду за способом номінації немає різниці між лат. *universitas*, угор. *egyetem* «університет» або між зв'язком значень рос. *левый* і угор. *bal* «лівий» (1. «симетричний правому», 2. (про політичні партії та угруповання, «передовий, прогресивний»).

З цієї причини вивчення фактів міжмовної ізосемії набуває особливого значення, оскільки воно є фактичним дослідженням шляхів зближення лексики різних мов. Одним із цих шляхів є семантичне запозичення. Семантичне запозичення (семантичне калькування, семантична індукція) — це один із процесів міжмовної взаємодії, що веде до збагачення мови. Він полягає в тому, що успадковане слово під впливом полісемії іншомовного слова, з яким воно збігається в одному або кількох значеннях, ускладнює свою семантичну структуру,

¹ С. В. Семчинський, Семантична інтерференція мов. На матеріалі слов'яно-східнороманських мовних контактів, Київ, 1974, стор. 4.

здобуваючи нове значення, відоме іншомовному слову. Саме так набули нового значення рос. *левый*, угор. *bal*, а також відповідні слова в інших мовах. При цьому первісним джерелом для них (хоч і не завжди безпосереднім) було фр. *gauche*.

Хоч явище семантичного запозичення відоме давно, однак йому ще приділено надто мало уваги. Чимало семантичних запозичень з слов'янських мов є в східнороманських мовах. Проте вони далеко ще не всі вивчені. У праці Г. Міхаїле, яка фактично є проспектом етимологічного словника слов'янських запозичень румунської мови, навіть не ставиться питання про відбиття в цьому словнику семантичних запозичень². Тим часом такі запозичення є в літературній румунській і молдавській мовах, ще більше їх у говорах східнороманських мов. Деякі з них були наведені нами в попередньо надрукованих статтях.³ Тут ми хочемо продовжити низку прикладів семантичних запозичень слов'янського походження в народних говірках східнороманських мов для того, щоб показати роль слов'янського елемента у формуванні й розвитку лексики цих мов, а також у створенні їх специфіки, що несправедливо іноді ігнорується. При цьому ми не будемо торкатися тих семантичних запозичень, які відомі на всій території дакороманського ареалу або які увійшли до літературної мови.⁴

Гачкуватий ніс у людини або дзьоб у птаха в румунській літературній мові називається *sogoiat*, але у говірках, близьких до болгарського масиву, він має назву *nas adus* або *nas arlecat* (ALR II, 18)⁵, яка відтворює болг. *наведен нос* (*наведа* «нахиляти»). Таким чином, рум. *a aduce*, основне значення якого «принести, приводити» (пор. лат. *adducere*), зазнало семантичних змін у деяких говірках внаслідок його ототожнення білінгами з болг. *приведа* «привести», але й «схилити, нахилити» (пор. *тя приведе глава* «вона схилила голову», *той ходи приведе* «він ходить згорблений»). З говірок це значення дієслова *a aduce* ввійшло і до літературної мови в ад'єктивованому дієприкметнику *adus* «схилений, згорблений» (DLRLC, I, 32).

Дієслово *a agupsa* означає «кидати, метати», але в окремих говірках воно набуло ще значення «саджати (хліб у піч)» (див. ALRM sn 868). Це значення відоме й аромунській мові. Тому цілком імовірно, що воно запозичене з болгарської, де *метна* означає не тільки «кинути», а й «посадити хліб у піч» (БТР, 428) (у зв'язку з цим пор. значення укр. *закидати*, поданого під 7 в СУМ, III, 142).

У північних говірках Румунії ріжуча частина леза коси називається *ascuțit* пор. *a ascuți* «гострити»; див. ALRR Mar, 49 і ALR sn 835). Таке найменування безперечно пов'язане з слов'янським «баченням світу», оскільки в інших місцях назване поняття передається словами *tăiș* (*a tăia* «різати») або *gugă* «ріт» (влас-

² Г. Михайлэ, Вопросы составления этимологического словаря славянских заимствований в румынском языке. — «Romanoslavica», II, 1958, стор. 115—131.

³ С. В. Семчинский, Семантические заимствования из славянских языков в молдавском языке. — «Анале штинцифиче але Университэций де стат дин Кишинэу», вол. 81 (филоложие), 1967, стор. 106—108; його ж, Данните на българските народни говори и румынските думи с латино-славянска етимология. — «Език и литература», 1973, книжка 2, стор. 13—17.

⁴ Про ці запозичення див. у монографії, наведеній у примітці 1,

⁵ Список скорочень див. у кінці статті.

на румунська метафора). Згадаймо деякі слов'янські назви цього поняття — укр. *вістря*, польськ. *ostrze*, словацьк. *ostrie*, ці назви (як слов'янські, так і румунські) зберігаються і для позначення леза сокири (ALRM sn, 340). Між іншим, і поняття «гострий розумом» на Мараморощині передається віддієслівним прикметником *ascuțit (la minte)*, хоч у літературній мові і в більшості румунських говірок для цього вживається *ager* (< лат. *agilis*) (див. ALR sn 911). У формуванні цього значення треба зважити і на угор. *éles eszű*.

Цікавий семантичний зв'язок спостерігається між румунськими назвами утка (нитки, що набивається в основи при тканні) та мозоля — *bătătură* (див. ALR II 77 і ALRM sn 313), Як свідчать карти, латинська назва утка (*trama*) зберегался тільки на невеличкій території, натомість румуни називають уток власними утвореннями, пов'язаними з коренем дієслова *a bate* «бити»: *bătătură bătaie, băteaie*. При тканні уток набивають, щоб він щільно прилягав до основи. На основі цього білінгви ідентифікували романське дієслово *a bate* і слов. *набивати* «ущільнювати». Однак слов'янське дієслово було полісемічним, воно означало ще й «натирати, ранити (про ногу)», пор. болг. *набивам*, рос. *набивать* «намазозливають тело» (Даль, I, 378), звідки походять назви мозоля: рос. *набой*, укр. діал. *набій*, сrb-хрв. *набој*, сrb-хрв. діал. *набиотина*, пор. ще болг. *убито* «натерте місце на тілі», *убиен* «набити (про ногу)»: *бил убиен на една нога*⁶ «набив одну ногу», *обувката ме убива* «взуття мені тісне». Звідси й виникла румунська назва мозоля — *bătătură*. Інша діалектна назва цього поняття — *trîntitră* — теж є калькою слов'янського зразка, бо слов. *трѣтити*, очевидно, значило і «поранити», пор. болг. *натъртено* «удар, забити місце», укр. *трутити* «што-вхати». Калькою є і назва мозоля *ochi de găină* (букв. «куряче око»), але зразком для нього було угор. *tyúkszem*. У західнороманських мовах назви мозоля не пов'язані з лексичним значенням дієслова «бити», пор. фр. *coq* (< лат. *coqu*), іт. *callo* (< лат. *callum*), ісп. *callo*, порт. *calo*.

Виключно в Олтенії окремі говірки вживають слово *cotoi* «кіт» для позначення смаженого курячого стегна⁷. Але подібний зв'язок значень маємо і в болг. *котка* «кішка» і «шматок м'яса, що дається колядникам»⁸. Оскільки в болгарській мові друге значення пов'язується з дієсловом *коткам* «догоджати, ставитися з увагою», можна вважати, що в румунських говірках маємо семантичне запозичення (тим більше, що є й інші запозичені від болгар назви — метафори продуктів харчування).

У деяких районах Румунії купа снопів на полі називається словом, що позначає «хрест» — *сгусе* (ALR sn 58 і 59). Безперечно, це сільськогосподарське значення запозичене від слов'ян, пор. сrbхрв. *крст*, рос. *крест* або *крестец* (Даль, II, 190), болг. *кръстец*. Угорська мова також запозичила це слово, але не внутрішню його форму, як румунська, а зовнішню — *kereszt*. Та в слові *сгусе* зустрічаємо ще одне семантичне запозичення слов'янського походження: в народних говірках його форма множини *сгусі* означає «крижі» так само, як укр. *криж* «хрест» (пор. ALRR Mag. 115), сrb-хрв. *крста* (пор. ще болг. *кръст*,

⁶ Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. III, София, 1967, стор. 182.

⁷ Gr. Brîncuș, Graiul din Oltenia. — «Limba română», XI, 1962, № 3, стор. 257.

⁸ Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. V, София, 1970, стор. 123.

польськ. *krzyż*, чеськ. *kříž* «крижі»). Цікаво, що і нім. *Kreuz* сполучає всі згадані тут значення: «хрест», «півкопи» та «крижі». Форма множини румунського діалектного слова вказує, що джерелом значення «поперек» могли бути українська або сербохорватська мова.

В. С. Сорбале вважає, що деякі елементи молдавської діалектної термінології кукурудзи виникли під слов'янським впливом. Серед них маємо і семантичні запозичення в словах *бэц*, *редэчинэ*⁹.

Дієслово *a dirige* в Банаті означає «чинити, дубити» (про шкіру) (ALR sn 531). Це означення, як показує територія його поширення, запозичене з сербохорватської мови, де *чинити* серед інших має значення «дубити». Між іншим, і значення «ремонтувати» дієслова *a drege* літературної мови могло виникнути внаслідок семантичної інтерференції. Лат. *dirigere* могло означати: «вишикувати в лінію, вирівняти», «лінувати», «направляти, посилати», «кидати», «визначити, ставити в залежність». Ці значення частково зберігаються у західнороманських нащадків цього слова, пор. фр. *diriger* «керувати», «направляти, спрямовувати» і ісп. *dirigir* «спрямовувати», «надсилати», «керувати», «адресувати» і близький до цього зміст іт. *dirigere*. Але жодна з цих мов не має значення «ремонтувати» в даних словах.

У румунській мові *a drege* — це насамперед «ремонтувати». Крім цього, воно означає також «приправляти (страви)», «розбавляти (вино, горілку)», «фарбувати (обличчя)», «поправляти (здоров'я)», «чинити, робити», «розставляти за порядком» (застар.), «налити вина в чару» (застар.). Л. Шеїняну вважав зміну значення, яка відбулася в слові *a drege*, звичайною спеціалізацією, не спиняючись на її причинах¹⁰. Приклади, наведені ним, переконують, що в XVI ст. мова ще зберігала значення лат. *dirigere* «направляти». Але в лексико-семантичній системі слов'янських мов значення «ремонтувати» здебільшого виражалось дієсловами, які водночас передавали значення «направляти, керувати», похідними від слов. *правити*, пор. укр. *направляти*, *виправляти*, рос. *направить*, *выправить*, *исправить*, болг. *оправя*, *поправя*, срб-хрв. *оправљати*, *поправљати*, польськ. *parawiać*, ч. *opravovat*. Численні семантичні відтінки в слов'янських мовах передавалися за допомогою різних префіксів. Але основне дієслово, яке було ядром різних утворень — *правити*, — означало «направляти», «керувати», «виконувати». Ці значення у давній румунській мові передавало *a drege* (пор. *dregător* «управитель», «чиновник», *dregătorie* «служба»). Ідентифікувавши *a drege* з *правити* в цих значеннях, двомовці запозичили й значення «лагодити, ремонтувати», представлене головним чином у префіксальних похідних, яких не було в румунській мові, і наділили ним *a drege*.

Іншим семантичним запозиченням слов'янського походження, яке зберігається однак тільки в говірках, бо в літературній мові закріпилося безпосереднє лексичне запозичення з французької, це — *a fierbe* «зварювати (про метал)» (< лат. *fervere*) (див. ALR sn 549). Запозичення значення ґрунтувалося на ідентифікації значення *a fierbe mîncarea* «варити страву» і слов. *варити* (пор.

⁹ Проблема де лимбэ молдовеняскэ литерарэ ши диалектологие, Кишинэу, 1972, стор. 112 і 114.

¹⁰ L. Saineanu, *Incercare asupra semasiologiei limbii române*, Bucureşti, 1887, стор. 186.

укр. *варити*, болг. *заваря*, сrb-хрв. *заварити, сварити*). У молдавських говірках а *фербе* запозичило і значення «перетравляти»: *стомакул фербе мынкаря* «шлунок перетравлює їжу» (див. ALR II, 101).

У румунських говірках, сусідніх з Югославією, поняття «варити горілку» («гнати самогон») називається дієсловами, основне значення яких «пекти», «смажити»: а *соасе та а frige* (ALR sn, 250). Дія другого перегону там же називається словом а *prefrige* «перелекти, пересмажити» (ALR sn 252). Немає сумнівів, що таке вживання цих слів латинського походження відбиває семантичне запозичення за сербохорватським зразком: *пећи (препећи) ракију*. Таким же семантичним запозиченням є і значення «труна» в слові *lemn* (<лат. *lignum*) «дерево (матеріал)» (NALR Olt. 183).

Одним із найдавніших семантичних запозичень слов'янського походження, яке відоме всім дакороманським говіркам, є тоащя «акушерка». Спочатку тоащя означало тільки «стара баба» (пор. *тощ* «дід»), з цим значенням воно й зберігається в арумунів. Але на північ від Дунаю після контактів зі слов'янами це слово набуває і значення «акушерка», бо в слов'янських мовах «акушерка» і «стара жінка» позначалися одним словом *баба* (пор. укр. *бабити*, сrbхрв. *бабити*, болг. *бабувам* «надавати допомогу при пологах»). Деякі говірки вдалися навіть до безпосереднього лексичного запозичення *babă* або *babită*, але переважна їх більшість задовольнилася семантичним запозиченням (див. ALRM II. 198). Та внаслідок потреби семантичної диференціації понять «стара жінка» і «акушерка», запозичене значення закріпилося за словом тоащя, а первісне значення цього слова почало виражатися лексичним запозиченням *babă*¹¹.

Характерною ознакою молдавських говірок є значення «дядько», яке має тут слово *мош*, в інших дакороманських говірках це слово означає «дід». Семантика цього слова в молдавських говірках перебуває у тісному зв'язку з значенням слова «дід» у сусідніх слов'янських говірках. Зв'язок східнослов'янських *дядя* і *дьдъ* безперечний¹². У польській мові дід зветься *dziad*, а дядько — *dziadko*. У певній частині південнозахідних говірок української мови *дідо* називає «чоловіка сестри батька», а поняття «рідний дід» передається гіпокористичним *дідусь(о)*¹³. У молдавських говірках поняття «дід» (батько батька), «дядько» (брат батька чи матері) і «старий чоловік» передаються словами *буник*, *мош* і *мошняг* (ALRM I. 232, 233, 273). Зміна значення «старий чоловік» → «дядько» в слові *мош* безперечно пов'язане з східнослов'янським впливом. Згадаймо, що територія, на якій спостерігається цей семантизм, увіходила колись до Галицького князівства. Тим часом в Олтенії *тощ* означає «дідусь (батько батька)» (NALR Olt., 152), «старий чоловік» (NALR Olt., 153) чи навіть «чоловік акушерки»¹⁴, але ніколи не має значення «дядько».

¹¹ V. Scurtu, *Termenii de înrudire în limba română*, București, 1966, стор. 15—19.

¹² Ф. П. Филин, О терминах родства и родственных отношений в древнерусском языке. — «Язык и мышление», 1948, т. XI, стор. 338. Пор.: О. Н. Трубачев, *История славянских терминов родства*, Москва, 1959, стор. 69 і 85.

¹³ А. А. Бурячок, Із спостережень над лексикою української мови (назви спорідненості і свояцтва). — «Українська мова в школі», 1956, № 6, стор. 68.

¹⁴ *Glosar dialectal. Oltenia. Intocmit sub conducerea lui B. Cazacu*, București, 1967, стор. 69.

Латинське дієслово *sagittare* було моносемічним і означало «кидати стріли, стріляти». З цим значенням воно було успадковане східнороманськими мовами, пор. рум. а *săgeta*, молд. а *сэжета* (вжите у своєму прямому значенні ще Д. Кантеміром), аром. *sădzitez*. Та якщо аромунське слово не змінило своєї семантичної структури, в говірках на північ від Дунаю це дієслово набуло, очевидно, під впливом слов'янських мов і значення «блискати» (про блискавку) та «відчувати великий фізичний біль». У слов'янських говірках *стрѣла* мало також значення «блискавка» (Срезн. III, 568); пор. словен. *stréla*, србхрв. *стријела*, чеськ. *střela* «блискавка». Крім того, похідними від цього кореня позначалося відчуття гострого болю, пор. рос. *прострел*, *простреливать*, укр. *простріл*, *прострілювати*, болг. *устрел*, *устрелвам*, польськ. *postrzał*, *przestrzał*. Це значення перейняли дакороманські говірки і наділили ним дієслово а *săgeta* (ALR II 41 і стор. 37). Особливо характерне вживання цього дієслова для передачі великого зубного болю. Але оскільки в слов'янських говірках *стрѣла* означала також і блискавку, то двомовні особи перенесли цей зв'язок значень і на інше східнороманське дієслово латинського походження а *fulgera* (лат. *fulgerare*) «блискати» (про блискавку). Завдяки цьому значно звузилося вживання дієслова а *junghia* (лат. *iugulare*) «різати, колоти» — та віддієслівного іменника *junghi* «гострий фізичний біль». Отже, слов'янське семантичне запозичення привело до перебудови семантичної структури лексичних елементів латинського походження та до змін у їх сполучуваності. Внутрішня форма слов. *стрѣлиту* була перейнята й угорськими говірками: *puilallik* «різко колоти», пор. *puil* «стріла».

Деякі семантичні запозичення слов'янського походження в східнороманських мовах пов'язані з запозиченням звичаїв та обрядів. Якщо в молдавських говірках а *семэна* «сіяти» набуло ще й значення «вітати з новим роком» (пор. ALR II 198), то це пояснюється поширенням у цих районах новорічного звичаю «посівання». Серед румунських назв дитячих ігор багато мають ідентичну внутрішню форму з відповідними назвами у слов'янських народів. Так, гра у піжмурки у південних і східних районах Румунії називається *baba-orăba* (букв. «сліпа баба») (ALR sn 1287), таку саме структуру має й болгарська назва цієї гри — *сляпа баба*. На всій території назва гри «свинка» має внутрішню форму аналогічну до слов'янських: *roarca*, *rigseaua*, *rigsica*, *rigsicița*, *scroafa* (ALR sn 1302). Єдиний виняток — назва *cloșca* у південній Буковині — справи не міняє.

Семантична інтерференція не обмежується одним лише словом. Оскільки слова складають лексичну систему і тому взаємопов'язані, то семантична інтерференція зачіпає всі зв'язки певного слова, якщо воно було ототожене двомовцями з іншомовним словом. На основі ідентифікації значень рум. *strîmb* і слов. *кривъ* румунська мова скалькувала слов. *кривѣда*: *strîmbătate*. Важко твердити, що дієслово а *strîmba* «робити кривим» є калькою слов. *кривити*, але не можна і заперечувати вплив слов'янського дієслова на семантичну структуру східнороманського. Останнє особливо помітне на формі рефлексиву а *se strîmba* «ставати кривим». Ця форма внаслідок семантичної індукції слов. *кривитисѧ* набула і значення «кривитися» («faire des grimaces») (идв

ALR II, стор. 21), пор. укр. *кривитися*, болг. *кривя се*, србхрв. *кривити се*, які володіють обома значеннями. Отже, слов'янський семантичний вплив стосується не тільки переносного, абстрактного значення цього слова («несправедливість»), а й прямого, конкретного, розширяючи його.

У Банаті жениха називають *tinăg* «молодий», а наречену — *tinăgă* «молода». Цілком можливий і самостійний розвиток цього значення, але наявність у сусідніх сербохорватських говірках слів *млад*, *млада*, з таким же значенням вказує на джерело семантичного впливу. Очевидно, і збірна назва молодих одружених *tineri* (ALR II 165) так само свідчить про слов'янську семантичну інтерференцію, пор. укр. *молоді*, *молодята*, болг. *младоженици*, *младенци*¹⁵, србхрв. *младенци*. Адже в західнороманських мовах це поняття передається словами інших коренів, пор. фр. *pouveaux*, іт. *novelli*, ісп. *recién casados*, *desposados*. Навіть у сусідній угорській мові молодята називаються «новими» — *új*.

Дієслово *a unge* «змащувати, мазати» успадковане з цим значенням від латини (*ungere*), але його сполучуваність в румунських говірках змінилася, бо зазнала змін його семантична структура. Тепер, наприклад, воно може означати «вимазати(ся) кров'ю» (ALR sn 1369), хоча це поняття передається звичайно іншим словосполученням: *a se umple de sînge* (букв. «наповнитися кров'ю»). Сполучення *a se unge de sînge* вживається в районах українсько-східнороманських мовних контактів (Буковина, Мараморощина). Ще красномовніше вживання *a se unge* в сполученні з словом, що позначає сажу (ALR sn 1455), ізоглоса цього мовного явища прилягає безпосередньо до українського мовного масиву.

У переважній більшості говірок Молдови і Валахії касторка була названа словом, яке позначає саме масло, а не олію, хоч за консистенцією вона нагадує олію (ALRM sn 179). Це пояснюється насамперед походженням назви, у придунайських князівствах вона з російської (*рицинове масло*) чи болгарської (*рициново масло*), а в землях, що входили до складу Австро—Угорщини — з німецької (*Ricinusöl*) або угорської (*ricinusolaj*). До речі, саме слово *unt* як назва коров'ячого масла за внутрішньою формою пов'язане з слов. *масло* (пор. *мастити*).

У відповідях на запитання: «Як ви називаєте волосся людини, коли воно наполовину побіліло?» поряд із літературним терміном *sărunt* «просивий» (< лат. *canutus*) у п'яти пунктах південно-західної Румунії та в одному, розташованому в НРБ, було записане слово (*a*)*mestecat*, що є дієприкметником від *a amesteca* «мішати, змішувати» (ALR II 4; NALR Olt. 17). Подібний спосіб вираження цього поняття засвідчений і в болгарській (*мешен*) та угорській (*vegyes*) говірках на території СРР. Через брак відповідного болгарського та угорського діалектного матеріалу не можна висловитися щодо походження такого слововживання. Тому обмежуємось тут лише констатацією цього явища міжмовної лексичної ізосемії на рівні говірок.

Одночасно звертаємо увагу на те, що в південній Олтенії в кількох населених пунктах поняття «просивий» передається словами, що означають «пістрявий»: *împestrîtat*, *popistrat*, *înspicat*, *spicat*. До речі, і в Трансільванії вживається прикметник *pestrîț* у значенні «просивий». Але і в болгарській мові це поняття

¹⁵ Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. IV, София, 1968, стор. 119.

виражається аналогічно: *прошарен* (*прошаря* «робити пістрявим»). Рум. а *înspică* має значення «колоситися» (пор. іт. *spigare*, фр. *érier*, ісп. *espigar*). Та крім цього значення, пасивний дієприкметник цього дієслова — *înspicat* — має ще одне: «пістрявий» (про тканину), «просивий» (про волосся чи бороду людини) і рідко «рябий» (про побите віспою обличчя). Навряд чи можна пов'язати це значення із значенням фр. *érier* у виразі *un chien érié* «qui a, au milieu du front, du poile plus grand qu'ailleurs». Так само і в інших переглянутих лексикографічних джерелах романських мов немає нащадків лат. *spica* «колос» із значенням рум. *înspicat* «пістрявий». Зате в болгарській говірці знаходимо подібне утворення, що правда, не дієслово, а іменник *plurale tantum*: *класове* (букв. «колоски») «осушані різні на цвят прежди за тъкане на разноцветно»¹⁶. В інших слов'янських мовах начебто немає подібного значення у слів, що походять від слова *колос*, якщо не зважати на укр. *колосок* «род орнаментики в виде колоса»¹⁷, значення якого досить далеко від рум. *înspicat* «пістрявий». Доки немає ніяких романських чи слов'янських паралелей такої семантичної еволюції, не можна висловитися про її джерело навіть у гіпотетичному плані. Можливо, будуть знайдені нові діалектні форми, які допоможуть прояснити цю загадку, а разом вирішити й іншу — про походження арумунського слова *skicuriçiu* «малий разок дукачів», пов'язаного, як здається, зі словами *skicuriă*, *skic* «колос».

Чимало семантичних запозичень слов'янського походження можна знайти в румунській народній термінології і флори, сузір'їв, знарядь і інструментів, сільської архітектури і т. ін. Оскільки брак місця не дозволяє вказати їх всі, спинимося на явищах семантичної інтерференції в термінологічній групі орнітонімів.

За свідченням лексикографічних джерел і дослідження М. Беческу, у північно-східних дакороманських говірках назва бекаса — *berbecel*¹⁸. Це — семантичне запозичення, бо демінутивна назва ссавця використовується як назва птаха у сусідніх слов'янських мовах, пор. укр. *баранець*, *баранок*, *баранчик*¹⁹, рос. *барашек*, *баранчик* (Даль I 47), польськ. *baranek*.

Результатами семантичної інтерференції є декілька з численних назв волового очка, одні з них є кальками (*craiul-păsărilor*, *împărătuş*, *ochiul-boului*), інші — позичають внутрішню форму, не будучи формально кальками. Так, назва *amăgitoare* (пор. а *amăgi* «обманювати») відтворює внутрішню форму українських *зводій*, *зводителі*, *дурійчик*, *дурибаба*, *дурисвіт*, *облуда*, *блудник*, які називають волове очко. Назва *şogicel* є семантичним запозиченням за укр. *мишка*, *мишачик* «волове очко». Ряд інших румунських назв волового очка (*gărdurar*, *sătipar*, *gătejel*, *cioclejel*) передають іншу внутрішню форму укр. *ломівник*, *ломовик*, *плотик*, *поплоток*. Ще одна назва цієї ж пташки (*piculiţă*) є відтворенням укр. *горішок*, а *îfiritoare* повторює українську назву *трищук*. Ми навели тут лише назви волового очка, поширені в північно-східних районах Румунії, тобто в зоні

¹⁶ Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. III, София, 1967, стор. 88.

¹⁷ Б. Гринченко, Словарь української мови, т. II, Київ, 1908, стор. 272.

¹⁸ М. С. Băcescu, Păsările în nomenclatura și viața poporului român, București, 1961, стор. 34.

¹⁹ Б. Гринченко, Цитраця, т. I, стор. 28.

впливу української мови. В інших районах волове очко називається іншими словами.

Цікаві пригоди випали на долю орнітологічного терміна *ploier* (пор. *ploaie* «дощ»). В румунській літературній мові ним позначають птахів родини сивкуватих. Ця назва спирається на існування в народних говірках слова *ploier*, але не взято до уваги, що народний термін позначає не сивкуватих, а бджолоїдок. Очевидно, на значення рум. літ. *ploier* вплинула французька назва сивкуватих — *pluvier*. Народні назви сивкуватих у румунській мові пов'язані в основному з місцями їх життя: *apag* (ар'я «вода»), *puhoier* (пухой «селевий потік»), *grundăgaș* (grund «гравій, ринь, жорства») або з інтерпретацією звуків, що їх видають сивкувати: *fluierag* (fluier «сопілка»). До речі, остання назва має паралель у болгарській мові, де *свирец* (*свирка* «сопілка») часто використовується в орнітологічній термінології. А слово *ploier* позначає у південних районах Румунії бджолоїдку. Точно таку внутрішню форму виявляє і болгарська назва бджолоїдки — *дъждовник*. Якщо ця ізосемія буде знайдена і в інших мовах Балканського півострова, то, очевидно, маємо тут справу з балканізмом.

Як бачимо, семантичні запозичення слов'янського походження в різних східнороманських говірках мають різні джерела. На півночі і сході семантичний вплив іде з боку східнослов'янських мов, а на півдні і заході — з боку південнослов'янських мов. Це підтверджується і новими лінгвогеографічними матеріалами румунської мови. Так, у Марамороші колінна чашечка у місцях, що зазнали слов'янського впливу, називається *сур'я* («чаша» тощо) (ALRR Mag. 132). У тих же місцях на запитання «За що беретесь, коли відчиняєте двері?» одержано багато відповідей із словом *тіпег* «ручка» (ALRR Mag. 266), хоч літературна норма вимагає слова *clanță*. Укус бджоли тут позначається дієсловом *a tușca* «кусати» (як в українській мові), хоч в інших говірках і в літературній мові вживається дієслово *a înțera* «вколоти» (ALRR Mag. 496). В окремих говірках Мараморощини полиця (частина плуга) називається словом *scîndură* «дошка» тощо (ALRR Mag. 841). Між іншим, саме в сусідніх українських говірках полиця має назву *дошка* (Дзендз. 182), пор. ще й угор. *kormánydeszka*. Інколи іншомовна назва запозичується безпосередньо, але окремі говірки все ж намагаються запозичити не зовнішню, а внутрішню форму іншомовного слова. Так на Мараморощині запозичена українська назва пристрою, на який ставиться плуг при перевозці його до поля — *кобила*, *кобилина*: *cobilă*, *cobilină* (ALRR Mag. 850). Однак в окремих населених пунктах цей пристрій називають своїм словом *іар'я* «кобила».

З другого боку, в південних говірках Румунії можна простежити вплив південнослов'янських мов. Так, в частині говірок Олтенії грижа називається *surupătură*, а хворий на грижу — *surupat* (NALR Olt. 137 і 139). Дієслово *a surupa* (< лат. *subgrare*) майже ніде в Романії за винятком східнороманських мов, не збереглося. Головне його значення — «обвалювати, руйнувати», яке розвинулося із «кидати вниз» (пор. іт. *dirupare*). Та в південних румунських областях у нього з'явилося нове, пов'язане з народним баченням хвороби, значення. Таке

саме «бачення» грижі і в деяких болгарських говірках, пор. *спадам* «подати», «валитися», «зменшуватися» і «хворіти на грижу»²⁰.

Хоча слово, яке позначає «віз» у румунській мові — *sar*, — є словом латинського походження, проте назви окремих частин цього засобу пересування є запозиченнями: *bucșă, loitră, orgic, osie, proțar, șină, vîrtej* і т. д. Маточина колеса в літературній мові і в більшості говірок називається словом невідомого походження *butuc*, в окремих місцях для її позначення вживають метафору *bucium* (< лат. *bucinum*). Але в південній Румунії ця частина колеса називається *sărățînă* (ALR sn 340; NALR Olt. 386). Щодо походження цього слова висловлювалися припущення, ніби воно продовжує незасвідчене в пам'ятках лат. **caritina*. Однак більше рації має А. Чоранеску, вважаючи ймовірнішим румунське (а не латинське) утворення цього слова як експресивного від *sar* «голова»²¹. У болгарських говірках так само є експресивно-збільшувальне утворення від *глава* — *главина*²². А втім основне значення болг. *главина* — це «част на колело, в която се вкарват спиците и оста»²³. Така сама метафора відома й сербохорватській мові. Про те, що саме від південних слов'ян запозичили валаські румуни внутрішню форму цього слова і, отже, процес відбувся не навпаки, свідчить присутність цієї метафори в інших слов'янських мовах, пор. укр. *голова*²⁴, чес. *hlava*. Албанці запозичили від слов'ян безпосередньо саму лексему — *gllavinë*²⁵ (пор. і угор. *kerékagy*). У той же час в західнороманських мовах назви маточини або мають іншу внутрішню форму, або ж взагалі втратили її (пор. ісп. *cubo*, іт. *mozzo*, фр. *moуец*). Якщо глянути на територію поширення рум. *sărățînă*, то можна зрозуміти, що термін цей є семантичним запозиченням з південнослов'янських мов, а точніше — з болгарської. Хронологію цього запозичення можна встановити лише відносно, спираючись на те, що в аромунській *sărățînă* не має значення «маточина»²⁶. Історорумуни, як і албанці, користуються для позначення розглядуваного поняття безпосереднім слов'янським лексичним запозиченням *oḷlavina*.

В аромунських говірках теж чимало семантичних запозичень слов'янського походження. Аромунське дієслово *avîri* (лат. *venari*) розширило своє значення порівняно з етимоном. Воно означає не лише «полювати», а й «ловити рибу» (в латинській мові останнє значення передавалося словом *piscari*). Ця зміна безперечно пов'язана з впливом семантичної структури болг. *ловя*, яке вживається щодо птахів, звірів, риби; пор. давньоруське *ловити*, сrbхрв. *ловити* і т. ін. У мегленських говірках *săntari* означає не тільки «співати», а й «читати»²⁷,

²⁰ Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. III, стор. 169 і 276.

²¹ A. Cioreanescu, Diccionario Etimológico Rumano, Universidad de la Laguna, 1958—1966, стор. 137.

²² Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. II, стор. 144.

²³ БТР, 106, Пор.: Български диалектен атлас. I. Югоизточна България. Съставен под ръководството на Ст. Стойков и С. Б. Бернщейн. Част първа, София, 1964, карта № 264; Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. III, стор. 50, 208, 296; кн. IV, стор. 196; кн. V, стор. 15, 226.

²⁴ Б. Грінченко, Цит. праця, т. I, стор. 301.

²⁵ А. В. Десницкая, Славянские заимствования в албанском языке, Москва, 1963.

це значення запозичене з болгарської, пор. болг. *пей го писмото* «читай лист» Там же *muntî* означає не «гора», а «ліс», як болг. *гора*.

Список цих прикладів можна продовжити. Але й наведених досить для того, щоб зробити певні висновки. У східнороманських мовах поряд з безпосередніми лексичними запозиченнями з слов'янських мов існує чимало семантичних запозичень. Ці останні спостерігаються не лише в давніх перекладних пам'ятках, де вони могли пояснюватися лінгвістичним тиском мови оригіналу на мову перекладу. Дуже багато семантичних запозичень у народних говорах східнороманських мов. Це свідчить про інтенсивність слов'яно-східнороманських мовних контактів не тільки на рівні літературної мови, а й на рівні живих говірок. При цьому ці контакти, розпочавшись у далеку давнину в часи східнороманської мовної єдності, тривали, і після розпаду цієї єдності, тільки тепер слов'янський семантичний вплив торкався різних слів у кожному відгалуженні єдиної колись східнороманської мови.

Інколи звучать голоси, ніби специфіка румунської мови визначається її географічним становищем, а не структурними рисами. Однак хіба лексико-семантична система не складає одну з найважливіших частин мовної структури? Безперечно, має рацію М. Г. Корлєтяну, проголошуючи: «Слов'янські елементи в східнороманських мовах, як і германські у західнороманських мовах, сприяють диференціації східних від західнороманських мов»²⁶.

«Нерідко доводиться чути, — писав югославський лінгвіст П. Скок, — про якусь неповноцінність слов'ян, що виявляється, мовляв, у тому, ніби в мовах західної цивілізації зустрічається мало слов'янзмів і дуже багато германізмів. Звідси робиться висновок, що слов'янська цивілізація анітрохи не вплинула на зміну європейської лексики. Однак є факти, які свідчать про протилежне, а саме про те, що слов'яни внесли зміни в словниковий склад малих східних народів від Балтики на півночі аж до Греції на півдні майже в такій самій мірі, як це зробили франки на заході. Якщо франки змінили західноєвропейську лексику, то про слов'ян можна сказати, що вони змінили східноєвропейську лексику, майже в такому ж обсязі»²⁹.

У цих словах видатного югославського романиста міститься чиста правда, і уточнення, яке слід внести, стосується лише слова «майже» в останньому реченні. Якщо говорити про зміни східнороманської лексико-семантичної системи під слов'янським впливом, слово «майже» тут непотрібне бо цей вплив на східнороманські говірки був в усякому разі не менший германського впливу на західноєвропейську лексику.

²⁶ Т. Parahagi, *Dicţionarul dialectului aromân general şi etimologic*, Bucureşti, 1963, стор. 270.

²⁷ «Grai şi suflet», том III, стор. 196.

²⁸ Н. Г. Корлєтяну, Проблемы изучения славяно-молдавских языковых, литературных и фольклорных связей. — *Известия АН СССР, серия литературы и языка*, 1968, вып. 4, стор. 528.

²⁹ П. Скок, Об этимологическом словаре хорватского, или сербского, языка. — *Вопросы языкознания*, 1959, № 5, стор. 96—97.

Одним із завдань славістики і східнороманської лінгвістики є виявлення всіх семантичних інтерференцій слов'янського походження у східнороманських мовах. Це дозволить показати конкретний внесок слов'янських мов у формування і розвиток лексико-семантичної системи східнороманських мов.

У цій статті взято лише один аспект слов'яно-східнороманських мовних контактів, а саме — вплив лексико-семантичної системи слов'янських мов на східнороманські мови. Але процес взаємодії мов не є однібоічним. Безперечно, внаслідок слов'яно-східнороманського мовного контактування у сусідніх слов'янських говірках чимало слідів лексико-семантичного впливу східнороманських мов. Цей аспект так само важливий для всебічного дослідження слов'яно-східнороманських мовних і етнічних контактів.

Список скорочень:

- БТР** — Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Левков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, *Български тълковен речник, второ издание*, София, 1963.
- Даль** — В. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, тт. I—IV, Москва, 1955 (римська цифра вказує том, арабська — сторінку).
- Дзендз.** — Й. О. Дзензелівський, *Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. (Лексика)*, част. I—II, Ужгород, 1958—1960 (цифра вказує номер карти).
- СУМ** — *Словник української мови*, тт. I—IV, Київ, 1970—1973 (римська цифра вказує том, арабська — сторінку).
- Срезн.** — И. И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, тт. I—III, Санкт—Петербург 1893—1903 (римська цифра вказує том, арабська-сторінку).
- ALR II** — *Atlasul lingvistic român publicat de Muzeul limbii române din Cluj, partea II*, 1940 (цифра вказує номер карти).
- ALR sn** — *Atlasul lingvistic român, serie nouă, vol. I—VII*, 1956—1972 (цифра вказує номер карти).
- ALRM I** — *Micul atlas lingvistic român, partea I, vol. II*, 1942 (цифра вказує номер карти).
- ALRM II** — *Micul atlas lingvistic român, partea II, vol. I*, 1940 (цифра вказує номер карти).
- ALRM sn** — *Micul atlas lingvistic român, serie nouă, vol. I—III*, 1956—1967 (цифра вказує номер карти).
- ALRR Mar.** — *Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș, v. 1—3*, 1969—1973 (цифра вказує номер карти).
- DLRLC** — *Dicționarul limbii române literare contemporane, vol. I—IV*, 1955—1958 (римська цифра вказує том, арабська — сторінку).
- NALR Ol.** — *Noul atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia, vol. I—III*, București, 1967—1974 (цифра вказує номер карти).

**Исторические пласты лексики закарпатского украинского литературного
языка XVI века**

Л. ДЭЖЕ

Наиболее старым памятником закарпатской литературы является Няговская Постилла (сокращ. НП), которая вместе с тем одно из старейших произведений украинской литературы, написанное на народном языке. Ее значение тем больше, что она написана на весьма арахичном говоре, так что ее изучение способствует и лучшему познанию языка предшествующих веков, бросает свет на тот период, от которого не сохранились памятники литературы. Мы руководствовались такими соображениями при составлении полного словаря НП (близко 2800 слов), который исследован с разных аспектов¹.

В нашей статье подвергаются анализу исторические пласты лексики закарпатского варианта литературного языка XVI в., отражавшейся в НП. С этой целью необходимо было установить отношение лексики НП к древнерусской лексике (до конца XIII в.), для чего мы пользовались словарем И. И. Срезневского, *Материалы для словаря древнерусского языка I—III*. 1958. К сожалению, украинская лексика XIV—XV вв. только слабо представлена в словарях изданий *Грамот (Вол. Розов. Українські грамоти. т. I. К. 1928 и Wł. Kuraszkiwicz, Gramoty galicko-wołyńskie 14—15 w. Studium językowe. Kraków 1934.)*, хотя они могут служить некоторой основой для сравнения. Не менее важно сопоставить закарпатскую лексику XVI в. с лексикой современного литературного языка на основе шеститомного «Украинско-русского словаря» (I—VI. Киев, 1953—1963).

Сопоставляя лексику НП со словарями древнерусского и современного украинского языков, мы можем установить исторические пласты лексики закарпатского литературного языка XVI в. Так, выделяется тот слой, слова которого уже имелись в древнерусском литературном языке и — как его наследство — дожили до современного украинского языка (1.1). Другой слой тоже унаследован НП от древнерусского языка, но его элементы не должи до совре-

¹ Полный словарь Няговской Постиллы опубликован нами: *Материалы к словарю закарпатской литературы XVI—XVII вв.* Будапешт, 1965, 470 стр. (В форме 16 микрокарт на пленке или в форме ксерокопии). Ниже слова НП приводятся в той форме, в которой они имеются в нашей работе, значение и локализацию слов можно найти в соответствующих словарных статьях.

менного украинского литературного языка, а остались историзмами (1.2). Третий пласт составляют слова, которые не были известны древнерусскому языку, но уже имелись в украинском языке XVI в. и дошли до литературного языка наших дней (1.3). К последнему слою относится та часть лексики, которая не принадлежит ни к древнерусскому, ни к современному украинскому литературному языку, она появилась в украинский период, в нее входят слова книжного языка или диалектов, которые не вошли в современный литературный язык (1.4).

При анализе этих четырех исторических пластов аспекты, отмеченные выше, пополняются новыми. Выходя из рамок украинского языка, рассмотрим слова каждого слоя, общие с современным русским литературным языком. Стараясь выделить славянские (церковнославянские, польские, чешские, словацкие) и неславянские (венгерские, румынские) заимствования и интернационализмы. Об отдельных группах заимствованных слов говорится особо (1.5).

Отношение лексики НП к лексике современных закарпатских говоров рассматривается во второй части (2.).

Для этого мы воспользовались восточнозакарпатскими текстами монографии И. Панькевича (Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. ч. I. Прага 1938) и труда И. Верхратского (Знадобі для пізнання угорсько-руських говорів. ч. I. Львів, 1899), материалом диалектного атласа И. А. Дзензелевского (Лінгвістичний атлас українських говорів Закарпатської області УРСР. Ужгород, I. 1958. II. 1960), они были дополнены данными Э. Балецкого².

1.1. Лелсика, засвидетельствованная в словаре И. И. Срезневского и в современном литературном языке, представляет собой наиболее устойчивую часть словаря НП, сохранившаяся от древнерусского до украинского языка наших дней. Она является самой значительной из рассмотренных пластов 49,3%, почти половина всего словаря НП. К ней относятся слова народного языка, хотя встречается и несколько общепотребленных книжных элементов. Эти слова сохранились от древнерусского языка до наших дней, но часто их значение отличается от того, что засвидетельствовано в древнерусском или в НП, хотя их можно еще сопоставить. Кроме того, их значительная часть принадлежит к устарелым или диалектным элементам.

Незначительно число слов, отсутствующих в современном русском литературном языке. Данное обстоятельство указывает на то, что данный пласт содержит основной словарный фонд древнерусского литературного — а также народного — языка, унаследованный двумя братскими языками. Его значительная часть сохраняется не только в современных литературных языках, но и в говорах, так как относится к наиболее важным словам различных предметных групп. Этот многочисленный пласт не представлен в нашей работе из-за недостатка места.

1.2. Значительная часть (13,2%) лексики НП состоит из слов, которые засвидетельствованы в словаре И. И. Срезневского, но в современном украинском языке уже не употребительны и не содержатся в украинско-русском словаре.

² Автор выражает искреннюю благодарность Э. Балецкому за его ценные данные и замечания.

В современном русском языке встречается значительная часть этих слов. В древнерусский литературный язык они перешли из церковнославянского или частично из народного языка. В отличие от современного русского литературного языка в украинский литературный язык книжные слова не вошли, однако, в старом украинском литературном языке они могли употребляться и в других памятниках.

Надо отметить, что не все слова этого пласта имеют общее значение с соответствующими словами словаря И. И. Срезневского, иногда значения лишь близки или только их связь может установиться. Иногда наблюдается небольшая разница в образовании слов НП и литературного украинского языка, напр.: *пущати* (лит. *пускати*), *пропущати* (лит. *пропускати*), *туй* (лит. *тут*), *тулько* (лит. *тільки*), разница в роде: *иства* (лит. *їство*), *продажа* (лит. *продаж*), *стража* (лит. *страж*), *псалтыря* (лит. *псалтир*), *пути* (лит. *пути*). В других случаях они различаются по фонетическому облику: *разгнівати*, *разлучити*, *разсытание*, *сокрушити*, в литературном языке соответствующие слова имеют не книжные префиксы, а народные *роз* — или *с-*, а в слове *слюбудно* встречается *сл* — вместо *св*.

Лексика данного пласта разделяется на две части: (1) слова, встречающиеся в современном русском литературном языке (в том числе слова и народного и книжного происхождения); (2) слова, отсутствующие в современном русском языке, они считаются историзмами с точки зрения как русского, так и украинского литературного языков. Последняя группа делится дальше по происхождению: церковнославянские и народные элементы. Из-за недостатка места не дается перечень слов, сообщаются лишь статистические данные с некоторыми замечаниями.

(1) Больше половины (57%) этого пласта сохранилось в современном русском литературном языке, но близко половина ее в словаре Д. Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка, I—IV. М. 1935—1940), отмечена как книжные, церковные, устарелые слова. Большой частью они носят на себе признаки их церковнославянского происхождения. В русском, многие церковнославянские слова относятся к числу живых, более-менее широко употребительных, так и из наших слов: *возраст*, *воскресный*, *вражда*, *обратити ся*, *прежде*, *сладость*, *сласть*, *соблазнити ся*, *создание*, *создати*. Такие слова употреблялись и в старом украинском литературном языке, хотя они были неизвестны народному языку. Автор НП старался писать на народном языке, все же его язык не полностью свободен от церковнославянизмов.

(2) Лексика, несохранившаяся в русском литературном языке делится на церковнославянские и народные слова.

(А) Церковнославянскими считаются те элементы, которые располагают признаками своего происхождения или же по значению могут относиться лишь к религиозной лексике. Таких слов немного, лишь 11% всего пласта.

(Б) В группу народных слов (32%) входят те, которые не происходят из церковнославянского, безотносительно к тому, имеются ли они в современных говорах, или нет, так как необходимо учесть и архаизмы. Некоторые из них могли происходить из церковнославянского или книжного украинского языков, судя

по их значению или по суффиксу *(-і)ня, -(а)ня*, но они встречаются в форме народного языка: *идіня, извязана, иззобати, назнаменовати, напастовати, обидіня*, и могли быть известны и народному языку, хотя возможно, что только автор дал им такую форму. Другие слова перешли в народный язык из церковной лексики: *пророский, патріярский*, но они тоже употреблялись в народном языке, на что указывает и их форма.

Удел религиозной лексики значительнее в этом пласте, чем в любом другом.

1.3. В предшествующих пунктах мы рассмотрели ту часть лексики НП, которая не сохранилась в современном украинском литературном языке и в значительной части говоров, в этом пункте мы представим те слова, которые засвидетельствованы в НП и в современном литературном языке, и вероятно уже давно входят в лексику большинства украинских говоров, хотя они были неизвестны древнерусскому литературному языку, судя по словарю И. И. Срезневского. Разумеется, можно предположить, что часть их имелась в определенных древнерусских говорах, но не попала в памятники, все же их надо считать инновациями, и их наличие характерно для украинского языка в отличие от древнерусского.

Данный пласт, который больше предыдущего (16,9%), делится на группы в зависимости от того, встречается ли данное слово в современном русском литературном языке, или нет. Впервые рассмотрим общую лексику русского и украинского языков, а потом специальную украинскую.

Необходимо отметить, что значения слов НП не всегда соответствуют точно значению данных украинско-русского словаря, но значения слов обоих источников можно связать. К этому пласту причислены и те данные И. И. Срезневского, которые засвидетельствованы лишь в староукраинских или старорусских памятниках (XIV в. и позже).

Общая лексика украинского и русского языков составляет больше половины (53%) всех слов, неизвестных древнерусскому литературному языку. Их небольшая часть (6%) имеет значение, значительно отличающееся от русских слов, а 9% относится к просторечным, областным, разговорным или устарелым по словарю Д. Н. Ушакова, а есть среди них несколько книжных слов.

К особой украинской лексике относится 47% слов данного пласта, одна пятая которых является словами, общими с польским или заимствованными из польского. О них подробнее говорится ниже, теперь они лишь перечисляются: *блискъ, голузя, дбати, досыть, дяка, дяковати, жадень, задаремный, заразь, зычити, иднати, испочивати, картати, кортати, лотрь, мовити, мусити, муцный, муць, надаремно, недолугый, немучный, неудачно, неудачный, обицяти, обицяти ся, обмова, обмовляти, пановати, панство, пань, певный, пекельный, пилновати, покута, порода, пумста, розмантый, тежъ, тыжень, удачно, удачный, ужиток.*

Рядом с такими словами, которые обладают западнославянским фонетическим обликом: *муць, муцный, обицяти*, встречаются и такие, которые имеют восточнославянский корень: *солодкый, посоромити ся* и др., а в русском литературном языке укоренилось соответствующее церковнославянское гнездо, напр.: *слад-, срам-*. А другие слова относятся к корням, реже употребленным

в русском, например, ряд глаголов гнезда *від-*(*извідувати, повісти*), от которого не образуется глагол в русском языке.

1.4. К последнему пласту относятся слова, неизвестные ни древнерусскому, ни современному литературному языкам, составляющие одну пятую (20,6%) всей лексики НП.

Небольшую часть (16%) этого слоя составляют церковнославянские элементы, которые не засвидетельствованы в древнерусском, но употребляются уже в староукраинском литературном языке. Одна пятая таких слов могла происходить и из языка народа или была создана самим автором (*доганяня, извідованя, испомаганя, назнаменовати, приказаня, прятаня, росказаня, слобожіня* и др.). Иногда церковнославянский фонетический облик слова был переделан автором на народный, напр.: *перелестити*. Часть церковнославянизмов была известна и народу, как церковная терминология обрядов. Среди церковнославянизмов встречаются и такие, которые вошли в русский литературный язык, напр.: *господьствовати, законоучитель, исполнение, размножение, рождество, сопротивляти ся, спасительный, убожество*.

Почти половина (49%) этого слоя состоит из народной, славянской лексики. Особо рассматриваются польские (7) и венгерские (17) заимствования, большинство которых тоже относилось к народному языку. Если еще иметь в виду, что часть церковнославянских элементов тоже была известна народу, то можно установить, что около 85% этого слоя было присуще народному языку. Поэтому и из-за того, что они не засвидетельствованы в словарях, сообщим их.

Восточнославянская лексика народного языка: *айно, бай, булуувь, бурше, бурий, бігнути, вершинокъ, волохъ, ворожити, ворожіля, вуйнянинь, выдверечи ся, выдгнівати, выдку, выдкудь, выдпосередь, выдслободити, выдсюдь, выдтолка, выдту, выдтудь, выдці, выжурити, вычуты, гадиняный, голодніти, голубокъ, голусть, грішати, грішка, густьскый, дакто, двае, двигань, дозаутра, доку, докудь, доту, дотудь, дурнусть, дурні, дурнякъ, жадусть, живина, житлусть, завистливый, загадованецъ, задарь, заденчовати, зажадати ся, закрасти, занужь, заранокъ, засліпнути, зашто, ицця, изверхы, извершенокъ, извонкы, извідувати, изгнилусть, изжати, изжаловати ся, излишити, излишити ся, измежи, измутити ся, изнедужати, изненавидіти ся, изновити ся, изудну, имити, имити ся, имляти, инуда, иниъ, исказити, исколотити ся, искорняти, искрышити, исперву, испередь, испирати, исповиновати, исповісти, испомагати, испоминати ся, исправовати, испротивляти, испрятовати, испудь, истрясти ся, истямяти, ка, каждый, каменця, ключарство, кортань, кортати, кто годі, лихота, ліктажъ, ліпуувь, мирнусть, можь, мужейскый, мутня, мізилный, нагай, наддати ся, надежа, назадарь, назаді, найбулма, найбулие, найбурие, найперво, найпершее, намного, намножити, намолити, напоследь, напуцати, напорити, напорити ся, натокмити, наяво, неветішнїлий, невульный, негаданя, негнилий, недовжний, недостоинство, некнижнїый, немилостный, ненавистливый, нерозумство, нискусть, нужь, нігда, ніжли, ніцять, обидовати, оглумити, одегнути, одно, однонадесять, окара, окарати, окаровань, оклеветовати, окреме, окремити, омаліти, оно, онь, опасовати, ослободити, осокочовати ся, осуда, отихнути, отцювскый, отяготити, охабити, охті, падливусть, перейшїлий, перека, переступокъ, пересучь, першее, побожити ся, побуждати, поверечи, погромадити, погромажовати,*

погрібати ся, пожадати, пожитокъ, пожиточный, позвідовати, показити, покладовати, покортати, половень, положавый, померкати, помінокъ, понавчиніти ся, попочивати, попочити, попрятати, посоромотити, посоромтити, посороміти ся, потвердити, потокмити, потокмити ся, почестовати, предавній, привидіти, присмотріти, присмотровати, присно, приспорити, притерпіти, провіщати ся, проглумляти, прущито, прятати, пуднужъ, пузля, піля, піняжний, пінязі, розболити, розволокати, розгадовати ся, розгордіти, розмножати ся, роспуснути ся, руска, рыбарити, різовати, само, слобода, слободити, слободити ся, слобажати, служський, слузство, смятити ся, сокотити ся, солодусть, соромотити, соромтити, сороміти ся, сотникувъ, столля, тверезити ся, токма, токмити, темінь, трусникъ, туйка, тяжкусть, убитва, убити ся, увезды, уверечи, урожай, ужати, уздріти ся, узнати ся, указовати ся, укусити, упалый, упорожне, уполі, уполіде, управдати, урядництво, устягати ся, усячино, утікати ся, ухватити, учинокъ, холодниця, хоть, хоть котрый, хоть кто, хоть якый, хотяй, хотянь, хыжний, цвітовый, цицька, чести, честовати, чортовый, чудовати ся, якъ годі.

Лексика общая с польским или заимствованная: *албо, выкощовати, гварити, гды, добродіство, дорадити ся, дотулити ся, дячити, едень, заедно, заправды, заправді, иверь, изважати ся, излиходячити ся, излякнути ся, искощовати, испочивный, испочивокъ, испочинути, карнуть, картань, картати, кощованя, кощовати, кужка, лацно, лиходячити ся, моркотати, негай, огень, пилно, покармі, покартити, помуць, потулити, пховати, радця, таистра, туляти, удобродячити ся, удячити ся, ушиткый, хрупіти, цемраші, цемрований.* Слова корня *кощ-* являются заимствованиями из немецкого. Сюда отнесены слова, образованные от такого корня, который общий с польским или считается заимствованным, хотя нет соответствующих им польских слов, напр.: *удобродячити ся.*

Чешские и словацкие элементы: *тролити ся* (только в чешском), *слутый, слущство.*

Венгерские заимствования: *алчувъ, бановань, бетіжний, бетюгъ, бировань, бирувъ, будушловати, бізентовати, бізовань, бізовати ся, бізоншагъ, бізоншаство, бінтетовати, біръ, бічелованя, бічеловати, валастъ, валтовати, валтовати ся, валчакъ, варышский, варышь, вывалтовати, выдвалтовати, гамішно, гарць, гаталомъ, годножъ, гіръ, добіентовати, ельлень, забізентовати, изъ(ил)-енкедовати, ингедливый, инкедованя, инкедовати, искелтовати, ицаловати, казда, каздувство, кедвезовати, келтованя, келтовати, керешкедовати, ковдошь, копітань, курвашь, кіновати, кіновати ся, кінчъ, кіпъ, ланць, ломпашь, лоршагъ, марга, мештершикъ, мянтованя, мянтовати, мянтовати ся, навновати, наелень, німоровшагъ, отерханый, отерхати, ошкола, погаръ, пересалашловати, пилда, повгаръ, провкатыръ, салашловати, салашь, сама, серенчлявый, синте, сушигъ, табла, тамадовати ся, терхъ, урюкашь, урюкъ, філь, хосна, хосновати, хосновито, хытляньство, хытляный, чаловати, чаловати ся, чалувный.*

Румынские заимствования: *буката, варе, варе де, вере котрый, варе кто, варе кулько, варе чій, варе якъ, май, симбреля, сокотільникъ, сокочія, усокотити, усокотити ся.*

Интернационализмы: *калугорь, коміла, курва, курварити, курварский, курварство, мамонь, махаветово, патріярха, сабышь, ялмужна.*

Географические названия, народы: *арсиский, гадаринский, гадарянинь, галлейский, гречинь, Иудей, константинопольский, мелтнянинь, мытянинь, назарянинь, самаряниновь, самарянина, сикимлянинь, сирский, сирянский, турский, угринь, филистянинь, цариградский.*

1.5. При анализе отдельных пластов были особо выделены славянские и неславянские заимствования, о которых теперь сделаем несколько обобщающих замечаний.

Выделение славянских заимствований не является легким заданием, для установления церковнославянских, польских, чешских и словацких слов не всегда располагаем верными фонетическими критериями. Наличие данного слова в другом языке нельзя считать решающим доказательством, ибо у общеславянских корней надо учесть и возможность самостоятельного образования. Причиняет трудности и то обстоятельство, что историческая лексикология украинского языка мало обработана, хотя даже при высокой степени обработанности материала было бы невозможно восстановить всю лексику языка из дали нескольких веков, так как в памятниках отражается лишь часть словарного состава. Это делает сомнительной принадлежность того или иного слова и увеличивает число ошибок при статистике.

Возникают трудности и при определении языка, из которого происходит заимствованное слово, например, у ряда заимствований из польского и словацкого при наличии данного слова в обоих языках в том же фонетическом облике.

Автор Няговской Постиллы ставил себе целью писать на языке, понятном народу, и старался избежать чужих слов, все же число заимствований немало и не ограничивается словами народного языка.

Церковнославянские слова

В XVI в. такой образованный священник, каким был автор НП, знал хорошо литургические книги и религиозную литературу. В то время еще не был развит старый украинский литературный язык, который был свободнее от влияния церковнославянского, чем язык древнерусской религиозной литературы, так что нельзя ожидать, чтобы автор не употреблял церковнославянских слов. Лексика НП не могла освободиться от влияния церковнославянского и по другой причине. Грамматическая система мараморошского народного языка могла полностью заменить церковнославянскую, но его лексика была другого характера, в ней не было ряда религиозных терминов и часть религиозной терминологии была взята народом из церковнославянского. Стараясь писать на чистом народном языке, автор должен был бы или избежать религиозных терминов, или заменить их словами народного языка. Автор не мог обойтись без определенных религиозных терминов, но часто употреблял вместо них слова своего наречия. Так, стремясь к употреблению народного языка автор заменял даже основные религиозные термины, напр., вместо *воскресение, воскреснути, находим устаня, устати*, что является индивидуальным образованием автора.

Церковнославянские слова составляют около 10% всей лексики. К сожалению, мы не располагаем данными для сравнения, но безусловно, что доля церковнославянской лексики невелика, если учесть, что раньше в религиозной литературе не употреблялся народный язык. Правда, часть церковнославянской лексики общая с народной, а другая часть довольно легко заменялась словами народного языка. Больше двух третей церковнославянских слов НП было унаследовано от древнерусского литературного языка, но половина их уже не вошла в современный украинский язык, но их значительная часть встречается в современном русском литературном языке.

Церковнославянские элементы пункта 1.4 не засвидетельствованы в древнерусском. Часть их известна современному русскому языку, так что вероятно она была употребительна и в восточнославянской редакции церковнославянского языка. К сожалению, не располагаем словарем церковнославянского языка восточнославянской редакции, нет и словаря южнославянской редакции, и можем только предположить, что ряд слов был присущ только памятникам южнославянской редакции, напр. *кварь*, *укварити*. Они свидетельствуют о влиянии южнославянской письменности, что вполне правдоподобно, потому что Мараморощина была частью Трансильвании, а из Молдавии пришла значительная часть мараморошских украинцев, так что воздействие болгарской письменности через румынскую церковь вполне возможно.

Церковнославянские слова относятся к отвлеченной и религиозной лексике.

Польские элементы

Переселение в Закарпатье получило большой подъем после завоевания Польшей югозападной Руси. В языке древнерусов (а потом украинцев) Закарпатье могли быть полонизмы и до захвата Польшей южнорусских земель, они дошли в восточное Закарпатье, лежавшее далеко от польской языковой области, посредничеством тех украинских говоров, которые были непосредственно связаны с польскими говорами, и значительная часть их лексики была общая с польской. Удел полонизмов значительно вырос и в языке закарпатцев после середины XIV в., когда приходили переселенцы с севера и соседние северные говоры принадлежали уже к польскому государству.

Интересно отметить, что для выражения «господин» имеется лишь польское *пань* (и образованные от него: *панство*, *панствовать*), у него не было ни народного украинского, ни венгерского соперника, если и был такой, он очень рано был вытеснен. К более старому слою польских заимствований относится и гнездо *дяк-*, основным словом которого является *дяка* «милость» с точки зрения семантического развития. Круг значений гнезда показывает, что эти слова распространились в результате общения с помещичьим классом, а сравнительно большое количество слов данного гнезда свидетельствует о раннем заимствовании. У некоторых других полонизмов тоже можно указать на подобный путь распространения, напр.: *обицяти*, *обицяти ся*, *картати*. Итак, говоря о влиянии польского языка, мы должны учесть не только воздействие книжного украинского языка, так как в живом народном языке тоже были полонизмы.

Хотя Закарпатье не принадлежало к польскому государству, не жили там польские или говорящие на польском языке солдаты, чиновники, через которых распространялось бы влияние польского или полонизированного украинского языка, все же Закарпатье имело значительные церковные и культурные связи с Западной Украиной. Образованные закарпатцы, может быть, не говорили на польском языке, но понимали его и читали современную им украинскую литературу. Кроме того в Закарпатье жило немало галицких священников и других грамотных людей. Все эти обстоятельства дают о себе знать скорее в XVII в.

Имея в виду сказанное, число польских элементов НП (3,3%) нельзя считать великим, особенно по сравнению с долей польской лексики в литературном языке того времени. Польские заимствования не относятся к лексике, имевшейся в древнерусском литературном языке, а они встречаются среди слов, общих с современным украинским языком и в особой лексике памятника (пункты 1.3 и 1.4). Выделение польских заимствований особенно трудно, если нет фонетических критерий. Мы воспользовались работой Р. Рихарда (R. Richardt, *Polnische Lehnwörter im Ukrainischen*. Berlin 1957), но в ней историческая лексика не учтена, поэтому мы чаще обращались к данным варшавского словаря (J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, *Słownik języka polskiego*. Warszawa I—VI. 1900—1927), все же нередко нельзя было установить заимствовано ли данное слово из польского или мы имеем дело с общей лексикой польского и украинского языков.

В отличие от церковнославянских элементов, относящихся к отвлеченной лексике, польские заимствования охватывают разные предметные группы. Близко половины их является словами обыденной жизни. Большинство остальных принадлежит к отвлеченным понятиям, по встречаются и термины государственной и общественной жизни и находим несколько слов промышленности живой и неживой природы. Кроме того засвидетельствованы некоторые грамматические слова.

Чешские и словацкие заимствования

Выше перечислено только 3 слова чешского или словацкого происхождения, но возможно было бы отнести сюда и ту часть польских элементов, которая общая со словацким. Из нее вероятнее предположить словацкое происхождение у таких слов, которых не найти в литературном языке: *добродійство, едень, заедно, иверь, излякнути ся, коштовати, охабити, пилновати, радця* (ср. *Slovník slovenského jazyka*. I—V. Bratislava, 1959—1965). Можно предположить, что слова, отсутствующие в современном словацком, но имеющиеся в чешском, употреблялись в чешском литературном языке старой Словакии и были заимствованы из него, а не из польского (напр. *лотрь, недолугый*). Из-за отсутствия фонетических признаков можно установить лишь то, что они могли приходиться или из одного или из другого языка. Основой для более точного решения служили бы данные говоров на севере от Карпат, ибо отсутствие в них данного слова служило бы доказательством чешского или словацкого происхождения.

Закарпатские украинцы жили в рамках венгерского государства, что обусловило влияние венгерского языка. Укоренение венгерских государственных учреждений происходило в XIII—XIV вв. К самому старому слою венгерских элементов относится слово *бирувь*, имеющее значение 'судя' в НП, но в народном языке более широко распространено его первичное значение 'староста, глава сельского самоуправления'. Оно относится к числу наиболее старых заимствований с *и* ($< o \hat{u}$), так что его заимствование надо отнести к XIII—XIV вв.³ Его ранее распространение вполне понятно, так как сельский староста является низшим звеном связи между народом и государством или латифундией. Слова *урюкъ*, *урюкашь*, 'наследство', 'наследник' (из ст. венг. *űrük*), общие с языком валашских грамот, перешли в украинский и румынский в XIV в.⁴ Вероятно раньше оба слова были знакомы дворянству и потом распространились среди народа.

Венгерские заимствования укоренялись постепенно в течение веков. Из-за отсутствия фонетических признаков нельзя установить время заимствования большинства венгерских элементов (так, напр., слова *ипань*, хотя оно может относиться к числу наиболее древних). Но в ряде слов сохраняется *e* и *o* в закрытом слоге, что указывает на заимствование конца XIV в. или более позднего времени: *гаталомь*, *годножь*, *бізентовати*, *келтовати*, *керешкедовати* и др.

В лексику, унаследованную от древнерусского языка, вошли не только слова, связанные с венгерским феодальным государством. Венгерская и украинская языковые области имеют длинную пограничную полосу, и в ходе общения двух народов распространились и другие слова, и некоторые из них могут быть очень раннего заимствования. Судя по замене венгерского *e* украинскими *'и* и *і* в закрытом слоге, до середины XIV в. были заимствованы: *бетюжь*, *бетіжний*, *філь* и свидетельствуют об интенсивном общении двух народов.

Венгерские заимствования составляют 3,3% всей лексики НП и относятся к историческим диалектологизмам. Они охватывают разные предметные группы. Большинство их входит в лексику обыденной жизни, меньшинство их принадлежит к той части отвлеченной лексики, которая связана с повседневной жизнью, работой государственных учреждений.

Примером могут служить слова гнезд *бізент-*, *бізон-* (венг. *bizony*): *бізентовати*, *бізоншагь*, *бізоншаство*, *бізентовати*, *забізентовати*, которые имеют значения, связанные с верой в Бога и доказательством религиозных догм в НП, но первоначально они были употреблены закарпатскими крестьянами для доказательства своей правоты перед судом, чиновниками комитата и латифундий. Подобное развитие наблюдается у слов гнезд *валт-*: *валтовати*, *валтовати ся*, *валчакь*, *вывалтовати*, *выдвалтовати*, которыми пользовался автор,

³ Ср. Л. Дэже. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI—XVII вв. *Studia Slavica* 4. 92.

⁴ Ср. Л. Дэже. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI—XVIII вв. *Studia Slavica* 4. 89—90.

говоря об искуплении грехов, но первоначально они употреблялись в связи с выкупом феодальных обязанностей и с торговлей.

Венгерские заимствования наблюдаются в государственной и военной терминологии: *бирувь, гарць, гаталомь, годножь, копѣтань, прокатырь, шпань*. Однако выше указанным способом значительная часть слов перешла из лексики государства, экономики в другие предметные группы. Так, *хытлянтво* 'лукавство', *хытляный* 'лукавый' в молдавских грамотах еще являются терминами измены воеводе.

О значительной части венгерских элементов нетрудно установить, что они распространились в ходе общения закарпатцев с чиновниками комитатов и латифундий. Однако, как отмечено, это не было единственным путем заимствования венгерских слов. В XIII—XVI вв. в Марамороше в долине Тисы жило венгерское население, общение с которым способствовало распространению ряда венгерских заимствований. Укоренение слов промышленности, торговли: *алчувь, мештершикъ, келтованя, келтовати, керешкедовати, кінчъ*, названий предметов: *ломпаиъ, погарь, ланць*, слов со значением 'болезнь', 'больной': *бетюгь, бетіж-ный* могло происходить лишь таким путем. То же самое можно сказать и о грамматических словах: *ельлень, наеллень, синте*.

Следует отметить, что из Закарпатья распространились венгерские заимствования и в другие украинские говоры. Можно предположить, что такие венгерские государственные термины как: *хытляный, хытлянтво*, засвидетельствованные и в молдавских грамотах, были установлены мароморошскими румынскими воеводами, которые основали молдавское княжество с украинцами, вышедшими с ними из Марамороша. У венгерских слов молдавских и других говоров на востоке и юге от Молдавии, можно предположить и посредничество румынского языка, так у слова *дежда* (в другой форме *дижма*) одесских говоров⁵, которое обычно в закарпатских украинских урбаральных записях XVIII в.

Румынские заимствования

Число румынских элементов невелико (0,5%), но среди них встречаются и два грамматических слова: частица *май*, образующая степень сравнения, и частица *варе*, неизвестная уже современным говорам.

2.1. Две трети (68%) лексики НП встречается и в современных говорах. Можно с уверенностью предположить, что эти слова, т. е. большинство лексики НП, принадлежало к народному языку и в XVI в. Остается одна треть (32%), которая не встречается в современных говорах, но возникает вопрос, не относилась ли часть этой лексики к народному языку в XVI в.? Рассмотрев ее мы нашли, что около 12% лексики НП составляли книжные слова, а 20% могло быть упот-

⁵ Ср. А. А. Москаленко, Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса 1958 (там же встречается и *бунда* тоже венгерского происхождения).

реблено и в народном языке XVI в. Итак, 88% лексики НП было присуще народному языку.

Такие статистические данные характеризуют отношение лексики НП и народного языка лишь с одной стороны: показывают долю народного языка в словаре НП. Такое участие живого языка объясняется тем, что автор сознательно употреблял народный язык. Правда, его стремление не увенчалось полным успехом, потому что он должен был пользоваться рядом религиозных терминов, которые были понятны народу, но не относились к народному языку.

Если мы хотели бы рассмотреть другую сторону вопроса, необходимо было бы установить, как относятся народные слова к целой лексике Мараморошского говора XVI в., и которая часть лексики говора отражается в НП. Распределение лексики по предметным группам показывает, что в некоторых группах (органическая и неорганическая природа, сельское хозяйство) лексика НП бедна, народный язык слабо представлен. По религиозным памятникам XVII в. тоже нельзя восстановить нехватящую часть лексики живого языка, хотя словарь Углянского Ключа более многосторонен. Лексика закарпатских литературных памятников XVI—XVII вв. будет значительно дополнена лишь словарем деловой письменности XVII—XVIII вв.

В следующих пунктах мы можем рассмотреть только отношение народной лексики НП к лексике современных говоров, точнее, следует отметить, в чем наблюдается их различие. Однако прежде чем приступить к данному заданию мы должны вкратце говорить о развитии закарпатских говоров.

2.2. Лексика восточнозакарпатских говоров подвергалась значительным изменениям от XVI в. до наших дней, которые по разному отражаются в языке разных районов между Латорицей и Руссковою. Речь идет не только о том, что лексика данной языковой области стала полнее и более дифференцированным, но и о следующем.

В XIV—XV вв. древнерусское ядро закарпатских говоров постепенно пополнялось переселенцами со северной стороны Карпат. Заселение происходило из двух направлений: с севера, из Галиции и с востока, из Молдавии. Так возникли две языковые области, граница которых проходила приблизительно по реке Латорице, об этом свидетельствуют не только данные истории Заселения, но и языковые изоглассы XIV—XV вв. От середины XVI в. до середины XVII в. наблюдается значительное переселение в нескольких этапах. В ходе переселения были заселены Верховина и верховье Тисы. После войн куруцев были опустошены многие села бывших комитатов Берег, Угоча и — в меньшей мере — Мараморош. Верховинцы спустились с гор в эти села, а гуцулы переселились с востока на запад. Ко второй половине XVIII в. языковая область восточного Закарпатья сильно изменилась: на верховье Тисы возник гуцульский говор с *i* (<*o*), который имел известное влияние и на старые мараморошские села, и создался переходный говор. В южной части Маромароша сохранилось *и* (<*o*), а на мараморошской и бережской верховинах укоренилось *i* (<*o*). В комитатах Берег, Угоча и в восточном Маромароше возник говор с *ï* (<*o*)

под влиянием переселенцев XVI—XVII вв., заселившихся в старые закарпатские села⁶.

Няговская Постилла была написана в южном Марамороше во второй половине XVI в. В то время рассмотренное переселение только начиналось и его языковые последствия еще мало или вовсе не отражаются в лексике НП, и она сохранила, в основном, состояние XIV—XV вв., имея в виду, конечно внутреннее, органическое развитие языка. Лексика говора была очень архаической, как и вся система языка, так что ее изучение необходимо и для лучшего познания лексики XIV—XV вв., потому что с того времени не должи до нас украинские литературные памятники, а только грамоты.

В XVII—XVIII вв. влияние языка северо-карпатских и гуцульских переселенцев, говорящих на более развитых говорах, охватывает всю закарпатскую языковую область. Разумеется, где пришельцы численно не преобладали, или их было мало, их влияние было меньше. Все это надо иметь в виду при сравнении лексики НП с лексикой современных говоров.

В XIV—XV вв. восточно-закарпатская область была более единой и с точки зрения лексики, хотя лексические изоглоссы могли наблюдаться и тогда. Влияние из-за границ Закарпатья приходило также с севера и востока, но восточное (молдавское) влияние было значительнее, особенно в Марамороше из-за большой доли населения, переселившегося оттуда. Так как источником восточного языкового влияния XIV—XV вв. были протобуковинские говоры, его диалектная основа отличалась от той, с которой мы имеем дело в XVII—XVIII вв.

Культурные связи с Буковиной и Молдавией тоже были значительно интенсивнее в XIV—XV вв., что отражалось и в письменности восточного Закарпатья, как об этом свидетельствует язык грушевской грамоты. Хотя украинский литературный язык XIV—XV вв. был довольно единым и в Молдавии, и в Галиции, все же некоторые различия наблюдаются в грамотах. Говоря о венгерских заимствованиях НП, мы отметили некоторую общность с лексикой молдавско-буковинских грамот. Польские элементы НП не только не противоречат этому, но их небольшое количество подтверждает наш взгляд. В XVII—XVIII вв. в закарпатских культурных связях все большую и большую роль играет Галиция, а роль Молдавии отходит на задний план.

2.3. Выше, говоря о влиянии истории заселения на развитие закарпатской языковой области, мы считали границы отдельных говоров, определенными фонетическими и грамматическими признаками. Теперь рассмотрим, как можно делить данную область при помощи лексических изоглосс.

В замечаниях об истории заселения установлено, что от второй половины XVI в. до XVIII в. диалектная карта Закарпатья существенно изменилась вследствие заселения Верховины и гуцульского края и, в связи с этим, возникновением двух говоров. Это отражается и в лексических изоглоссах современных говоров. Лингвистический атлас И. А. Дзэндзелевского (Й. О. Дзэндзелівський, Лігвістичний атлас українських говорів Закарпатської області УРСР. Ужгород, I. 1958, II. 1960) содержит обобщающие карты, которые представляют изо-

⁶ Об истории заселения и формирования закарпатских говоров см. Л. Дуже, Очерки по истории закарпатских говоров. Будапешт, 1967, 21—116.

гlossы, проходящие параллельно и выделяющие определенные диалектные районы. На картах № 1 и № 12 гуцульский говор отделяет 38 изоглосс, а гуцульский с переходным к гуцульскому говором выделяется 11 изоглассами (карта № 11). Гуцульский говор имеет определенные черты, общие с верховинскими говорами, что обусловлено их незакарпатским происхождением. На это указывают 19 изогласс карт № 8 и № 20. Учитывая все эти изоглоссы, гуцульский говор отделяется от среднезакарпатских говоров, в том числе и от мараморошских, 57 изоглассами. При том число таких изоглоссов можно было бы еще увеличить данными других карт (напр. карты № 11).

Верховинская диалектная область отделяется от среднезакарпатской меньше, но наблюдается 25 специфических верховинских изогласс (карты № № 7, 18, 19), и 19 изоглоссов, общих с гуцульским (карты № № 8, 20), а Верховину соединяет с близкими ей районами 8 изогласс, т. е. всего наблюдается 52, не считая данных остальных карт.

В кратком очерке заселения отмечено, что гуцулы доходили и до сел на западе от Тересвы. Вследствие заселения и постоянного общения создалась определенная специальная мараморошская лексика. Только при помощи тщательного исторического анализа можно было бы установить его пласты. Необходимо считаться по крайней мере (1) с древней восточнозакарпатской лексикой, которая была общей с лексикой говоров на востоке от Карпат, (2) с новым гуцульским влиянием. На Реке проходят 26 изогласс (карты № № 2, 14), к которым еще можно причислить и явления, распространенные до Боржавы, 7 изогласс (карта № 3), встречается всего 33 изогласс, характерных для Марамороша.

Дальше на запад, существенной границей является река Латорица, по которой проходят 22 изоглассы (карты № № 4, 15). Только подробный исторический анализ мог бы установить, которые из них являются древними (XIV—XV вв.,) и по каким причинам возникли остальные.

С границей бывших комитатов Берег и Унг совпадает 25 изогласс (карты № № 5, 16), а остальные 23 проходят в западной части старой Ужанщины, показывая область влияния т. н. лемковских говоров.

Выше мы видели, как образовались закарпатские говоры, какие диалектные районы выделяются лексическими изоглассами, проходящими более-менее параллельно с фонетическими и грамматическими. В результате анализа выяснилось, что южномараморошский говор, явившийся диалектной основой НП, относится сегодня к среднезакарпатской диалектной области, которая архаична, хотя южномараморошский говор отделяется от остальной части южного Закарпатья рядом изоглоссов. Итак, нельзя ожидать, чтобы между лексикой XVI в. и XX в. наблюдались бы значительные диалектные различия.

И действительно, если рассмотрим те 36 слов НП, которые встречаются в атласе И. А. Дзенделевского, как релевантные с точки зрения диалектологии, то мы видим, что большинство их и сегодня характерно для южного Марамороша, но не раз они употребляются параллельно со словами, неизвестными НП, хотя последние могли быть и в XVI в. только не попали в наш памятник.

В современных говорах слово *доу'нка* (НП: *донька*) распространено до Латорицы, а на западе от Латорицы употребляется *д'івка* (НП: *дівка*), в НП оба слова засвидетельствованы в том же значении. Сегодня *невіста* (НП: *невіста*)

'жена сына' наблюдается только на западе от Латорицы, на востоке вместо него находим *не^нвістка*, *не^нвіска*, хотя в НП употребляется *невіста*. Речь может идти и о влиянии церковнославянского, но может быть, что *невіста*, как и *дівка* было вытеснено.

Глагол *иждати* 'ждать' характерен и для современного говора, но между Теремной и Рекой наряду с ним имеется и *чекати*, которое неизвестно НП. Последнее распространилось в результате позднейшего заселения.

В НП засвидетельствован глагол *погрібати* 'похоронить', который встречается и сегодня, но другой глагол *погромадити* (*погроможовати*) с тем же значением уже исчез из современного мараморошского говора. Однако по свидетельству атласа в южном Марамороше рядом с *по^нгрібати* употребляется и более обычное *прятти*, которое часто встречается в НП, но с другим значением, из которого современное значение легко объясняется.

Интересно отметить, что в НП, как и в современных говорах, наблюдаются два слова: *дідний* и *убогий* со значением 'бедный'.

Существительное *квас* со значением 'закваска' встречается лишь на Ужанщине, на востоке вместо него употребляется *причина*. В НП с таким значением засвидетельствовано *квась*, что может объясняться влиянием церковнославянского, но данное слово могло потерять значение 'закваска' (его другое значение 'минеральная вода').

В НП часто встречаем местоимение *увесь*, которое живет и сегодня в Марамороше, в НП реже находим местоимение *вшитокъ*, которое распространено сегодня на западе от Реки. Последнее могло иметься в западном Марамороше и в XVI в. и поэтому было знакомо автору, хотя он мог его знать и из современного ему украинского литературного языка. Можно предположить, что слово *вшитокъ* было занесено переселенцами с той стороны Карпат.

В другом случае мы видим, что автор вовсе не пользовался словом *глядати*, распространенным сегодня на западе от Реки, а только глаголом *искати*, который присущ и современному мараморошскому говору.

2.4. В процессе развития говора лексика изменяется, развивается. Об изменении слов, релевантных с точки зрения диалектологии, говорилось выше. Однако они составляют сравнительно небольшую часть словаря. Мы должны сделать несколько замечаний о развитии остальной части лексики.

Следует отметить, что развитие лексики южномараморошского говора можно было бы достоверно показать, если мы располагали бы полным словарем как XVI в., так и XX в. Но этого условия нет и наши замечания могут вскрыть лишь некоторые отношения словаря НП к лексике современных говоров на основе их сравнения.

Выше отмечено, что преобладающая часть слов НП дошла до наших дней, а их меньшая часть исчезла. Главное внимание будет обращено как раз на эту последнюю.

Вначале рассмотрим те большие или меньшие гнезда слов, которые еще засвидетельствованы в НП, но сегодня уже исчезли. Из них наиболее крупным является гнездо *сором-* (*засороміті*, *посоромити ся*, *посоромотити*, *посоромити*, *посороміти ся*, *соромити*, *соромтити*, *соромь*, *сороміти ся*), но сегодня уже все гнездо исчезло, на его место вступили слова гнезда *ганб-*, занесенного,

вероятно, из северной стороны Карпат, ибо оно неизвестно НП. Наверно к народному языку относилось и гнездо *уг-* (*угати, ужа, ужати, уживый*). А гнезда *карт-* (*картати, картань, покартати*) и *корт-* (*кортати, картань, покортати*) тоже были присущи живому языку, по крайней мере одно из них.

Глагол *мовити* часто встречается в НП, засвидетельствованы и *обмова, обмовляти*, но все они неизвестны современным говорам. Автор мог знать их из литературного языка того времени, и, вероятно, этим и объясняется их употребление.

В НП находим такие гнезда слов и отдельные слова, которые могут происходить из церковнославянского, но они могли иметься и в народном языке XVI в., такие, например: *лестити, лестити ся*, а слова с префиксом *пре-* (напр. *прелесть*) относятся к церковнославянским заимствованиям, а формы с *пере-* являются их переделками по фонетике закарпатского говора.

Глаголы *слышати, услышати* еще могли жить в народном языке XVI в., и не обязательно книжные слова, как и *мстити, пумста*, так как речь идет об общеславянских корнях. Глагол *смотріти* и другие члены того же гнезда: *посмотріти, присмотріти, присмотровати*, тоже могут происходить из живого языка, потому что в западных говорах встречаются и сегодня.

Восточнославянский фонетический облик свидетельствует о том, что следующие слова относились к народному языку в XVI в., хотя сегодня их больше нет: *оборона, обороняти*, или *оболочи, оболочи ся, розволокати*, а другие слова сегодня уже исчезли, но сохранились еще иные слова того же гнезда, напр. *сторона, сторонный, ворожство*. Интересно еще отметить, что часть слов гнезд *зв-* дошла до наших дней: *звати, звати ся, званя, назвати, называти, называти ся*, со значением 'называть' и подобными, а слова со значением 'призывать' *ззвати, позвати, призвати, призывати*, были вытеснены глаголами с корнем *клик-* (*кликати* и др.).

2.5. Из-за отсутствия данных нельзя следить за развитием многих слов, требующих специального анализа. Историческими изменениями обусловлено исчезновение таких слов, как: *воевода, динарь, ключарство*. Венгерское заимствование *герег* вытеснило слова *грекъ, гречинь*, а *вуйнянинь* заменено венгерским *катуна* и славянским *вояк*. Однако у большинства слов не находим таких очевидных мотивов, и причину их исчезновения трудно найти в сложной взаимосвязи лексического строя. Скорее следует рассмотреть, как относятся исчезнувшие слова к наиболее близким членам того же гнезда, еще сохраняющимся в современных говорах. Данный вопрос лучше всего поддается анализу при помощи словообразовательных средств⁷.

Часто наблюдается наличие таких существительных в НП, которые сегодня уже не встречаются. Чаще всего они имеют отвлеченное значение, и можно предположить, что часть их не употреблялась в народном языке, а только автор образовал их от соответствующего глагола или прилагательного народного языка. Таким суффиксом является *-ань*, который сегодня уже исчез: *бантовань, двигань, картань, кортань, кощовань, окаровань*, а из продуктивных суф-

⁷ О словообразовании НП см. Л. Дэже. Статистическое исследование словообразования в языковых памятниках. Acta Linguistica Hungarica 16. 43—62.

фиксов надо отметить *-усть*, служащее для образования отвлеченных существительных от прилагательных: *голусть, дурнусть, мирнусть, почтивусть, ярусть, премудрусть, чистусть, -от-а: лихота, нагота; и -ств-о: слуцьтво*. В данной группе существительных редко наблюдаются такие, которые образованы от конкретного существительного (*урядництво*), но часто находим отлагольные существительные с разными мало продуктивными суффиксами *-в-а: иства, питва, убитва, -л-я: купля, торгувля; -жь: платіжь*. Суффикс *-н-я* характерен для книжного языка, но в народном языке тоже употребляются слова, образованные от него, кроме того автор сам мог образовать такие слова, не различающиеся фонетически от народных, напр.: *познаня, покладіня, загадованя*. Среди исчезнувших слов встречается несколько существительных со значением лица, напр., *сліпець*, которое может быть и книжным, *загадованець* образованное вероятно автором, как и существительные с живым суффиксом *-ельникъ: мучительникъ, сіятельникъ, просільникъ, продательникъ*. Среди них наблюдается и несколько прилагательных, бывших действительных причастий прошедшего времени: *погиблый, умерлый, упалый*. Есть и такие прилагательные, которые не сообразились, хотя существительное служащее основой для их образования, еще имеется: *витяжный, піняжный, пожиточный*.

Потенциальным словообразовательным средством имен является сложение с частицей *не-*. В НП находим такие имена с *не-*, главным образом, существительные, которые не встречаются без *не-* в восточнозакарпатских говорах, напр.: *негаданя, незнання, неготовый, недовжний, недостойный, недужий, немучный, неподобный*. Хотя такой способ образования продуктивен в говорах, напр.: *неправда, нечистота, нерозумный, непослушный, нечистый, неудачно*, в отличие от форм с *без-*, происходящее из книжного языка: *безаконіе, безгрішення, безконечный, безумный*. В современных говорах данный префикс непродуктивный, и существительное *бездна* перешло в язык народа из церковного языка. (Любезное сообщение Э. Балецкого.)

Некоторые числительные засвидетельствованы в архаической форме, которая уже исчезла: *однонадесятъ, двенадесятъ, вусімнадесятъ*, а вместо *чотырідесятъ* употребляется сегодня *сорокъ*, имевшийся уже в XVI в.

Несохранившиеся наречия образованы непродуктивными суффиксами: *булма, найбулма, попросту, посуху*.

Рассматривая глаголы, мы находим, что их большинство составляют такие, корень которых известен и сегодня, но не наблюдается с данным префиксом, хотя сама приставка продуктивна и сочетается с другими глаголами. Многие из них вероятно следует считать образованием самого автора, хотя они могли быть и в живом языке (ни одну из возможностей нельзя исключить), вот несколько примеров с префиксами *вы-*: *выжурити; вид-*: *видгнівати, видкрити, видкрити ся, видплатити ся, видпустити ся; на-*: *наловити, намолити, натокмити; о-*: *оглумити, окарати, окремити, оповідати, опочити, освятити, осоковати ся, отерхати; по-*: *поверечи, погласити, поздоровіти, пополнити, попочивати, потаити ся, почутити; при-*: *привидіти, примучити, притерпіти; у-*: *уверечи, упадати*.

Некоторые глаголы засвидетельствованы со старыми итеративными суффиксами, которые сегодня уже не употребительны: напр, *чинювати*. К другим

присоединяется частица *ся*, хотя сегодня они употребляются лишь без нее: *утікати ся, уздріти ся, узнати ся*.

Довольно значительно число уже исчезших местоимений и служебных слов, вот местоимения и местоименные наречия: *кто годі, як годі, иный, инуда, увезды, усюгды*; предлоги: *мимо, опередь, про, пулзя, умісто, умість*; союзы: *ать, али, ино, хотяй, хотянь*.

Выше не отмечены заимствованные слова, значительная часть которых тоже исчезла, хотя в XVIв. они еще могли жить в народном языке. Большинство их происходит из венгерского: *бировань, будушловати, бізовань, выдвалтоват, гарць, гаталомь, годножь, добъзентовати, забъзентовати, кедвезовати, керешкедовати, ломпашь, наелень, німоровшагь, пересалашловати, пилда, синте, тамадовати ся, урюкашь, урюкъ, хытляньство, хытляный, шпань* и др. Сегодня уже нельзя определить территориальное распространение этих слов и их принадлежность к лексике разных слоев общества. Среди заимствований могли быть и такие, которые были известны только более образованным людям.

Значительная часть полонизмов, не встречающихся в современных говорах, относилась к книжном словам, но среди них могли быть и слова живого языка, но последние трудно выделить, такими могли быть: *покармь, помуць, цемрашь, цемрований, ялмужна, мурь*.

Местоимения, образованные румынской частицей *варе*: *варе де, котрый, кто, кулко, чій, што, якь*, относились к народному языку, хотя сегодня они уже исчезли.

Расщепление одного слова в древневенгерском языке и славянские параллели

Л. КИШ

Одно из семейств прямокрылых образуют прыгающие, а именно кузнечики (Locustidae). По систематике они родственны саранчевым (Acrididae) и сверчкам (Achetidae).

У кузнечиков — как и у всех прыгающих — третья пара ног всегда длиннее, чем две другие, потому что в утолщенных ляжках у них находятся сильные мышцы для прыгания. Они способствуют тому, чтобы кузнечики могли убежать от своих врагов быстрыми прыжками.

Существительное *szöcske* засвидетельствовано как различительное имя с 1366 года (Stephanus dictus *Zukche*: OklSz.*), а как нарицательное существительное — со второй половины XVI века: ок. 1560: «Brucus: chere bogar, *sechkō*» (Gyöngy Szt. 3299.); 1566: *szekczéröl, szektső* (Helt: Mes. 216: NySz.); 1590: «Brucus: *Szöczkő*» (SzikszF. 71). Этимология этого слова уже выяснена: оно является причастием настоящего времени производного с суффиксом многократности *szökös* (ср. *futos, folyos, repes* и т. д.) от глагола турецкого происхождения

*Сокращения названий источников согласно сокращениям, принятым в этимологическом словаре венгерского языка: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerkesztő Benkő Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest. Т. I — 1967, 43—83; т. II — 1970, I—VIII. Далее: Български Диалектология. Проучвания и материали. I — София, 1962.

Български Речник. = Андрейчин, Л. — Георгиев, Л. — Илчев, Ст. — Костов, Н. — Леков, Ив. — Стойков, Ст. — Тодоров, Цв.: Български тълковен речник. Второ издание. София, 1963. Dickenmann, Stud. = Dickenmann, Ernst: Studien zur Hydronymie des Save Systems. I—II. Heidelberg, 1966.

DizEncIt. = Dizionario enciclopedico italiano. I—XII. Roma, 1955—1961.

Jurkowski, UTH. = Jurkowski, Marian: Ukraińska terminologia hydrograficzna. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1971.

Ortvay, Vízr. = Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végeig. I—II. Budapest, 1882.

Reczek = Reczek, Stefan: Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968.

Skok, EtRj. = Skok, Petar: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I—IV. Zagreb, 1971—1974.

WbRussGn. = Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Zusammengestellt ... unter Leitung von Max Vasmer. I—V. Berlin-Wiesbaden, 1961—1969.

szökik 'прыгает' (см. Kniezsa, SzJsz. 954); т. е. собственное его значение — это 'прыгающий'. Из первоначальных форм **szököső*~**szököse* получилось современное *szöcske* путем выпадения гласного из второго открытого слога, аффрикации суффикса -s (ср. *furcsa, hágcsó, lépcső* и т. п.), и метатезы *kcs* > *csk*.

И во многих других языках кузнечик, сверчок и саранча обозначаются словами, указывающими на бросающееся в глаза свойство этих насекомых, а именно прыгание. Наиболее убедительным из возможных этимологических объяснений латинского *locusta* нам кажется то, которое толкует его как 'прыгающий' (см. Walde—Hofmann, LatEtWb.³ I, 818). Французское *sauterelle* 'саранча', 'кузнечик' является производным глагола *sauter* 'прыгать' (< латинское *saltare* 'танцевать' ← 'прыгать'). Ср. еще иснанское *salton* 'кузнечик' [собственно 'прыгающий'] (Larousse Sp. III, 307), американское испанское *saltona* 'саранча' [собственно 'прыгающий'] (там же). Первоначальное значение голландского *sprinkhaan* 'саранча, кузнечик' (de Vries, NedEtWb. 686) это не что иное, как 'прыгающий петух'. К объяснению немецкого *Heuschrecke* 'кузнечик', 'сверчок', 'саранча' [собственно 'прыгающий в сене'], диалектного *Heuhüpfer* 'то же' [собственно 'прыгающий в сене'], *Heuspringer* 'то же' [собственно 'прыгающий в сене'], *Grashüpfer* 'то же' [собственно 'прыгающий в траве'], *Springhahn* 'то же' [собственно 'прыгающий петух'] см. Kluge, EtWb.¹⁷ 306. Шведское *gräs-hoppa* 'то же' имеет значение 'прыгающий в траве' (Hellquist, SvEtOb³ I, 307). См. еще английское *grasshopper* 'то же' [собственно 'прыгающий в траве'] (Partridge, Or. 265).

Много примеров можно привести также из славянских языков. Ср.: старославянское *progъ* 'кузнечик' [собственно 'прыгающий'] (SadAitz. 110); болгарское *скакалец* 'кузнечик, саранча' [собственно 'прыгающий'] (ВКЕ. III, 206); македонское *скакал, скакалец, скакулец* 'то же' (собственно 'прыгающий') (RMJ. III, 205), *скачка* 'кузнечик; саранча' [собственно 'прыгающий'] (RMJ. III, 208); сербохорватское *skakavac* 'кузнечик; саранча' [собственно 'прыгающий'] (Дауге-Deanović-Maixner² 686), диалектное *skâčak* 'кузнечик' [собственно 'прыгающий'] (Skok, EtRj. III, 263) словенское *skoček* 'кузнечик; саранча' [собственно 'прыгающий'] (SPrav. 788; см. еще Pleteršnik II, 491); словацкое *skočka* 'кузнечик' [собственно 'прыгающий'] (Jancs. I, 384 *Szöcske* a.; Kálal 609; Hvozdzič I, 1192); польское устарелое *skoczka* 'кузнечик' [собственно 'прыгающий'] (Reczek 448), кашубское *skočk* 'сверчок' [собственно 'прыгающий'] (Sychta V, 53); белорусское *прус* 'саранча' [собственно 'прыгающий'], его морфологическое объяснение — древнерусский именительный падеж множественного числа *прузи* (BRSl., 737); украинское *прус, прусик* 'то же' (URSl. IV, 541), диалектное *скаку́н* 'кузнечик, саранча' [собственно 'прыгающий'] (Kuzela-Rudnyčkyj, UkrDtWb. 1109); русское *прус* 'саранча' (SRLRJ. XI, 1575; Vasmer. RussEtWb. II, 450), древнерусское *прузь* 'то же' (Sreznevskij II, 1612), диалектное *скачок* 'кузнечик, кобылка' (Dal'² 1955. IV. 191), *скачок, скóчень, скóчка* 'стрекоза, не кузнечик ли?' (там же), *скакуно́к, скакуно́чек, скаку́нчик* 'кузнечик, саранча' (Pawl.² II, 1476). — Албанское *karkaléc* 'кузнечик, саранча' является заимствованием из южнославянского (см.: Miklosich, EtWb. 301; Skok, EtRj. III, 263.)

Вернувшись к венгерскому названию насекомого *szöcske*, с одной стороны, нам надо принять во внимание то, что обозначение кузнечиков и саранчевых

словом в значении 'прыгающий' чрезвычайно частое явление, хотя его нельзя назвать ономазиологической универсалией (обратные примеры: чешское *kobylka* 'кузнечик' ← 'кобылка', *koníček* 'кузнечик' ← 'конек, лошадка'; русское *кузнёц* 'кузнечик, сверчок' ← 'кузнец', *кобылка* 'саранча' ← 'кобылка'; Кашу. *sarŕyča* 'саранча' <: *sarŕy* 'желтый'; и т. п.), а, с другой стороны, нужно также учитывать большое количество названий животных славянского происхождения в словарном составе венгерского языка, ср. *bolha, csuka, galamb, gerlice, giliszta, kukac, medve, pióca, poloska, pondró, rák, veréb, vidra* и т. п. Если в данной понятийной категории так много заимствований, надо считаться и с словообразовательным или семантическим калькированием, созданным по славянскому образцу. Может быть, *szöcske* тоже зависит от своих славянских эквивалентов вроде *prŕgъ* и *skakavac*.

Названию насекомого *szöcske* этимологически тождественно географическое название *Szekcső*, в котором тоже скрывается причастие настоящего времени производного с суффиксом многократности *-s* глагола *szök*, но в котором метатезы *kcs* > *csk* не происходило. Ср: ок. 1150/XIII—XIV вв.: *Zecuseu* (An. 47). Сегодня *Dunaszekcső* на северо-востоке от города Мохач.—XI—XII вв. 1173—96/112: *Zaksu* (Györffy I, 728). Это местность, находящаяся против современного Дунсаекчё, в бывшем комитате Бодрог, в дальнейшем называлась *Élszekcső*, потом *Felszekcső* (ее локализацию см. на карте «Bodrog vármegye a XIV. század elejéig [Комитат Бодрог до начала XIV века] среди приложений I-го тома работы Дьёрффи). — 1247/1500: *Zwkchu* (Fejér, CD. VI/2, 337; см. еще Szp. KritJ. I, 260, а также Ortway, Vízr. II, 460). Это название реки в горах Чергё (по-словацки: Čerchovské pohorie), вытекающей к юго-западу от Бардейова и впадающей в Тарцу с левой стороны к югу от Прешова. Ее словацкое название — это заимствованное из венгерского *Sekčov*. Около реки когда-то располагалось имение, которое также называлось *Szekcső* (1247/1500: *Zwkchu*: Fejér, CD. VI/2, 377). — 1332—7: *Zeuchew* (Györffy I, 383) — бывшее место с церковным приходом, которое потом называлось *Felsőszekcső* или *Lehőc* в соседстве Херцегсёллеша, Кё и Каранча, значит, на территории так называемого бараньского треугольника (его локализацию см. на карте «Baranya vármegye a XIV. század elejéig» [Бараньский комитат до начала XIV века] среди приложений I-го тома работы Дьёрффи). — 1475: *Zekchw* (Csánki III, 450). Современный поселок *Kaposzekcső* лежит на юг от Домбовара, недалеко от реки Капош, на берегу Ручья, который начинается около Ягонака и впадает в Капош около Домбовара.

Но нам недостаточно знать этимологию географических названий типа *Szekcső*, мы должны раскрыть, чем они мотивируются, как получили река *Szekcső* и много местностей *Szekcső* свое название. (Прежние исследователи — Šmilauer, Vod. 408, 500; Pais: SRH. I, 96; Kniezsa, SzJsz. 954 — не выяснили этого вопроса.)

Прежде всего придется исключить возможность деривации из личного имени. Засвидетельствованное в 1366-ом году различительное название лица *Zukche* нельзя считать предшествующим географическому названию *Szekcső* даже по хронологическим причинам и по изолированности употребления. А доказательством того, что название лица *Zukche* возникло из ранней формы названия насекомого *szöcske*, служит засвидетельствованное с 1362 года

венгерское *Sáska* в различительном употреблении (NytudÉrt. 68, 132), как и обозначающее пресловутую отравительницу эпохи императора Неро латинское личное имя *Locusta* (собственно 'кузнечик, саранча').

В комитате Шарош *Szekcső* обозначает реку, *Dunaszekcső* лежит на Дунае. Бывшие *Élszekcső*~*Felszekcső* в Бодрогском комитате находились также около Дуная, против современного Дунасекчэ. Бывший поселок *Felsőszekcső* располагался поблизости современного Херцегсёлéша, т. е. недалеко от зоны наводнений Дуная; в эпоху династии Арпадов Дунай протекал не по нынешнему руслу, а к западу от него, на месте сегодняшнего Маленького Дуная (см. Gyöffy, I, 299). Поселок *Karosszekcső* расположен на берегу ручья. Можно установить, что все *Szekcső* имеют отношение к рекам.

Мне представляется, что в венгерском языке средневековья существовал географический термин **szekcső* в значении 'быстро протекающая, волнуемая вода, порог, водопад', а также 'брод', и упомянутые выше названия типа *Szekcső* происходят — непосредственно или опосредствованно — от этого географического термина **szekcső* (собственно 'прыгающий'). (Нам нужно считаться и с возможностью перехода названия с одного берега реки на другой). Мое предположение основано на том, что в родстве сравнимых с венгерским *szökske* славянских существительных есть много географических терминов в подобном значении, и некоторые из них стали именами собственными, обозначающими (текущую) воду. Ср.: болгарское диалектное *скок* 'отрезок реки с порогами' (Българск. Реч. 2 837), (Родопе) *скóкут* 'отрезок реки с порогами; водопад' (Българск. Диал. II, 267). Сербохорватское *skókovac*, *skákavac* 'водопад со многими порогами, водоскат' (Schütz, GeogrSkr. 72), диалектное *skákalo* 'брод через реку, где надо прыгать с камня на камень; водопад' (Dickenmann, Stud. II, 108), *skók* 'перепад водяной мельницы, падение ее воды' (Vuk³, 708), *Skákavaц* 'место в Сербии, где есть большой водопад' (Vuk³, 706), *Skóковац* 'водопад ручья Жеравия' (Vuk³, 708), *Skakavac* 'правый приток Великой Устины, впадающей в Купу и место там' (Dickenmann, Stud. II, 107), *Skočinovac Potok* 'левый приток верховья Лонджи' (там же). Словенское *skók* 'быстрина, водопад' (SPrav. 789; Pleteršnik II, 492), *skóčič* 'небольшой водопад' (SPrav. 788), *skočnik* 'водопад; перепад водяной мельницы' (там же), *skakávec* 'водопад (в карстовых пещерах)' (SPrav. 785), *skakávček* 'водопад' (там же), *Skočniki* [множественное число] 'правый приток Савы' (Bezljaj, II, 185). Словацкое (восточный диалект) *skoky* [множественное число] 'быстрина, стремнина' (Kálal 609). Польское *Skok* 'название обрыва' (Dickenmann, Stud. II, 108), *Skoczka* 'название озера' (там же). Украинское (западный диалект) *скік* 'быстрое течение реки' (Jurkowski, УТН. 48), 'водопад' (Jurkowski, УТН. 49), *скокі* [множественное число] 'торчащие из воды камни, стремнина, быстрина' (Hrinčenko IV, 135). Русское диалектное *скок* 'желоб на водяной мельнице' (Dal² 1955. IV, 191), *Скакунка* 'река в речной сети Днепра' (Dickenmann, Stud. II, 108), *Скоковка* 'река в речной сети Днепра' (там же), водопад *Скачек*, гидроним *Скачки* множественное число (WbRussGn. IV, 284), гидроним *Скоково* (ук. соч. 288).

Кроме славянских языков см.: итальянское *salto d'un fiume* 'водопад' (собственно 'скачок реки'), *Rio Salto* 'правый приток реки Ламоне' (DizEncIt.

X, 740); испанское *salto de agua* 'водопад' (собственно 'скачок воды'), *Salto Grande* 'водопад реки Уругуай' (Brockhaus¹⁷ XVI, 388); португальское *salto* 'водопад, водоскат'.

Подводя итоги своим наблюдениям, я хотел бы отметить, что, по моему мнению, причастие настоящего времени производного с суффиксом *-s* от глагола *szökik* расщепилось в древневенгерском языке таким образом, что к звуковой форме *szöcske* присоединилось понятие семейства насекомых, а к **szecskő* — не поддающееся точному определению гидрографическое понятие вроде 'быстрина, место с водопадом', или, в других местах, 'брод'. От гидронимического названия **szecskő* происходит немало географических имен собственных, связанных с реками, а название насекомого *szöcske* стало даже личным именем.

Как в случае *szöcske*, так и в случае **szecskő* надо учесть возможность славянского семантического влияния.

**Некоторые количественные показатели
венгерских и русских текстов на уровне фонем**

Ф. ПАПП

За последние годы нами были обработаны на ЭВМ полное собрание сочинений одного венгерского поэта XVI-го века (Б. Балашши 1554—1594), полное собрание стихов некоторых венгерских поэтов XX-го века, а также некоторые другие венгерские тексты общим объемом в несколько миллионов фонем; в целях сопоставления был привлечен также небольшой по объему русский текст и его венгерский перевод¹. Венгерские тексты были зафиксированы в обычной орфографической форме и фонемные соответствия были установлены автоматически; русский текст был зафиксирован в грубой фонологической транскрипции. («Грубая» транскрипция в данном случае означает несколько упрощенную московскую концепцию: безударные гласные «проверяются» по ударному положению; на месте архифонем принимается фонема, обозначаемая орфографией, и т. д.) Обработка материалов проводится и на уровне словоупотреблений (составляются конкордансы), планируется также обработка на граммати-

Табл. 1

Название текста (автор)	Процент Г (100= все фонемы данного текста)	Сравнительные данные (100= процент в переводе Тургенева)
Э. Ади (1877—1919): ПС стихов	40,82	97,68
А. Йожеф (1905—1937): ПС стихов	41,13	98,42
Ш. Петефи (1823—1849): Выборка	41,55	99,43
И. С. Тургенев: Венг. перевод	41,79	100,00
И. С. Тургенев: Выборка (оригинал)	42,19	100,96
Э. Ади: Проза (выборка)	42,21	101,01
Венг. технич. лит.	43,71	104,59

¹ Из «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева: «Деревня», «Разговор», «Старуха», «Соперник», «Конец света», «Восточная легенда». Венгерский перевод: Szóllósi Klára.

ческом уровне. В настоящем сообщении публикуются из этого материала некоторые данные фонемного уровня, такие глобальные или «грубые», где упомянутое упрощенное понимание русских фонем не мешает.

1. Пропорция гласных (Г) к согласным (С). По этому вопросу, собственно говоря, все рассказано цифровыми данными, собранными в табл. № 1. Ограничимся некоторыми комментариями.

Результат, полученный нами на небольшой выборке из прозы Тургенева (42,19% всех фонем — гласные) весьма хорошо согласуется с данными, полученными раньше относительно русского языка в итоге подсчета вручную: процент гласных в русском литературном языке 40,4%, в живой разговорной речи — 42,35%², поэтому мы и считали излишней обработку более объемистого русского материала.

По данным табл. № 1 очевидно, что несмотря на значительные типологические, генеалогические и т. д. расхождения между сопоставляемыми двумя языками, относительное процентное соотношение гласных ко всем фонемам в текстах нет между ними расхождения. Так, допустим, с исследуемой точки зрения Ади и Йожеф более далеки друг от друга, чем русский текст Тургенева и венгерский текст (проза) Ади. На первый взгляд очень убедительной и о чем-то говорящей может показаться чрезвычайная близость оригинала Тургенева и его венгерского перевода, но это говорит лишь о том, что нет расхождения между русскими и венгерскими текстами в этом отношении. (Ведь расхождение между оригиналом и его венгерским переводом опять больше, чем между оригиналом — русским текстом — и прозой Ади, см. второй столбец: если процентное соотношение гласных ко всем фонемам в переводе взять за 100, то это соотношение в оригинале 100,96, а в прозе Ади почти столько же: 101,01; к этому можно добавить, что выборка из прозы Ади значительного объема, примерно в полмиллиона фонем.) Оригинал и перевод оказались рядом только потому, что наша таблица мала, если добавить еще, допустим, результат по венгерской разговорной речи (42,07 или 42,08% Г³), он бы оказался между оригиналом и переводом.

Скорее можно думать о том, что в данном отношении есть разница внутри самого венгерского языка между текстами разных жанров⁴. На самом деле все наши результаты, полученные до сих пор, говорят как будто о том, что, грубо говоря, «чем прозаичнее текст, тем больше в нем пропорция гласных». Так, в обследованных венгерских поэтических текстах XVI-го—XX вв. доля Г 40,70—41,85%, в художественной прозе XX-го века (Ади) 42,21%, в технической литературе (по объемистым выборкам) 43,30—44,58%. Если кто до сих пор связы-

² Результаты В. А. Богородицкого и А. М. Пешковского соотв. цитирую по следующей работе: Л. А. Булаховский. *Курс русского литературного языка*. Т. I. Изд-е 5-е. Киев, 1952. Стр. 28.

³ Ср.: Szende Aladár, Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói [Частотные показатели спонтанного речевого материала]. стр. 29, 59.

⁴ Сама идея того, что разные стили могут различаться и по нагрузке фонем, групп фонем и т. п., не нова; в связи с этим ср. напр.: Статистичні параметри стилів. Отв. ред. В. С. Перебийнос, Киев, 1967 — Раздел II.

вал мелодичность, эстетическую ценность с высокой пропорцией гласных, тот должен учесть, что по крайней мере венгерские стихи строятся в большей мере на согласных, чем художественная проза или нехудожественный текст. Если, далее, кто-то считал, зная историю финно-угорских и славянских языков, что в первых выше пропорция гласных, тот должен внести соответствующий корректив по отношению к венгерскому языку. (При этом о распределении согласных в слоге ничего не сказано. Начальные сочетания согласных в венгерском совершенно невозможны, доминируют, очевидно, слоги типа СГС(С); этот вопрос нами еще не рассмотрен.)

Небезынтересно, наконец, бросить беглый взгляд на соотношение между структурой слога и слова в разных венгерских жанрах. К данным, помещенным в табл. № 1, добавим общеизвестный факт относительно длины словоупотреблений: в поэзии больше кратких словоупотреблений, чем в прозе; в современной технической, политической и т. п. литературе средняя длина словоупотреблений еще выше. Этот факт очевидный, он подтверждался и нашими измерениями, конкретные данные приводить излишне. Переформируем, далее, результаты табл. № 1 так: где пропорция гласных выше, там слог проще, ведь на один гласный приходится меньше согласных, и наоборот: где пропорция гласных ниже, там слог сложнее, ведь на один гласный слога приходится больше согласных. Так, в наших поэтических текстах на один Г приходится 1,39—1,46 С, в прозе Ади — 1,37, а в обследованных технических текстах всего 1,24 — 1,31. Если этот результат связать с фактом о длине словоупотреблений, то оказывается — чем длиннее (сложнее) венгерское слово, тем из более простых (коротких) элементов (слогов) оно построено, и наоборот.

2. Пропорция кратких гласных к долгим. В венгерском языке долгота и краткость гласных (как в общем и согласных — но в последнее время относительно последних возникла новая теория) имеет фонологическое значение. В русской системе мы противопоставляли этому ударность — безударность гласных: «подударные» — эквиваленты венгерских долгих, «безударные» — венгерских кратких гласных. Опираясь, с одной стороны, на традиционные и новые исследования относительно абсолютной длины русских и венгерских гласных⁵, и, с другой стороны, на наши результаты относительно частоты употребления долгих (соотв. подударных) и кратких (безударных) гласных, мы пришли к выводу о том, что абсолютное время звучания гласных в венгерских текстах примерно вдвое больше времени звучания гласных в русских текстах. Этот результат получен так, что брались средние длины венгерских долгих Г (280 мсек) и русских подударных (118 мсек); венгерских кратких (146 мсек) и русских безударных (54—76 мсек) «вообще», без учета удельной длины каждой гласной (что можно было бы сделать, опираясь на наши количественные данные); без учета предупредного, заударного и т. д. положений русских гласных в закрытых, открытых и т. д. слогах (к чему и недостаточны наши данные в настоящий мо-

⁵ Ср.: К. Болла. Фонетика — фонология (раздел в книге: К. Болла—Э. Палл—Ф. Папп. Курс современного русского языка. Будапешт, 1968, особ.: стр. 56); венгерские данные см.: Kassai Ilona, Adalékok a magyar magánhangzók időtartamához [Данные относительно длительности венгерских гласных]. Nyelvtudományi Közlemények LXXIII, 171—190 (1971).

мент обработки). Однако мы считали, что такое огрубление допустимо: ведь сами исходные данные относительно абсолютной длины гласных довольно шатки.

Стало быть, если у кого при вслушивании просто в русскую и в венгерскую речь создается впечатление, согласно которому венгерская речь «более вокальна», это впечатление вполне оправдано: русские и венгерские гласные появляются, правда, почти с одинаковой частотой, но зато венгерские занимают примерно вдвое больше времени звучания.

«Консонантного» в указанном смысле характера венгерской поэтической речи нельзя «спасти» пропорцией долгих гласных, если «спасение» есть «вокальность». Дело в том, что тогда как в технической литературе процент долгих гласных (100=все гласные) колеблется около 28,77%, в прозе Ади это — 22,52%; в обследованных поэтических текстах эта пропорция колеблется между 22,98 (А. Йожеф) и 27,30% (Ф. Юхас). Стало быть, венгерские поэтические тексты не только более консонантные, но среди гласных меньше долгих (Ф. Юхас занимает особое положение и в этом отношении, более типичным можно считать результат А. Йожефа). Посторонний наблюдатель, вслушиваясь в венгерские тексты различных жанров, мог бы определить поэтические тексты как такие, где и чаще встречаются согласные, и короче звучат гласные (в том смысле, что среди них меньше долгих, чем в нехудожественных текстах; кстати говоря, расхождения внутри венгерского языка в этом отношении, как видно, очень небольшие, так что таким чутким «посторонним наблюдателем» вряд ли может быть человек).

На этом основании связь между структурой слога и структурой (длиной) слова можно уточнить следующим образом. Более простой слог (в более длинном слове) научного-технического стиля не обязательно короче более сложного слога в поэтической речи; в более простых слогах научного стиля сравнительно больше долгих гласных.

И еще один факт этого как бы стремления к уравновешенности противоположных факторов, в своей основе лежащий уже за пределами наших настоящих исследований. Оказывается, более бедная в гласном звучании русская речь как бы компенсирует себя (по крайней мере, в ее сопоставлении с венгерской речью) в области макроструктуры: в области интонации. Есть ряд вещей, легко выражаемых русской интонацией и передаваемых в венгерском языке иными средствами (например, порядком слов)⁶, тогда как обратных примеров нам неизвестно. Еще дальше увлек бы нас от поставленной цели учет мелодики артистической речи, общий пафос русского чтения текстов, чему противопоставляется весьма жесткий, холодный, отчужденный стиль говорения венгерских артистов, дикторов и т. п.

3. Пропорция палатальных гласных к велярным. Этот вопрос в такой форме имеет смысл, естественно, только для венгерского языка, в котором господствует т. н. гармония гласных, заключающаяся, говоря весьма упрощенно, в том, что а) в корне могут быть либо только велярные, либо толь-

⁶ Ср. К. Болла, ук. раб., а также: М. Петер. Мелодика вопросительного предложения в русском языке. *Studia Slavica I*, 245—259 (1955).

ко палатальные гласные и б) у постфиксов (прилеп, окончаний, суффиксов), содержащих в себе гласный элемент, должны быть по два варианта: вариант с велярным гласным сочетается с велярной основой, палатальный — с палатальной. Однако мы поставили этот бессмысленный для русского языка вопрос и русскому языку, желая узнать: как проявляется гармония гласных в распределении гласных.

В попытку ответить на поставленный таким образом вопрос придется вовлечь еще дальнейшие языки, в которых есть гармония гласных и языки, в которых этой тенденции нет. А пока на основе исследованных двух языков мы можем сказать, что тогда как венгерские тексты характеризуются очень ровным распределением палатальных и велярных гласных (стало быть, около половины всех гласных — палатальные, соотв. велярные, см. табл. № 2), в русских текстах преобладают велярные гласные (у нас они составляли около 63% всех гласных). Можно подумать о том, что когда обе части представлены пропорцией по 50% в текстах — это говорит об устойчивости, о прочности этой тенденции, тогда как в таком языке, как русский, без этой тенденции, совершенно безразлично, что именно превалирует.

4. Этимологические-исторические комментарии

К. п. 1: Количественные соотношения в каком-нибудь списке слов (словаре) сильно отличаются от количественной структуры текста. Все же, небесполезно бросить беглый взгляд на то, каков процент гласных в разных этимологических пластах венгерского словаря (лексемы берутся в исходной форме и в их современной венгерской огласовке)⁷. Если взять все лексемы каждого этимологического пласта и все фонемы, обнаруженные в них, взять за 100, то процент Г: в пласте латинских и греческих лексем 41,7, славянских 41,0, тюркских 40,2, финно-угорских 40,0, неолатинских 39,9, немецких 37,1 и т. д. Т. е. пласт латинских и греческих лексем наиболее богат гласными — это соотносимо с фактом, согласно которому научно-технические тексты более богаты гласными. Далее: пласт славянских заимствований в своей современной венгерской форме содержит в себе несколько более высокую пропорцию гласных, чем пласт финно-угорских лексем — на этом основании по крайней мере не должно быть невероятным, что современный русский текст содержал столько же (или даже несколько больше) гласных, сколько было в венгерском тексте. За последние сорок лет пропорция гласных в венгерских текстах не менялась: у Балаши (полное собрание сочинений: примерно 300 тыс. фонем) 40,76% Г, что весьма близко к Ади. (Ср. с данными табл. № 1; это опять только так кажется, что Балаши оказался бы «во главе» этого списка, что было бы равносильно тому, что у него все же эта пропорция наиболее низкая. На самом деле, при более полном списке были бы и поэты XX-го века с более низкой пропорцией Г; таков, например, Л. Сабо [1900—1957] в своих художественных переводах.)

К. п. 2. Среди гласных каждого из этимологических пластов на долю долгих гласных приходится: в тюркском пласте 35%, в немецком 33, в финно-угорском

⁷ Более подробно (откуда заимствованы и приводимые здесь данные) см. Papp F., Töszókinszűnk etimológiai rétegenkénti hangstatisztikája [Звуковая статистика разных этимологических пластов слов венгерского языка]. Nyelvtudományi Közlemények. LXXV, 3—40 (1973).

31, в неолатинском 26, в латинском и греческом 22, в славянском — 19%. И эти данные по крайней мере не противоречат синхронным. За последние четыреста лет и в этой области как будто не происходили никакие существенные изменения: у Балашши 23% гласных приходится на долю долгих.

К п. 3. Оказывается, в ходе истории венгерского языка все возрастало количество лексем с преобладающим велярным составом гласных. Для языков-передатчиков это могло быть простой случайностью, но, вообще говоря, могло бы оказать сокрушительное влияние на систему гармонии гласных. Доля велярных гласных среди всех гласных разных этимологических пластов: финно-угорский 55% (т. е. здесь, как видно, почти еще равновесие в самом словаре, о «текстах» этого периода — т. е. где были бы только финно-угорские слова, к тому в оригинальном звучании — нам ровно ничего не известно), тюркский 59, немецкий 72, славянский 76, латинский и греческий, неолатинский — 81%. Несмотря на эти соотношения в словаре, в современных нам текстах, как было сказано выше, равновесие: примерно столько же велярных, сколько палатальных гласных. Это равновесие было достигнуто постепенно за истекшие столетия: как раз по этой линии и наблюдаются наиболее значительные исторические изменения в исследуемой области. Пропорция велярных гласных при-

Табл. 2.

Название текста	Пропорция велярных Г	Сравнительные данные
Надгробная речь (XIII в.)	39,97	100,00
Древневенгерский плач Марии (XIV в.)	42,76	106,98
Балашши (XVI в.)	41,93	104,90
Петефи (XIX в.)	47,21	118,11
Ади (XIX—XX вв.,)	50,21	125,62
Йожеф (XX в.)	48,54	121,44

водится в табл. № 2. Очевиден рост пропорции велярных между XVI-ым и XIX-ым веками, а также между XIX-ым и XX-ым вв., но внутри XX-го века уже колебания около 50% (что и означало бы «идеальное» равновесие между велярными и палатальными): Йожеф несколько менее велярен, чем Ади (стихи). В качестве одной из тривиальных причин того, что пропорция велярных возросла, можно указать на появление определенного артикля в XVI-м веке. Артикль, имеющий формы *a* и *az* представляет собой довольно большой процент фонемного состава любого венгерского текста⁸. Нельзя забывать и о приведен-

⁸ В политических текстах 30-ых годов, обработанных стенографом-исследователем, это — 12% всех словоупотреблений (см. Nemes Zoltán. Szóstatistika [Статистика слов] (Szeged, 1941). — стр. 51). По нашим подсчетам артикль представляет собой 2,79% — 3,77% всех словоупотреблений в разных циклах стихов Б. Балашши (еще не все циклы обработаны), 7,02% в его переписке (выборка); 4,51% — 8,20% в разных циклах стихов Ади (еще не все циклы обработаны) и т. д. Правда, 2,79 — 12% словоупотреблений означает примерно вдвое меньшую пропорцию среди всех фонем текста (большинство словоупотреблений длиннее одного слога).

ных выше данных относительно весьма велярного характера общего состава гласных славянского, немецкого, латинского и т. п. пластов.

5. Комментарий с точки зрения преподавания русского языка венграм. — Нужно обратить внимание особенно на результаты, изложенные в пп. 1. и 2. Общеизвестно, что любая иностранная речь кажется непосвященному слушателю «скороговоркой»: когда венгры вслушиваются в русскую речь, такое впечатление имеет некоторую объективную основу. Нужно было бы объективно измерить психологические явления, вызванные этим положением: русские гласные могут казаться венгерским слушателям быстро сменяющимися вспысками; слуховой аппарат должен перейти на какой-то более быстрый темп восприятия (при условии, что русский диктор был намерен говорить примерно таким же темпом, как венгерский). У русских, соответственно, создается впечатление медлительности, растянутости в русской речи венгров. Задачи, связанные с этим положением, вовсе не новы (ср. с цитированным исследованием М. Петера, К. Боллы), нами они только лишний раз подчеркнуты.

**Обобщенно-символическое слово- и фразеупотребление в
горьковской речи и его резонанс в русском литературном языке**

М. А. КАРПЕНКО

Взаимодействие «системы систем» — русского литературного языка — с более частными системами (подсистемами) обычно рассматривается в связи с характеристикой отдельных функционально-речевых стилей. Однако если учесть, что «понятие языковой системы не только не исключает понятия об индивидуальной системе, но, наоборот, предполагает его»¹, этот вопрос может быть перенесен в другую, более конкретную плоскость. Речь идет о сопоставительном изучении (на разных уровнях) общей системы литературного языка и частной (индивидуально-авторской) речевой системы. В условиях неразработанности ряда принципиальных вопросов теории художественной и публицистической речи — с одной стороны, неравномерности историко-лингвистического описания русского литературного языка новейшего времени — с другой, именно такой конкретно-исторический путь является наиболее реальным и перспективным.

При этом следует иметь в виду, что основная линия взаимосвязи и взаимодействия литературного языка с индивидуально-речевым стилем осложняется рядом дополнительных, в частности, взаимодействием последнего с другими индивидуально-речевыми стилями — непосредственно и в системе общелитературного языка, в пределах одного функционально-речевого ответвления и вне их. Это находит выражение в творческих «схождениях», «перекличках» и полемических «отталкиваниях», в аналогичном (противоположном) отборе речевых средств, сходных (контрастных) приемах их обработки, единонаправленности (разнонаправленности) реализации лексико-семантических, экспрессивно-стилистических, словообразовательных и т. п. возможностей литературного языка.

Специфика соотношения индивидуально-авторского речевого стиля и литературного языка зависит от того, насколько устойчивы (или, наоборот, неустойчивы) результаты «авторизации» тех или иных элементов общелитератур-

¹ В. В. Виноградов. О задачах истории русского литературного языка. — *Известия АН СССР. Отделение литературы и языка*, т. V, вып. 3, М., 1946, стр. 229.

ной семантико-стилистической системы в художественном тексте, насколько и каким образом «закреплены» новые, необычные компоненты оценочно-смысловой структуры в эстетически преобразованном слове. Совершенно ясно, что наиболее заметные сдвиги в семантике происходят при высокой степени «авторизации» речевых средств в определенных контекстно-ситуативных условиях.

Систематические преобразования слова в художественной речи оставляют в нем более-менее явные (или скрытые) отзвуки, которые, накапливаясь, становясь регулярными, служат исходным моментом для появления новых оценочно-смысловых качеств. Это накопление может происходить в художественной речи в целом, т. е. отражать аналогичные моменты в речевой практике ряда писателей, но проявляется и в индивидуальных речевых стилях. В первом случае, даже неоднократно встретив аналогично преобразованное слово в произведениях того или иного автора, мы говорим об использовании общего фонда художественно-изобразительных средств² и типично-авторском выборе слова и словоупотреблении; во втором — о совершенно оригинальной оценочно-смысловой трактовке лексических единиц и собственно-авторском словоупотреблении.

М. Горький, как и другие крупные мастера слова, немало экспериментировал в области словоупотребления (реже — словотворчества), но интерес вызывает прежде всего горьковская манера выбора слова и его применения. Рассматривая записные книжки А. П. Чехова, Б. А. Ларин пишет: «Трудно себе представить писателя, который никогда не поразил бы нас запоминающимся удачным словесным изобретением. Но большие мастера, классики никогда не опускались до словесного трюкачества, — и, главное, они выше других писателей именно в искусстве средней, спокойной и даже «паузной» речи. Там, где думается, «дремлет перо», где заурядные слова и нет ничего героического, необычайного, где набрасывается фон картины, — вот там большой мастер выказывает такое искусство, до которого никогда не поднимаются остальные. Такая «сплошная» работа — упорная, терпеливая и кропотливая даже и над «переходными» частями и несущественными эпизодами видна хотя бы по черновикам Льва Толстого»³. О процессе и результате «сплошной» работы М. Горького можно судить по рукописям и правке ранее опубликованных произведений; изучение этих материалов, хранящихся в Архиве М. Горького, показывает основные линии «авторизации», характерные для писателя и концентрирующие в себе весь его многолетний творческий опыт.

Эти линии, активно реализуясь в горьковской речи, приводят к определенным семантико-стилистическим «сдвигам» в тех лексических единицах, словесных комплексах, которыми пользуется писатель. Подобные «сдвиги» по-разному ощутимы в слове, в зависимости от того, преобладает ли в нем «реальное» значение («т. е. показуемое в мире действительности») или созданное писателем

² «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, изд. АН СССР (далее — БАС) отмечает такие случаи под знаком *; например, в словарной статье к слову *золото*: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса». Пушкин. «Осень». «Солнце уж садилось, его косые лучи окрасили вершины деревьев в пурпур и золото». М. Горький. «Товарищи». (т. 4, стб. 1315).

³ Б. А. Ларин. О словоупотреблении. — «Литературная учеба», 1935, № 10, стр. 151.

эстетическое, которое «необязательно, даже неожиданно по поводу данной реалии, но незаменимо как выражение модального качества мысли»⁴. Последние по-разному устойчивы в авторской речи, и отзвук их в литературном языке тоже неодинаков. Автор преследует определенные идейно-эстетические цели, но объективно результаты «авторизации» более широки, нередко выходят за рамки конкретного произведения, а иногда и авторского речевого стиля; особенно — при отнесенности к актуальным тематическим группам лексики, развивающимся созвучно тенденциям общелитературного языка, и актуальной социально-характеризующей окраске слова.

Так, анализ преобразований общеязыковых семантико-стилистических единиц в речевой системе романа «Жизнь Клима Самгина» показывает ряд типично-горьковских оценочно-смысловых трансформаций отдельных слов, словосочетаний, ряд необычных лексических связей, возникших в контексте художественного целого благодаря активному процессу расширения лексической сочетаемости слов⁵. Они кажутся нам (и действительно являются) окказиональными, неустойчивыми. Но системность таких преобразований в горьковской речи способствует появлению в ней, а затем в общелитературном языке тех неявных семантических изменений, один из признаков которых — «изменение лексических связей . . . , так сказать, движение внутри значения, изменение его объема»⁶. Л. С. Ковтун рассматривает появление или утрату известного типа сочетаемости в диахронии («в текстах разной хронологической отнесенности»), но этот вопрос имеет и синхронический аспект.

Переменам в лексических связях слов предшествует длительный и непрерывный процесс накопления новых качеств. Индивидуально-авторское словопотребление наиболее авторитетных носителей языка во многом поддерживает и определяет этот процесс. Окказиональное расширение лексических связей слова или группы слов нередко служит «первым толчком», а затем стимулом для более-менее регулярных аналогичных преобразований — в данном индивидуально-авторском стиле, в других индивидуальных системах, в художественной речи вообще и, наконец, в литературном языке. Этот «первый толчок» не всегда можно определить; в речи писателя нелегко вычленить те слова, которые именно в ней впервые подверглись преобразованию. Но общее стимулирующее воздействие авторских, [типично-горьковских, например) преобразований лексической сочетаемости не вызывает сомнения.

В индивидуально-авторском стиле неявные семантические изменения прослеживаются при метафорическом и метонимическом осмыслении отдельных слов, словосочетаний, которые эстетически значимо и обусловлено, но в общелитературном языке непосредственного резонанса может и не иметь. Основой для преобразования такого рода служит оригинальная смысловая ассоциация,

⁴ Б. А. Ларин. О разновидностях художественной речи. — В кн.: Б. А. Ларин, *Эстетика слова и язык писателя*, Л., 1974, стр. 33.

⁵ См.: М. А. Карпенко. М. Горький и русский литературный язык советской эпохи. Киев, 1972, стр. 158—213.

⁶ Л. С. Ковтун. О неявных семантических изменениях (К истории значения слов). — *«Вопросы языкознания»*, 1971, № 5, стр. 81.

необычное соотношение между исходным значением и его семантическими дериватами. «Неожиданность» словесного образа и его неповторимость в других индивидуально-речевых стилях (за исключением случаев прямой творческой «реминисценции») предельно четко передает антиномию узуса и возможностей словоупотребления. Этим возможностям другие носители языка не выделили, не предполагали, пока оригинальная ассоциативная линия не стала сигналом к их реализации.

Таким образом, речевая деятельность писателя предстает перед нами как творческая лаборатория, в которой вырабатываются новые качества слова и словоупотребления — сначала имплицитные, скрытые, затем получающие более яркое выражение, эксплицитные. Эти новые качества иногда не сразу дают себя знать. Обнаруженные писателем в слове и реализованные в художественном тексте, они проходят в нем более или менее длительную апробацию. Если преобразование окажется устойчивым, оно служит образцом и прецедентом аналогичных процессов в других словах (как либо связанных с данным — по принципу синонимии, антонимии, принадлежности к одной лексикосемантической группе и т. п.) в том же индивидуально-авторском стиле и за его пределами.

При всей специфике функционирования слова в художественной речи, накопление в нем новых имплицитных, а затем — эксплицитных качеств постепенно ведет к известным его трансформациям в общелитературном языке. Преобразование слова в художественной речи является существенным моментом его оценочно-смысловой эволюции и при известной системности находит отклик в общих процессах развития словарного состава и словоупотребления литературного языка — таких, как «регулярная многозначность», метафоризация (в широком смысле⁷), расширение лексической сочетаемости, изменение лексико-семантических норм и норм словоупотребления⁸ и т. п.

Особенно эффективны те случаи преобразования, когда в художественной речи возникает новое обобщающее, типизирующее значение слова, когда на фоне «средней, спокойной и даже «паузной» речи, «сплошной работы» над постепенным накоплением новых семантико-стилистических качеств большой писатель создает и ряд «сильных слов», слов-«проблесков», «кристаллов» (Б. А. Ларин)⁹. Отметим в связи с этим одну из наиболее характерных черт семантико-стилистической системы М. Горького — обобщенно-символическое употребление отдельных слов и словосочетаний, которое последовательно и своеобразно проявляется в творчестве М. Горького, т. е. принадлежит к числу выступающих как примета системы «константных признаков и свойств» (А. А. Уфимцева) горьковского индивидуально-авторского речевого стиля.

⁷ См. Ю. Л. Лясота. Метафоризация как один из основных законов развития словарного состава языка. — *Ученые записки ДВГУ*, вып. I, 1957; А. Н. Шамота, *Переносное значение слова (на материале языка художественной литературы)*, АКД, Киев, 1971 и др.

⁸ См.: К. С. Горбачевич. *Нормы литературного языка и толковые словари*. — *Нормы современного русского литературного словоупотребления*, М.—Л., 1966, стр. 7.

⁹ Ср.: «...Словцо-проблеск, озаряющее глубины характера, сознания, и словцо-примета, ярким своим колоритом выделяющее классовый тип» (Б. А. Ларин. *О словоупотреблении*. стр. 144).

Описание семантико-стилистической системы М. Горького, или, говоря словами Л. В. Щербы, «путь лингвистический, путь разыскания значения слов, оборотов, ударений, ритмов и т. п. языковых элементов, путь создания словаря, или точнее — инвентаря выразительных средств русского литературного языка»¹⁰ в их горьковской интерпретации дает возможность отметить такие определяющие признаки словесной символики, присущие ей и в других индивидуально-речевых стилях, как особая экспрессивно-смысловая емкость слова (или словесной формулы), совмещенность конкретного и обобщенно-характеризующего значения (с преобладанием последнего), «включенность» множества ассоциативных признаков (ср.: «слово, обремененное роями ассоциаций» — В. В. Виноградов), «повторяемость» словесных символов в системе индивидуально-авторского речевого стиля, их стойкие семантические качества и одновременно — вариативность функций в контексте художественного целого.

Изучение образной символики языка и речи имеет в русском языкознании давние и плодотворные традиции (см. работы А. А. Потебни, В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Д. С. Лихачева, И. К. Белодеда и др.¹¹). При неизменном внимании к этой теме, она рассматривается преимущественно на материале поэзии, хотя несомненно связана и с теорией художественной прозы (ср. замечание В. В. Виноградова об особой «семантической атмосфере», при которой в романе «Война и мир» «детали получают обобщенно-символический смысл»¹²).

Как показывает анализ горьковских текстов, обобщенно-символические функции речевых единиц (в таких сферах, как словоупотребление, поэтическая ономастика, фразеопотребление) реализуются широко и активно, независимо от того, идет ли речь о поэзии М. Горького или его прозе и драматургии. Символическая образность речи может быть отнесена благодаря этому к числу основных стилеобразующих моментов горьковской речи в целом. Этим вызвана необходимость поставить вопрос о принципах и закономерностях обобщенно-символического словоупотребления в горьковской речи¹³, о системе горьковских словесных символов и характере идейно-эстетического преобразования

¹⁰ Л. В. Щерба. Опыт лингвистического толкования стихотворений. — *«Русская речь»* вып. I, Петроград, 1923, стр. 15—16.

¹¹ А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914; В. В. Виноградов. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски). Л., 1925; Б. А. Ларин. «Чайка» Чехова (стилистический этюд). — *«Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы»*, Л., изд. ЛГУ, 1964; Д. С. Лихачев. Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси и пути его преодоления (к постановке вопроса). — *«Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию»*, М.—Л., 1956; И. К. Белодед. Символика контраста в поэтическом языке Анны Ахматовой. — *«Поэтика и стилистика русской литературы»*, Л., 1971 и др.

¹² В. В. Виноградов. О языке Толстого. — *«Литературное наследство»*, т. 35—36, 1939, стр. 180.

¹³ См. М. А. Карпенко. О закономерностях обобщенно-символического употребления слов в произведениях М. Горького. *«Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей «Словаря М. Горького»*, Киев, 1966; ее же, Образная символика горьковской речи. — В кн.: М. А. Карпенко, В. А. Сиротина. *Слово в художественной речи М. Горького*. Киев, 1968 и др.

структуры слова в этой системе и, наконец, о той важной роли, которая принадлежит обобщенно-символическому слово- и фразеупотреблению М. Горького в процессе взаимодействия речевого стиля писателя с общелитературным языком.

Символическая образность слова имеет в творчестве М. Горького определенные, устойчивые закономерности реализации — в их общегорьковской отнесенности и конкретном приложении к произведениям разных жанров, сюжетов, разного времени написания. Эти закономерности очевидно связаны с аналогичными процессами в общелитературном языке, учитывая тенденции его развития и совершенствования, выявляя и используя его семантико-стилистические ресурсы. В то же время в системе горьковской речи, с ее общими, типично-горьковскими линиями словоупотребления, каждое произведение (цикл произведений) получает свой «ключ» словоупотребления, свой круг и тональность словесной символики. Сложные и многогранные горьковские словесные символы, отражая реальную действительность, создаются на базе конкретных значений слов, их развитие обусловлено традициями русского литературного языка и русской художественной речи.

Традиционные словесные символы, обновляясь, насыщаясь социальным пафосом, вовлекаются в произведениях М. Горького в орбиту новой, революционной образности. Так, в «Песне о Соколе» возникло горьковское, новое значение слова *сокол*, основанное на традиционной народно-поэтической символике. В БАС нашло отражение новое, обобщенно-символическое значение слова *буревестник* в его горьковской интерпретации, а также перенос этого наименования на самого писателя как выразителя революционных идей.

Следует отметить актуальность горьковских социально-оценочных акцентов при обобщенно-символическом словоупотреблении. Произведениям М. Горького присуща та «своевременность», которая отмечена в ленинской оценке романа «Мать», поэтому словесные символы *сокол*, *буревестник* стали широко употребительными именно в горьковской трактовке. И образ буревестника, и слово *буревестник* имеют давние традиции употребления — в народной поэзии, в поэтической речи¹⁴. Однако в общелитературный язык оно входит с горьковским «авторством» — прежде всего потому, что его идейно-эстетическая отнесенность и обобщенно-социальная направленность создали новые, собственно-горьковские качества слова, которые были восприняты носителями русского литературного языка как созвучные эпохе.

Сложное переплетение традиционного и индивидуально-авторского можно также наблюдать, обратившись к горьковскому употреблению слова *красный*. Словарное описание предусматривает прямое (цветовое) его значение, общезыковое переносное «относящийся к революционной деятельности; связанный с советским социалистическим строем» и два устаревших («красивый, прекрасный» и «парадный, почетный» — БАС, т. 5, стб. 1596—1599). М. Горький в своих произведениях 900-х годов использует не только прямое, цветовое зна-

¹⁴ См.: В. П. Владимирцев. Народно-поэтическая основа «Песни о Буревестнике». Казань, 1968.

чение слова *красный*, но и традиционно-символическое («революционный»), а также ряд оттенков, в частности «окрашенный, пропитанный кровью» — в словосочетании *красный снег* (очерк «9-ое января»), которое стало своеобразным штампом стихотворной речи демократических и пролетарских поэтов того времени¹⁵. Горьковский образ «красного песка» в пьесе «Дети солнца» может быть рассмотрен как попытка преодолеть этот штамп, найти новые возможности «освежения» традиционной образной системы.

Символика слова *красный* в горьковской речи не раз привлекала внимание исследователей¹⁶, так как этот словесный символ принадлежит к числу наиболее актуальных — и в художественной речи вообще, и в общелитературном языке. У М. Горького диапазон оценочно-смысловых вариаций слова *красный* необычайно широк. Но в каждом отдельном случае, говорит ли писатель: «люблю веселый, яркий красный цвет» или включает это слово в трагические символы *красный песок*, *красный снег* (см. например, в «Жизни Клина Самгина» — 19², 449; 20, ² 529, 532, 535)¹⁷, *красный* в его употреблении содержит особый социально-оценочный призыв. Степень выражения этого призыва в разных горьковских произведениях неодинакова — от чуть заметного оттенка до обобщенно-символического образа *красное знамя*, становлению которого в общелитературном русском языке дооктябрьского периода во многом способствовала речевая практика писателя.

Слово *красный*, обладая у М. Горького устойчивым подтекстом, в комплексе цветообозначений занимает особое место — как определяющий компонент двух типично-горьковских ассоциативно-словесных оппозиций: *красный — серый* и *красный — черный*. Обе эти оппозиции идейно-эстетически мотивированы писателем уже в публицистике 900-х годов («Заметки о мещанстве» — 1905; «О Сером» — 1905) и более или менее явно выражены в произведениях М. Горького последующих периодов — в неразрывной связи с аналогичными линиями обобщенно-символического словоупотребления в общелитературном языке.

Этот комплекс цветовых словесных символов (*красный, серый, черный*) остается эстетически активным у М. Горького вплоть до последнего произведения — «Жизни Клина Самгина», где слово *красный* демонстрирует широкие и разнообразные семантико-стилистические возможности. В обеих оппозициях оно оказывается живым и актуальным словесным символом, обобщенно-символическое звучание которого в одних случаях несколько приглушено, в других — выражено прямо, открыто (см.: *красные шары* — 19², 444; *красное полотнище* — 20, 579; *красное знамя* — 20², 527; *красный флаг* — 20², 558, 577, 578, 633, 637 и

¹⁵ В. А. Келдыш. Проблемы дооктябрьской пролетарской литературы. М., 1964, стр. 117.

¹⁶ См., например: Н. А. Донец. Элементы цветописи у М. Горького (на материале рассказов «По Руси» и «Сказок об Италии») «Вопросы грамматики и стилистики. Ученые записки Латвийского университета», т. 83, Рига, 1967; М. А. Карпенко, Горьковские слова — символы в произведениях писателя и в современном литературном языке. — «Словоупотребление и стиль М. Горького», Л., 1968; Ю. С. Языкова. «Красный цвет в окурковском цикле. — «Вопросы теории и истории языка», Л., 1969 и др.

¹⁷ Ссылки на горьковские тексты даются по изданию: М. Горький, *Собрание сочинений в 30-ти томах*, М., 1949—1955.

далее; *красное* — 20², 735; *красенькое* — *черенькое* — в одной из реплик; 20. 637), при характерном сложном взаимодействии словесных символов *красный* — *кровь* — *пламя* (*кумач* — *кровь* — 20². 580; *красные языки знамени* — 20², 579 т. п.). Оппозиция *красный* — *черный* в данном символическом плане актуальна в XX веке не только для художественной речи, но и для других видов искусства. С. Эйзенштейн отмечает типичную «цветовую формулу» — «игра на *черном* и *белом* со взрывом в *красное*» в литературе (А. Блок, В. Маяковский) и кино (кинофильм «Потемкин»), где «фигурирует *серое*, расслаивающееся в *черное* и *белое*. . . и где на мгновение цветовой фанфарой в момент кульминации взрывается *красный флаг*»¹⁹.

Мотивировка словесного символа иногда связана с литературными параллелями. Так, входя с Самгиным в свою петербургскую гостиную, окна которой упираются в глухую стену, Дронов вспоминает о символическом образе стены у Л. Андреева (22², 180—181). Повторяясь в тексте романа, этот «чужой» словесный символ (*краснокаменная стена, слепая каменная стена* — 22², 244, 248, 266) вбирает в себя ряд дополнительных идейно-эстетических компонентов, типично-горьковских (у М. Горького он реализуется уже в повести «Трое», рассказе «Тюрьма») и негорьковских. Кроме прямо названной параллели с Л. Андреевым, в широком контексте «Жизни Клима Самгина» (в связи с образом Дронова) вполне возможна менее явная параллель с аналогичным словесным символом Ф. Достоевского.

Как отмечают исследователи, слово *палка* принадлежало к числу наиболее активных словесных символов в русской сатирической литературе 900-х годов²⁰ и вызывало поэтому совершенно определенные ассоциации. У М. Горького ближайшие связи этого слова и большой контекст романа «Мать» делают традиционный символ более ярким, вносят дополнительные оттенки социально-оценочной характеристики. «Ясную печать индивидуальной горьковской художественной манеры» несет на себе и слово *грязь*, вырастающее в «Матери» и других произведениях писателя (с конца 900-х годов) в словесный символ с четко выраженным социальным звучанием и сложным соотношением с другими словами обобщенно-символического плана (*пыль, сор, серый, чистый* и т. п.).

В горьковской речи наблюдаем сложное взаимодействие словесных символов, в которое вовлечен ряд актуальных для творчества писателя групп лексик. Важное место среди них принадлежит наименованиям зрительных, световых и цветовых образов, словам горения (*солнце, свет, огонь, пламя, светлый, темный, белый, красный, черный, яркий, гореть, погаснуть* и др.); терминам родства в нетерминологическом употреблении (*мать, дети, семья, родной*); названиям птиц и животных (*сокол, буревестник, сова, чиж, уж*,); лексике явлений природы (*буря, гром, море, река, поток, болото, пустыня*); названиям отдельных предметов (*камень, палка, стена, молоток, колокол*) и др. К числу наиболее активных относятся и социально-характеризующие личные существительные с яркой экспрессивной окраской (*мещане, дачники, варвары, хозяева* (*жиз-*

¹⁹ С. Эйзенштейн, Избранные сочинения в 5-ти томах М., т. 3, стр. 90—91, 559.

²⁰ См.: Л. Евстигнеева. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатирикотцы, М., 1968, стр. 61—63.

ни), лавочки, приказчики, генералы; зрители, свидетели, мастера, мастеровые, чернорабочие).

Исследователи горьковской речи (см. разработку отдельных слов и групп слов в публикациях составителей «Словаря М. Горького» Б. А. Ларина, Л. С. Ковтун, Г. А. Лилич²¹, С. В. Трифионовой-Бековой, М. Б. Борисовой, Ю. С. Язиковой, В. А. Сиротиной, Е. И. Самохваловой, О. И. Рак-Фоняковой, Д. М. Пощени, О. Н. Семеновской, Л. А. Ивашко, А. И. Мамалыги и др.) прослеживают в произведениях писателя разветвленную систему обобщенно-символического словоупотребления. В нее вовлечены разнообразнейшие лексические элементы — конкретные и абстрактные наименования, личные существительные, собственные имена. Последняя группа привлекает внимание к использованию в горьковской речи характеризующих имен — антропонимов и топонимов, т. е. к поэтической ономастике.

В традиционных параметрах разработка проблемы «поэтическая ономастика и литературный язык» (в данном случае — «поэтическая ономастика М. Горького и русский литературный язык») предполагает прежде всего наблюдения над использованием уже существующих собственных имен в художественном тексте или реализацией общезыковых средств для создания (путем образования новых слов, словосочетаний или путем семантической трансформации) имен-характеристик, получающих в произведении определенные идейно-эстетические функции. Но возможно и другое направление исследования, при котором в центре внимания — дальнейшее протекание процесса, т. е. развитие на базе поэтической ономастики новых общезыковых лексических единиц, обогащающих словарный состав языка. Этот второй аспект — выяснение роли поэтической ономастики в развитии и совершенствовании семантико-стилистической системы литературного языка — разработан значительно меньше, чем первый, хотя изучение характеризующих имен в этом плане имеет несомненное право на существование наряду с этимологическим, семантическим, стилистическим анализом.

Специальное изучение состава и функций поэтической ономастики в горьковской речи началось сравнительно недавно. За последнее десятилетие опубликовано несколько статей о собственных именах у М. Горького²², антропонимы и топонимы стали объектом лексикографического описания в «Объяснительном словаре автобиографической трилогии М. Горького», где собственные

²¹ См.: Г. А. Лилич. Развитие обобщенно-символического значения у слов *грязь*, *грязный* в произведениях М. Горького. — «Словоупотребление и стиль М. Горького», Л., 1968, стр. 77 и далее.

²² См. например: М. А. Гавриленко. Собственные имена и формы их употребления в речи крестьянских персонажей у М. Горького. — «Ученые записки Горьковского пединститута», вып. 68, 1967; П. Т. Поротников. Значение формы множественного числа имен собственных в произведениях А. М. Горького. — «Горьковские чтения Уральского университета», Свердловск, 1968; А. В. Федоров. Личные имена собственные в автобиографической трилогии М. Горького. — «Вопросы стилистики», Саратов, вып. V, 1972; О. И. Фонякова. Имена собственные в языке и в художественной речи. — «Вестник ЛГУ. Серия истории, языка и литературы», № 20, 1973 и др.

имена, как это предусмотрено Инструкцией словаря, рассматриваются в качестве важной составной части семантико-стилистической системы писателя.

В произведениях М. Горького собственные имена выступают в номинативно-характеризующей функции, выражая экспрессивно-эмоциональные и социально-оценочные оттенки разной интенсивности. Замечание о том, что «в художественном произведении нет немых имен. Все имена говорят» (Ю. Н. Тынянов), привлекает внимание к степени «авторизации» собственных имен в горьковской речи — в зависимости от их семантико-стилистических потенций, функциональной направленности и соотношения между языковыми и речевыми явлениями.

Диапазон «авторизации» у М. Горького чрезвычайно широк, и степень семантической деривации собственных имен достигает нередко того уровня, на котором слово становится словесным символом. «Умение сгустить типическое до одной клички» (П. П. Бажов), активное использование имен в качестве образных обобщений, их смысловая емкость и социально-оценочная острота — все эти моменты очевидно проявляются в таких горьковских антропонимах и топонимах, как *Самгин* (с производными *самгинство*, *самгинизм*, *самгинский*)²³, *Кутузов* (*кутузовщина*); *Смертяшкин*; *Словотек* (*словотековщина*); *Дрем* (*дремовцы*, *дремовский*); *Окур* (*окуровский*, *окуровцы*, *окуровщина*) и т. п. Одни из них отмечены словарями, другие — нет, но их общепринятость и активность употребления может быть подтверждена многочисленными примерами.

Становление у собственных имен обобщающих, символических качеств протекает у М. Горького в рамках традиционного для разных языков метонимического переноса значений, при оригинальной реализации словообразовательных и семантико-стилистических возможностей общеязыковой системы. С этой точки зрения поэтическая ономастика в художественной речи писателя — одна из форм обобщенно-символического словоупотребления, получившая заметный отклик в русском литературном языке советской эпохи.

Приметы обобщенно-стилистического употребления являются определяющими и для тех случаев, когда в горьковской речи создаются новые комплексы слов, устойчивые формулы, пополняющие общеязыковой фразеологической запас. Исследованию фразеологии М. Горького посвящены многочисленные работы²⁴, рассматривающие состав и функции фразеологизмов, приемы их творческой трансформации, создание в горьковских текстах фразеологических ин-

²³ О специфике использования М. Горьким характеризующего имени *Самгин* см.: А. В. Луначарский, Собрание сочинений в 8 томах, М., 1964, т. 2, стр. 189, 191, 192, 196.

²⁴ См., например: В. Ф. Рудов. Фразеология произведений М. Горького, Таганрог, 1957; С. А. Савицкая. Афоризмы А. М. Горького в его публицистических произведениях. — «Труды Одесского университета. Серия филологических наук», выпуск 6, 1957; В. А. Сиротина. Фразеология публицистических статей А. М. Горького (советский период). — «Анализ языка и стиля художественных произведений», Киев, 1959; И. Л. Городецкая. Об индивидуальном употреблении фразеологизмов в автобиографической трилогии М. Горького. — «Словоупотребление и стиль М. Горького», Л., А. И. Олейникова. Фразеология публицистики М. Горького (1917—1936 гг.), Орджоникидзе, 1962 и др.

новаций. Но развитие и активизацию последних обычно не связывают с обобщенно-символическим словоупотреблением писателя.

А между тем смысловая емкость, экспрессивно-эмоциональная выразительность («аккумуляция мысли и экспрессии» — А. М. Бабкин), интенсивность социально-оценочной окраски — все эти моменты характерны в горьковской речи для обобщенно-символического словоупотребления и в равной мере — фразеопотребления. Степень «авторизации» отдельных слов и цельных словесных комплексов в таких случаях одинаково высока, а характер протекания семантических процессов аналогичен. Больше того, как для слов, так и для словосочетаний различного типа (а также предложений-афоризмов) именно обобщенно-символическое осмысление является важным фактором и предпосылкой их активной реализации в общелитературном языке.

О вовлечении в его сферу речевых оборотов, «суггестивных формул» (В. В. Виноградов), разнообразных по своей структуре афоризмов, созданных в индивидуально-авторской речи М. Горького, не раз говорили исследователи. К числу таких общепотребительных единиц относятся: *бывшие люди* («Бывшие люди», 1897); *Желтый Дьявол* («Город Желтого Дьявола» 1906); *свинцовые мерзосты* («Детство», 1913); *мои университеты* («Мои университеты», 1923); *мастера культуры* («Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры», 1929); *Дети — живые цветы жизни* («Бывшие люди», 1897); *Безумству храбрых поем мы песню* («Песня о Соколе», 1898); *Человек — это звучит гордо!* («На дне», 1902); *В карете прошлого — никуда не уедешь* (там же); *Да был ли мальчишко?* («Жизнь Клима Самгина», 1927); *Жизнь есть деяние* (письмо Л. Никулину, 1931) и др.²⁵.

Некоторые из них подвержены редукции, вплоть до крайней ее степени, когда становится возможным «свободное употребление одного из компонентов, семантически обогащенного за счет смыслового целого»²⁶, появление «осколков» фразеологизмов. Ср.: *бывшие, цветы жизни, безумство храбрых, карета прошлого*. Интересно проследить перемещение последней формулы из горьковского текста («Сатин. В карте прошлого — никуда не уедешь» — б,² 168) в речевой обиход («В карете прошлого далеко не уедешь» и *карета прошлого*) — при видоизменении одного из компонентов, а затем редукции афоризма и одновременно ослаблении его «авторизации». Характерный путь семантического развития прослеживается и в судьбах горьковского фразеологизма *бывшие люди*²⁷, в частности при его трансформации в субстантивированное *бывшие*: сначала «авторизация» речевой единицы резко возрастает, затем, при переходе

²⁵ Большинство указанных речевых единиц М. Горького отмечено в качестве общелитературных в кн.: В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 387; см. также: Н. С. Ашукин., М. Г. Ашукина. Крылатые слова, М., изд. 3, 1966.

²⁶ А. М. Бабкин. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970, стр. 105.

²⁷ «Словарь Современного русского литературного языка» в 17-ти томах, изд. АН СССР: «Бывшие люди — люди потерянные, опустившиеся... — О представителях эксплуататорских классов царской России, лишенных своего привилегированного положения» — т. I, стб. 729.

в общелитературное употребление, ослабляется, падает; речевая единица постепенно утрачивает отнесенность, «прикрепленность» к определенной индивидуально-авторской системе.

Таким образом, обобщенно-символическое слово- и фразеупотребление является важным процессом творческого преобразования элементов русского литературного языка в художественной речи М. Горького и одним из определяющих моментов активного взаимодействия индивидуально-авторской системы с общезыковой. Специфика обобщенно-символического осмысления отдельных слов и «суггестивных формул» детерминируется большим контекстом горьковского творчества, который способствует появлению у таких речевых единиц ярких окказиональных значений и последующему переходу их в узуальные — благодаря концентрации оценочно-смысловых и экспрессивных качеств в слове или словесной формуле и актуальности идейно-эстетического преобразования.

Взаимодействие горьковского речевого стиля с общелитературным языком получает в этой сфере непосредственное и яркое проявление. Активное использование семантико-стилистических потенций языка, идейно-эстетическая трансформация слова (или фразы) при обобщенно-символическом употреблении создает новые качества оценочно-смысловой структуры и ведет к «отложению» (В. В. Виноградов) в литературном языке речевых единиц с высокой степенью «авторизации».

Тема дружби народів в українській літературі про Велику Вітчизняну війну

О. С. ДЯЧЕНКО

«Коли сходяться народи —
що може бути краще?»

Павло Тичина

Одною з провідних тем української радянської літератури на протязі всього часу її існування була і є тема дружби багатонаціонального радянського народу. Ця дружба, коріння якої починається ще в далекі часи Київської Русі, яка міцніла і кріпла ще тоді, коли «Чернишевському, як брату, Шевченко руку подавав» (М. Рильський), особливо зміцніла і знайшла свій конкретний вияв у буремні дні Жовтня та громадянської війни. А коли відгриміли бої на фронтах боротьби контрреволюції та об'єднаних сил інтервентів, збратані радянські народи єдиною багатонаціональною родиною пішли шляхом побудови соціалізму, накресленому В. І. Леніним.

І сьогодні, окидаючи поглядом більш як піввіковий шлях, пройдений багатонаціональним радянським народом з часу утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, ми з гідністю і повним на те правом говоримо, що це був шлях, на якому з кожним днем і кожним роком все кріпло і міцніло велике і святе «чуття єдиної родини» (П. Тичина). Ця сила дружби і братнього єднання, які повсяк час плекала Комуністична партія Радянського Союзу, стала одією з передумов краху старого світу, побудови соціалістичного суспільства на одній шостій земної кулі, зміцнення економічної і воєнної могутності нашої країни і готовності дати ніщівну відсіч будь яким спробам посягнути на честь, свободу і незалежність рідної Вітчизни.

І коли раннім ранком 22 червня 1941 року впали перші бомби на мирну радянську землю, полилась гаряча кров мирних радянських людей і запалали міста й села, весь радянський народ грудьми став на захист рідної Вітчизни. Як всенародна клятва пролунали слова поета Миколи Бажана:

До бою звелась богатирська дружина
Радянських народів-братів.
Ніколи, ніколи не буде Україна
Рабою німецьких катів¹.

Скінчилися мирні роки. Прийшли роки всенародної битви з фашизмом. «В ці роки, — писав Леонід Новиченко, — ще більше зміцніло бойове братерство радянських літератур, радянських письменників усіх національностей. Письменники російські, українські, білоруські, узбецькі, грузинські, казахські, вірменські разом співробітничали у фронтовій пресі, разом ділили труднощі й небезпеку. На неосажених дорогах війни відбувалося надзвичайне за інтенсивністю і глибиною ознайомлення літератури з багатонаціональним братством радянських воїнів, усіх радянських людей»².

Михайло Стельмах висловлює глибоке братнє почуття російському народу:

Коли б не ти, Росіє-мати, —
Роз'їла б свастика світи,
І нам би сонця не видати,
І роз'єдналися б брати...³

Російський поет Михайло Ісаковський у вірші «Україно моя» пише про свого земляка, який на смерть стояв за українську землю. Казахський акин Джамбул Джабаєв з словами любові звертається до мужніх захисників Сталінграда, а український поет Андрій Малишко в поемі «Прометей» оспівує подвиг російського розвідника, який гине, рятуючи українських людей. Про українську землю, як про свою рідну, пишуть башкирські поети Сайфі Кудаш та Амрі. З хвилюючим словом до українських народних месників звертається азербайджанець Самед Вургун, до нескореної України, що разом з іншими народами-братами грудьми зустріла ворога, звертаються з словами співчуття й підтримки Дем'ян Бедний, М. Тихонов, А. Сурков, Якуб Колос, А. Лахуті, М. Турсун-Заде, Г. Борян, А. Таджикиєєв, І. Фефер та інші.

Словами сердечної вдячності за братерську допомогу і підтримку відповідали українські письменники. Красномовним свідченням цього можуть служити поетичні твори М. Рильського, П. Тичини, В. Сосюри, А. Малишка, Л. Первомайського, М. Нагнибіди, І. Неходи, С. Голованівського, П. Воронька, Є. Бандуренка, О. Підсухи та багатьох інших поетів як старшого, так і молодшого покоління, навіть наймолодшого, що в дні війни лише розпочало свою творчість — Л. Левицького, В. Булаєнка, П. Рудя, Ф. Швїндіна та ін.

Вже 23 червня 1941 року на сторінках газети «Правда» виступає з статтю «Ми непохитні» Павло Тичина, в якій висловлює глибоку переконаність в нашій перемозі:

¹ Микола Бажан. Твори в двох томах, т. II, Київ, «Дніпро», 1965, с. 7.

² Історія української літератури у восьми томах, т. 7, Київ, «Наукова думка», 1971, стор. 31.

³ М. Стельмах. Жито сили набирається. К., «Радянський письменник» 1954, стор. 6.

«Народи Радянського Союзу, згуртовані непорушною дружбою, всі, як один, стануть на захист своєї любимої Батьківщини. Наша доблесна Червона Армія так само успішно здолає німецького агресора, як перемагала інших ворогів»⁴.

Разом з фашистськими загарбниками в їхньому обозі йшли на радянську землю запроданці, люті вороги українського радянського народу — українські буржуазно-націоналістичні недобитки, що служили нашому ворогу «за шмат гнилої ковбаси» (Т. Шевченко).

І вже 1 липня 1941 року зі сторінок «Літературної газети» звучать гнівні слова Ярослава Галана:

«Сьогодні, коли вся велика, багатонаціональна сім'я Радянського Союзу завято, героїчно бореться з фашистським агресором, коли серця всіх синів і дочок нашої Соціалістичної Батьківщини пульсують одним ритмом — залізним ритмом волі до перемоги, тим більшою стає наша ненависть і презирство до банд націоналістичних виродків, що запродалися запеклому ворогові нашого народу — німецькому фашизмові»⁵.

Та їх була нікчемна мізерність. Український народ при допомозі всіх братніх народів в дні найжорстокіших битв завжди був непохитно переконаним у нашій кінцевій перемозі. В розпалі жорстоких кровопролитних боїв у 1942 році Олександр Довженко в статті «Я бачу перемогу» писав:

«Щоб там не було, які б не були зараз чи в майбутньому труднощі, яким би несподіваним і підступним не був ворожий удар, ніколи ворогу не перемогти нас, ніколи! Братерство радянських народів, виховане в нас великою нашою партією, — це сила, якій немає рівної в світі. Це прапор непереможний»⁶.

Публіцистичні статті та нариси письменників всіх братніх республік — О. Толстого, М. Шолохова, І. Еренбурга, О. Довженка, Ю. Яновського, О. Корнійчука, Янки Купали, С. Вургуна, І. Ісаакяна, Д. Гуліа, А. Токамбаєва та багатьох інших, — це славний літопис героїзму радянських народів, це всенародна клятва у стійкості перед лицем смерті, непохитна віра в нищівний розгром ворога.

В нарисі Андрія Малишка «Київська битва» ми читаємо:

«... Палкі слова перед київською битвою говорили капітан Григорій Кривда з своїми бійцями; капітан Гегучадзе, лейтенант Горбунов, старший сержант Олекса Юзьков, рядовий боєць Павло Степовий, танкіст Григорян і сержант Дмитро Ієромішвілі.

— Чуєш, Києве! Сини всіх народів нашої Вітчизни ідуть до тебе, вони несуть волю, вони розгромлять підлого ворога.

Полки і дивізії поклялись цією клятвою»⁷.

⁴ Слово і подвиг. Вітчизняна війна в художньо-документальній творчості письменників Радянської України 1941—1945 років. Київ, «Радянський письменник», 1965, стор. 9.

⁵ Ярослав Галан. Твори в трьох томах, т. 3, Київ, Держлітвидав України, 1960, стор. 293—294.

⁶ Олександр Довженко. Твори в п'яти томах, т. 4, Київ, «Дніпро», 1965, стор. 36.

⁷ Слово і подвиг... стор. 262.

Тема дружби радянських народів знайшла своє досить широке відображення і в оповіданнях та новелах, які в часи Великої Вітчизняної війни стали одним з «найоперативніших» жанрів. В оповіданнях і новелах наші письменники прагнули проникнути у внутрішній світ своїх мужніх героїв, психологію, мотивувати їх вчинки, розкрити процес внутрішньо-морального порядку перетворення людини мирної творчої праці в безстрашного воїна. То ж багато з них сьогодні хвилюють нас своєю життєвою достовірністю та внутрішнім багатством душі радянської людини. Серед авторів кращих творів варто назвати О. Довженка, Ю. Яновського, А. Головка, В. Василевську, Ів. Ле, О. Копиленка, Л. Первомайського, Петра Панча, Ю. Смолича, К. Гордієнка.

Ось перед нами оповідання О. Довженка «Мати».

Зимою в люту хуртовину в хату української жінки Марії Стоян постукали два поранені льотчики, яких збили фашистські зенітки. Далеко на Уралі залишилися матері Степана Пшениціна і Кості Рябова, але українська мати прийняла їх як рідних синів. Приютила, перев'язала рани, нагодувала, зіграла материнським телом.

Але ось — ворожа облава. Потягли на сільський майдан. Гинуть від ворожих куль два російських юнаки, а їх другу — українську матір — повісили.

«Були ви комуністкою чи ні? Чи був у вас партійний квиток? Напевне, не було...»

Хай же знає весь світ, як висіли ви, мамо, на старій груші за други своя»...⁸

Тема фронтової дружби, фронтового непорушного побратимства зустрічається в багатьох творах того часу, бо проявлялись вони повсюди і повсякчас. На фронті на кожному кроці письменник особисто був свідком того, як це благородне почуття знаходило свій вияв у найрізноманітніших формах.

Досить цікаве і своєрідне розв'язання цієї теми знайдемо ми в оповіданнях «Брати» Олександра Копиленка (росіянин Іван Суслов і українець Тарас Книш), «Дружба» Андрія Головка (українець Семен Гончаренко і грузин Іраклій Мосашвілі), Анатолія Шияна «Де ви, сини мої?» (українець, росіянин і грузин), Семена Скляренка «Земляки» (Назар Пшеничний і Урбай Аракулієв), Івана Багмута «Брати» (Петро Костенко і Хаджібаєв) та в творах інших письменників.

В роки Великої Вітчизняної війни започаткувала своє існування і «велика» проза: з'явилися перші повісті й романи про героїв Великої Вітчизняної війни.

Правда, це ще були, по суті, перші підступи до великої епопеї про героїзм радянської людини в ім'я гуманістичних ідеалів, про непорушне братство багатонаціонального радянського народу, про допомогу народам Європи у звільненні від фашистського середньовічного мороку. Серед перших прозових творів можна назвати повість Василя Козаченка «Ціна життя», в якій розповідається про Миколу Бармаша та його товаришів по зброї — Зубцова, Ібрагімова, Кравчука; перші частини трилогії В. Собка «Шлях зорі» — «Кров України» і «Кавказ», де пліч-о-пліч відстоювали рідну землю на Україні і на Кавказі Михайло Гайворон, Ваню Гуліашвілі, Микита Кротов та Ісмаїл Хатаєв.

⁸ Олександр Довженко... т. I. стор. 182.

Ворог не пройшов. Не пройшов тому, що українці Микола Красношопка бився з ворогом і захищав рідний всім Ленінград (М. Руденко), а Юрко Мельничук — Сталінград (С. Скляренко); в той же час смоленський розвідник (А. Малишко), росіянин Косачов та білорус Дзелензік (Ю. Збанацький) відстоювали рідну їм Україну, син сонячної Грузії Гомеллаурі стоїть на-смерть в засніжених полях Росії (О. Корнійчук); танкіст Григорян безстрашно б'ється за Київ (А. Малишко), а українець Михайло Гайворон (В. Собко) за рідний йому Кавказ. Бож всі вони добре знають і серцем розуміють — всі вони б'ються за рідну їм Радянську Вітчизну.

Всесвітньо-історичною перемогою радянського народу скінчилася Велика Вітчизняна війна проти німецько-фашистських загарбників. В радянській літературі почався новий період в освоєнні цієї теми, який характерний тим, що письменники прагнуть проникнути в найрізноманітніші сфери людської діяльності того часу, йдуть шляхом від емоційно-ілюстративного способу відображення подій тих героїчних років до аналітичного, соціально-історичного і філософського осмислення зображаного.

Як і в роки війни, так і в повоєнний період в творах про війну чільне місце посідає тема непорушного братства багатонаціонального радянського народу.

В 1946 році Василь Козаченко завершив свою роботу над повістю «Серце матері». Героїня повісті стара Назариха, як і мільйони радянських матерів, тяжко переживає за долю своїх чотирьох синів, які пішли захищати рідну землю. Одного разу, повертаючись додому з кукурудзяного лану, почула приглушене: «Мамо!»... Так появився в її хаті поранений боєць, родом з Кавказу. Доглядала його як рідного сина, бо ж може «й мої десь там». А коли настав час розлуки, додався біль до нагорьованого серця, бо відчувала: «відриває від свого серця, з кров'ю відриває шмат теплий і рідний».

А хто може зміряти біль душі вдови з білоруського хутора Турів'я Михайлини Ясень, яка в час війни дала притулок і стала справжньою матір'ю двохрічній дочці росіянина капітана Косачова Тані, а по війні знайшлась у Тані рідна мати і забрала її до себе? Про цю хвилюючу історію розповідає Юрій Збанацький у повісті «Між добрими людьми».

Коли сьогодні, на відстані трьох десятиліть пригадати і глибоко осмислити весь той страшний тягар горя і сердечних мук, який впав на долю наших матерів, який ятрив їх душі, і разом з тим мати на увазі ту неймовірну силу волі, яка дала їм змогу не лише вистояти, а й підтримувати та допомогати своїм чоловікам, синам, та дочкам у смертельному поєдинку з фашизмом, то всі вони — живі й мертві — заслуговують на найвищий і безсмертний пам'ятник — пам'ятник Материнству, найвищому подвигу жінки на землі, яка дала людині життя і до останнього свого подиху стоїть на його сторожі.

... Дала життя своєму синові і дружина командира розвідроти дивізії капітана Березіна Мар'яна, та не змогла стати на його сторожі — під-час родів померла. Загинув у бою з ворогом і сам Березін. І ось п'ять розвідників (події відбуваються у ворожому тилу) старшина роти білорус Ярошок, радист узбек Галієв, бійці — росіянин Гусаров і українці Покотило та Юрко Лісняк, — поклялись врятувати життя сину свого командира Березіна. Обпалені порохом сол-

датські руки понесли крихітне життя на схід, до лінії фронту, щоб добратися до своїх.

Не вагаючись ідуть по вірну смерть бійці, щоб врятувати немовля, врятувати життя. І Юрко, переборюючи неймовірні труднощі, виконує клятву-заповіт своїх друзів — переходить лінію фронту і рятує життя сину капітана.

Лише один епізод фронтового життя, покладений письменником в основу своєї повісті, виростає в символ тієї благородної місії, яка історією була покладена на долю радянського воїна: врятувати людство від фашистської чуми, побороти смерть і врятувати для людства Життя.

З цієї ж метою в українській партизанській загін Грисюка приходить «завзятий узбек» Саїд і проявляє виключний героїзм, звільняючи українську землю від фашистських зайд (повість Якова Баша «Професор Буйко»); вірні цій благородній меті стоять на-смерть на Курській дузі, на цій бідній і гаряче коханій землі бронбійники вірмен Гулоян і єврей Шрайбман (роман Леоніда Первомайського «Дикий мед»). Подібних прикладів ми знайдемо дуже багато в інших творах українських радянських письменників, як і в їх побратимів з інших республік.

Ту ж саму картину бачимо ми і в драматургії. Для прикладу можемо назвати п'єсу Олександра Корнійчука «Фронт».

В одній із картин драматург переносить нашу уяву в звичайний солдатський окоп, де тримають оборону солдати гвардії лейтенанта Сергія Горлова. Серед них ми бачимо сержанта Остапенка, молодших сержантів Гомеллаурі та Шаяметова. Це не лише товариші по зброї, не лише війна схрестила їх життєві шляхи. Це справді ніби маленька ячейка нашої братньої багатонаціональної сім'ї народів.

Коли ми ведемо мову про братство воїнів багатонаціонального радянського народу в боях за Вітчизну, то серед кращих творів, де ця тема знаходить своє широке і художньо довершене відображення, ми безперечно називаємо трилогію Олесь Гончара «Прапорносці».

... Завершальний етап Великої Вітчизняної війни. Звільнивши рідну землю, радянські воїни, вірні своєму інтернаціональному обов'язку, ступили на землі Європи, щоб допомогти у звільненні її від фашистського рабства. Розвідник Казаков розповідає молодшому лейтенанту Чернишу, який щойно прибув у полк, як їхній полк, визволяючи рідну землю, вперше ступив на землю України:

«— Скільки було нас там, різні нації — і сибіряки, і таджикки, і українці, і білоруси — всі як один, впали навколішки, поцілували землю, — і повіриш, заплакали ми, як діти. Стоять серед неораного поля навколішках — бородаті, в шинелях, забрьохані, без шапок... Ех!»⁹.

Така ж непорушна братня єдність радянських народів була характерна і для нашого радянського тилу. Біля станків і верстатів, на колгоспних полях невтомно трудилися сини й дочки всього нашого народу, забезпечуючи всім необхідним фронт, разом з фронтовиками куючи перемогу над ворогом.

В романі Натана Рибак «Зброя з нами» розповідається про напружену роботу на Уралі робітників одного з військових заводів, евакуйованого з України,

⁹ Олесь Гончар. Твори в п'яти томах, т. I, Київ, «Дніпро», 1966, стор. 36.

про сердечну дружбу і взаємодопомогу росіян, українців і башкирів. Про дружбу уральських і запорізьких робітників розповідає в своєму романі «Надія» Яків Баш. Про трудовий героїзм робітників, колгоспників Казахстану, про їх сердечну і ширшу допомогу евакуйованим з східних областей країни пише в своїх творах український прозаїк Олесь Донченко.

І ми перемогли. Переміг соціалізм, його ідеологія, його збройні сили, перемогла ленінська дружба народів. З законною гордістю писав Володимир Сосюра:

Вона прийшла, прийшла визволення година,
Як музика, братам звучить гарматний грім,
Із попелу встає прекрасна Україна,
І руки простяга визвольникам своїм.
Це з Росії брати, з Алтаю і Уралу,
Із Азії долин, де віє вітровій,
З Кавказу синіх гір, у вихорі металу
Несуть тобі весну, коханий краю мій¹⁰.

На всіх етапах існування Радянського Союзу наша література переконливо показувала, що пророчі слова Тараса Шевченка про «сім'ю велику, сім'ю вільну, нову» — здійснилися. Нашадки Шевченка в грозові дні Жовтня здобули собі право на вільне життя, яке вони знайшли в одній родині народів Радянського Союзу. Міцність цієї дружби, цього кровного родства пройшла всі випробування як в часи мирної творчої праці, так і в грізні роки фашистської навали.

Велика фронтова дружба, скріплена спільністю мети, а в боях з фашизмом і кров'ю, єднала бійців Радянської Армії з кращими синами всіх народів Європи. Як рідних і найдорожчих друзів зустрічали трудящі за рубезами нашої Вітчизни радянського воїна, який, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, прийшов на допомогу уявлених фашизмом трудящим інших країн. І ця тема знайшла своє досить широке відображення в літературі в найрізноманітніших аспектах. Кращі сини народів Європи билися проти фашизму поруч радянських воїнів у партизанських загонах, в підпіллі як радянському, так і на своїй землі, радянські воїни були учасниками партизанської боротьби у Франції, Чехословаччині, Польщі, Норвегії, в інших країнах, міцніла бойова братерська солідарність трудящих і прогресивної інтелігенції всього світу. Радянський воїн за межами своєї країни виступав прапороносцем ідей братства і дружби, волі і незалежності, найпрогресивніших комуністичних ідеалів. Назавжди розвіювався туман ворожої брехні про страшне пугало «комунізму».

В рядах фашистської армії були й насильно мобілізовані чехи, словаки угорці, поляки, румуни, які не хотіли воювати проти нас. І тоді вони або ж переходили на нашу сторону, або ж потай від німців допомагали нам найрізноманітніми способами.

Цій темі теж присвячено цілий ряд творів як художньої так і мемуарної літератури.

¹⁰ В. Сосюра. Вибрані твори. М., Укрдержвидав., 1944, стор. 177.

... Насильно мобілізованим до фашистської армії прибуває на нашу землю в Харків чех Ян Пахол, — розповідає в романі «Вони не пройшли» Юрій Смолич. Тут він знаходить зв'язки з нашими людьми і допомагає їм в чому лише має змогу, пильно придивляючись до подій, аналізуючи все, що відбувається навколо його. Ян приходить до непохитного висновку, що Радянський Союз «не може не перемогти»:

«— Радянський Союз це не просто собі держава, а це держава держав, бо в Радянському Союзі є багато держав і всі вони, як одна, держава. Це зветься у вас дружба народів»¹¹.

Словак Ян Налєпка переходить на нашу сторону і стає командиром словацького партизанського загону в складі прославленого партизанського з'єднання генерала О. Сабурова, про що розповідає сам Олександр Миколаєвич Сабуров у книзі спогадів «Відвойована весна». Цей вірний син словацького народу посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

Славну сторінку в літопис боротьби проти фашизму вписали і ті радянські люди, які силою обставин потрапляли на територію ще окуповану німецькими фашистами Чехословаччини, Югославії, Польщі, Норвегії, Франції, чи й на територію самої Німеччини. Скрізь, куди б доля не закинула радянську людину, вона ставала організатором всенародної боротьби проти окупантів.

Таким виступає лейтенант Михайло Скиба, який, будучи засуджений фашистами до страти, тікає з ув'язнення на невеличкому рейнському буксирі і організовує інтернаціональний партизанський загін (роман Павла Загребельного «Європа 45»).

Перші непевні кроки по ворожій землі. Але ось у руках у нього зброя, і він знову відчув себе воїном, для якого мета життя — боротьба з фашизмом.

«Ми, партизани, — переконавшись, що мовчазного голландця нічим не розворушити, сказав Михайло. — Американець Юджін Вернер, англієць Кліфтон Честер, Француз Раймонд Ріго, німець Гейнц Корн, поляк Генрих Дулькевич, чех Франтішек Сливка, італієць Піппо Бенедетті і, нарешті, я — українець, радянський офіцер Михайло Скиба»¹².

Перед нами в повному розумінні цього слова інтернаціональний партизанський загін, в якому кожен по-своєму розуміє мету боротьби з фашизмом, кожен по-своєму оцінює події, які відбуваються навколо нього. Але разом з тим їх єднає загалом спільна мета — боротьба з фашизмом.

Оце глибоке розуміння спільності мети в боротьбі з фашизмом дає змогу знайти спільну мову радянським розвідникам з мадяром Золтаном Кекерчені і на протязі двох діб переховуватись в підвалі його будинку (повість Петра Гуріненка «Дві доби мовчання»). Ці глибокі інтернаціональні почуття об'єднують в спільній боротьбі з ворогом радянських, французьких та німецьких робітників (роман Вадима Собка «Почесний легіон»). Боротьба проти спільного ворога приводить угорського художника Ференца до радянських бійців, які штурмували Будапешт, і заявити їм:

¹¹ Юрій Смолич. Твори в шести томах, т. 4, Київ, Держлітвидав України, 1959, стор. 158.

¹² Павло Загребельний. Європа 45. Київ, «Радянський письменник», 1962, стор. 269.

«Врятуйте Будапешт. Крім вас... більше нікому» (трилогія Олеса Гончара «Прапороносці»). І так в цілому ряді творів.

Тема дружби радянських народів — одна з центральних тем радянської літератури. Тут конспективно згадано лише твори, присвячені подіям часу Великої Вітчизняної війни. Загалом же ця тема знаходить своє широке висвітлення в поезії, прозі та драматургії на всіх етапах життя народів Країни Рад. Бо ж непорушна дружба багатонаціонального радянського народу — запорука нашої сили і могутності, запорука успішній побудові Комунізму та непорушного миру на землі.

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева как первый русский реалистический роман

Э. ИГЛОИ

Отдельные элементы реалистичности встречаются уже в самых ранних русских литературных памятниках. Но первым произведением, целиком выдержанным в методе критического реализма в русской литературе мы считаем именно знаменательную книгу Радищева, создателя первого образца русского социально-политического романа. Его современник Карамзин — столп русского сентиментализма — безусловно писал более доходчивым и утонченным языком и среди читателей своего времени пользовался огромнейшим авторитетом. Но все же, по сути дела, Радищев сделал больше Карамзина ради того, чтобы русская литература была не только красивой, но и исторически правдивой. Радищев в одном лице и теоретик и практик: своих жизненных впечатлений и опытов он формирует в такой художественной форме, которая живо воспринималась всеми передово мыслящими людьми своего времени. Радищев по своему мировоззрению превзошел не только своих современников, в том числе и французских энциклопедистов, но и крупнейших корифеев русской литературы XIX века, которые, давая точный диагноз болящему русскому обществу, нигде не видели путь выхода. Радищев же требует именно решения коренных проблем своего общественного порядка: он вызывает к народной революции, путем восстания народных масс предлагает свернуть с пути самодержавия и крепостничества.

По своей форме книга Радищева имеет облик дневника путешественника. Однако в этой книге разбросанные, раздробленные, но внутренне логически связанные и следующие друг за другом потрясающие картины русского самодержавия и крепостничества объединены переживанием и впечатлениями главного героя путешественника, который размышляет и рассуждает о всех возможных путях, которые могли бы привести к освобождению народа. Дело не в том, что путешественник взвешивает и колеблется в решении, а в том, что писатель точь-в-точь заставляет своего путешественника (может быть автобиографического характера?) перечислять все планы и намерения, которые волновали тогдашнее передовое русское общество. Рисуя драматические картины русской крестьянско-крепостнического быта, он тут же выдвигает и такие пла-

ны, в доброжелательности которых сомневаться не за что, но которые пытались только иллюзиями либералов и последователей французских энциклопедистов и ни в коем случае не могли бы привести к решению единого коренного вопроса: освобождению русского народа. К такому выводу, окончательному и вполне законному, путешественник приводит читателя только в конце книги. Именно с таким выводом можно и следует отождествить миропонимание Радищева-революционера.

Если выше книгу Радищева мы называли дневником, на каком основании можно его считать одновременно и социально-политическим романом? В книге описывается не одно путешествие, не один маршрут, а суммируются все впечатления, которые только Радищев (или путешественник) переживал в течение своей горькой жизни. Такое художественное обобщение, нарисованные типические характеры в типических обстоятельствах — вот то основание, на котором зиждется наше утверждение, что именно книга Радищева стоит у истоков русского реалистического романа.

В этом романе переплетаются четыре, неотрывные друг от друга темы: критика крепостного права; критика самодержавия; показ высокого морального облика народа и, проблема народной революции.

«Радищев — рабства враг» — как нельзя лучше характеризует А. С. Пушкин то чувство, которое определяет собою идейное содержание «Путешествия». Радищев выставляет в своей книге целую вереницу врагов народа, угнетателей всех мастей. Он разоблачает бесчеловечный бюрократизм чиновников, администраторов, лицемерие и злоупотребление властью знати, несправедливость судопроизводства, взяточничество купечества и чиновников. Но больше всего внимание автора привлекают помещики-крепостники, главнейшие виновники народного горя.

Приводя ряд потрясающих эпизодов, автор дает почувствовать всю опасность и отвратительность крепостнической системы. Уже в четвертой главе «Любань» обнажается бесчеловечный характер подневольного крепостного труда. Путешественник с удивлением видит, что крестьянин в воскресенье пашет свою землю, ибо в остальные дни недели он ходит на барщину, то есть работает для помещика.

Но еще хуже живут крепостные другого помещика, который уподобил своих крестьян «Орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим», и тем самым он заслужил в своей дворянской среде репутацию умелого хозяина.

В главе «Медное» автор с горечью и возмущением рассказывает о судьбе одной крестьянской семьи, которая была продана помещиком.

В деревне «Пешки» путешественника поражает убогая крестьянская изба, куда он зашел пообедать. При виде той невероятной нищеты, которая раскрывается перед глазами путешественника, он приходит в негодование. «Что оставляют помещики крестьянам?» — задает Радищев гневный вопрос и тут же отвечает на него словами, потрясающими силой разоблачения: «...то, что отнять не можем — воздух». Крестьяне работают не только днем, но и вечером, коряжат своих угнетателей, но сами голодают. Хозяйка той избы, в которую путешественник зашел пообедать, подослал к нему маленького сына попро-

сечь кусочек «боярского кушанья». «Почему боярское?» — спросил путешественник. «Потому и боярское, — ответила крестьянская баба, — что нам купить не на что, и бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги».

Подобные эпизоды из жизни крепостного крестьянства убедили путешественника в том, что между крестьянством и помещиками существуют непримиримые противоречия. Он приходит к выводу, что корень зла скрывается не в безнравственности отдельных помещиков, а в самой крепостной системе, которая античеловечна по своей природе. Не только крепостные, но и крепостники становятся жертвами этой системы, по крайней мере, в моральном отношении. Помещики в погоне за богатством теряют человеческий облик, лишаются человеческого достоинства. Иначе сказать, аморальность господствующего класса обусловлена социальным бытием и поэтому борьба против крепостничества одновременно должна означать и борьбу против самодержавного строя.

Радищев был учеником французских энциклопедистов, но далеко не полностью разделяет их общественно-политические воззрения. Он, например, отвергает всякую форму монархии, в отличие от своих учителей, которые в определенных исторических и географических условиях не только примиряются с монархической системой правления, но даже считают ее наиболее подходящей. Монтескье, вдохновитель политической доктрины французских энциклопедистов, например, выдвинул свою знаменитую теорию трех типов государственного устройства, различая республиканский, деспотический и монархический строй.

Республиканский строй — по мнению Монтескье — идеален, но не реален. Деспотия — отвратительная, противная человеку форма правления и поэтому ее надо уничтожить. Монархия с просвещенным монархом во главе наиболее подходящая форма государственного устройства.

Эту абстрактную, метафизическую теорию, которая не считалась с потребностями и возможностями народов, самодержцы использовали в своих целях. И Екатерина II, опираясь на авторитет Монтескье, выступала под маской «просвещенной», либеральной и идеальной для России императрицей.

Радищев отвергает не только такое умствование Монтескье, а вместе с тем отрицательно относится и к теории других энциклопедистов — Гольбаха, Гельвеция, Дидро и Вольтера, которые тоже выступали апологетами просвещенной монархии, черпая политические воззрения на государства из труда Монтескье «Дух законов».

Более радикально трактует вопрос о форме государственного устройства Руссо, учение которого на Радищева оказало большое влияние в лейпцигские годы. Но в 80-е годы Радищев уже постепенно отходит и от социологического учения Руссо, ибо его республиканские воззрения, столь симпатичные русскому мыслителю, были ограничены. Дело в том, что наиболее идеальной формой правления Руссо считал республику, но ее осуществление — по мнению его — возможно только в странах с наибольшей территорией. Для больших же государств и Руссо предлагает монархическую форму государственного устройства.

Радищев видел дальше передовых русских и западноевропейских про-

светителей своего времени. Он не мог согласиться ни с Новиковым, который хотел бороться с екатерининским режимом только посредством просвещения, ни с Фонвизиним, который питал надежду на будущего идеального монарха. Радищев настаивал на том, что мало обличать зло, надо уничтожить. Это стремление писателя ярко раскрывается в «Путешествии», в котором он выходит с открытым забралом на борьбу против самодержавия. Разоблачение самодержавия пронизывает всю книгу, но оно достигает наивысшей силы в главе «Спасская Полесь», в которой описывается аллегорический сон путешественника. Здесь Прямовзора с гневными словами, полными презрения, обрушивается на монарха, называя его первейшим разбойником, первейшим предателем, первейшим нарушителем мирной жизни, лютейшим врагом народа. Не щадит она и окружение монарха — «гордую чернь», «злодеев», ничтожных и корыстных вельмож, ведущих паразитический образ жизни.

«Злых царей» обличает в XVIII веке не один Радищев. Однако «злым царям» другие писатели противопоставляют царей «добрых». Радищев был далек от идеализации «народного царя» вроде Пугачева. «Нет злых и добрых царей!» — утверждает он в главе «Спасская Полесь». Царская власть по своей природе является антинародной, противочеловечной формой правления, ибо интересы народа и царя различны. Поэтому монарх никогда не сможет встать на сторону народных масс, не сможет осуществить требования Прямовзоры: изгнать «гордую чернь», то есть лстивых вельмож и призвать «себе в друзья» простых сынов народа. Доказывая бесполезность веры в возможность усовершенствования монархической власти, писатель приводит такую деталь: Прямовзора дает царю кольцо, которое должно напоминать ему о его правах и обязанностях. Проснувшись, царь не находит этого кольца на своей руке. Тем самым автор дает понять читателю, что такое волшебное кольцо существует только во сне.

Аллегорическая картина встречи Истины-Прямовзоры с монархом должна была заставить читателя сделать вывод: в условиях абсолютистского строя воля народа немислима. Свободу должен завоевать сам народ.

Но разве имеются в народе, в крепостном крестьянстве те качества, те силы, которые помогут ему осуществить свою вековую мечту о свободной жизни? На этот вопрос Радищев дает утвердительный ответ посредством раскрытия ценных задатков и качеств представителей простого народа. Он впервые в истории русской литературы отводит роль главного героя художественного произведения народу. Классицисты считали народ «низкой» темой, недостойной поэтизации. Мужика изображали только в комедии или басне. Но и в этих «низких» жанрах мужик был комическим персонажем, либо объектом дворянской забавы, или, в лучшем случае, предметом жалости. Искусство сентиментализма уже ценило человека независимо от его социального положения и происхождения, но главным героем избрало все-таки представителя третьего сословия — мелкого буржуа. Если же представители сентиментализма изображали народную жизнь, то приукрашивали ее, стирали противоречия между дворянством и крестьянством.

Возведя русского крепостного крестьянина на пьедестал героя художествен-

ного произведения, Радищев совершил новаторский переворот в эстетике. Он без прикрас показывает рабское положение крепостных. Но писатель не удовлетворяется выражением сочувствия к обездоленным, а героизирует их, видя в них ту реальную силу, которая сделает их истинными патриотами, гражданами отечества, настоящими творцами будущего. Радищев сумел увидеть нравственную красоту народа, моральное превосходство его над помещиками. Мораль понимается писателем в широком плане. Это и образ жизни, и отношение к другим людям и, главным образом, отношение к труду.

Особенно важное значение получает в изображении Радищева трудовая психология народа. В главе «Любань», приводя разговор с крестьянином, который работает на себя только в воскресенье и по ночам, Радищев подчеркивает, что труд спасает этого крестьянина не только от голодной смерти, но и от нравственной гибели. Радищевский крестьянин, несмотря на всю тяжкую участь, полон достоинства. Ему чужды смирение и унижение. Он со всей отчетливостью осознает свое положение. Поэтому, когда еще наивный путешественник начинает ему объяснить, что «мучить людей законы запрещают», тот с нетерпением обрывает бесполезный разговор с бариним и только коротко отмечает: «Мучить? Правда; но небось барин, не захочешь в мою кожу». В этом лаконичном, полном едкой иронии замечании крестьянина выражена вся глубина классового антагонизма.

Еще более отчетливо вырисовывается моральный облик представителей народа в главе «Едрово», где рассказывается о встрече путешественника с крепостной девушкой Анютой. Судьба этой девушки вызывает в путешественнике не жалость и сочувствие, как например, судьба Лизы в Карамзине. Анюта производит на путешественника иное впечатление: он восхищается ее гордостью, растроган ее строгостью, правдивостью ее суждений, чистотой ее мыслей и чувств. Основа ее нравственного самосознания — труд. Именно труд является основным источником для крестьян — утверждает Радищев.

Возьмем другой пример. В деревне «Городня» путешественник видит несколько плачущих женщин, детей и стариков, которые провожают рекрутов. Среди этих людей внимание путешественника привлек к себе один молодой человек, казавшийся веселым. Это было крепостный интеллигент, который когда-то по воле «человеколюбивого помещика» воспитывался вместе с барским сыном. Они учились вместе за границей, и старый барин обещал молодому крепостному дать вольную по возвращении домой. Однако, во время пребывания юноши за границей старый помещик умер, а своевольная жестокая жена молодого помещика не терпела друга своего мужа и дбилась того, чтобы крепостного интеллигента отдали в солдаты. Этот молодой человек сознателен, не трус и не подхалим. Он ясно осознает, что является человеком, «всем другим равным» и поэтому питает жгучую ненависть к своим учителям.

Высокий моральный облик народа раскрывается и в главах «Чудово» и «Зайцево», но пожалуй, самая глубокая вера в творческие возможности русского народа, в его созидательную энергию выражается в последней главе книги. Эта глава посвящена памяти Ломоносова. Именно Ломоносов является в представлении Радищева олицетворением творческих сил, талантливости

русского народа. Писатель считает своего предшественника великим философом, и поэтом-гражданином. Правда, он не может простить Ломоносову, что он в своих хвалебных одах восхвалял монархов. Однако, решающий вывод, к которому Радищев приводит читателя, заключается в том, что народ является залогом лучшего будущего, но он получит свободу лишь в том случае, если сам завоеует ее. Стоит только вопрос, как искоренить зло, как освободить народ?

На этот вопрос Радищев в разных главах книги дает различные ответы. Мы думаем, что не стоит раздумывать о том, колебался ли Радищев в ответе на этот вопрос. Показывая эпизоды из народной жизни и отношений помещиков и крестьян, он вполне логически «проверяет» теории о смягчении угнетения народа и о путях, приведших народ к полному освобождению. Он вполне закономерно и открыто рассеивает иллюзию тех передовомыслящих людей того времени, которые сочувствовали народу, но в то же время боялись его, хотели исключить народ из решения его судьбы.

Уже самые попытки «освободить народ» и одновременно сохранить монархическую систему правления свидетельствуют о том, насколько серьезно ставился этот вопрос в тех кругах русской интеллигенции, которые чувствовали и угрызение совести и ответственность за судьбу русского народа и вместе с тем желали сохранить монархию. Всех этих «спасителей» народа Радищев как бы загнал в тупик, достойно оценивая их добросердечие и в то же время доказывая бесплодность их самых благородных намерений.

Новаторством Радищева мы считаем не столько прямое разоблачение самодержавия и крепостничества, сколько критическое отношение к различным социально ограниченным попыткам освобождения русского народа. Путешественник проходит страдальный путь, пока не приходит к единственно правильному выводу. На этом пути можно наметить несколько вех.

В «Любани» и «Пешках» путешественник неожиданно сталкивается с ужасающей картиной жизни крепостных. Здесь дана резкая критика крепостничества. Однако, к какому выводу приходит путешественник? В «Любани» он вспоминает о пощечине, которую дал своему слуге и, желая наказать себя, предается *самобичеванию*. В «Пешках» он *взывает к совести* «жестокосердного» помещика.

Такое мнимое решение коренных вопросов русского общества было типично для умеренных дворянских кругов, которые выступали против крайностей крепостничества со слезливым раскаянием. Но дворянские слезы — утверждает Радищев — не дадут свободу крестьянам, поэтому самобичевание и раскаяние помещиков ни гроша не стоят.

Глава «Чудово» показывает другой путь, тоже типичный для оппозиционно настроенных дворян — *путь ухода от общественной жизни, отказа от борьбы со злом*. В аллегорической картине разговора бога с путешественником в этой главе Радищев резко обличает философию ухода от жизни, как философию трусов.

Может быть, целесообразно *открыть истину монарху*, чтобы тот установил законность правления — ставит вопрос Радищев в главе «Спасская Полесь». Но, оказывается, что злоупотребления в монархическом государстве не слу-

чайные явления, а носят всеобщий характер и поэтому надеяться на то, что царь сам сделает что-то для народа, не имеет никакого основания.

Может быть, *просвещение* избавит народ от рабства? Этот вопрос поднят писателем в главах «Подберезье» и «Торжок». Однако, Радищев доказывает, что просвещение в рамках феодально-абсолютистского строя не может быть доступным поработанному народу.

Быть может, стоит *обратиться за идеалом к прошлому*? — спрашивает путешественник в главе «Новгород». Но «как ни тужи отвечает он, — Новгорода по-прежнему не населишь».

В главе «Зайцево» Радищев показывает полную бесплодность надежд на то, что можно помочь крестьянам *честной службой* в государственных учреждениях. Честный чиновник Крестьянкин потерпел полное поражение в борьбе с реакционными чиновниками и вынужден был оставить место «истинному хищному зверю». Оказалось, что в крепостническом государстве две справедливости: правда дворянская и правда крестьянская.

В главах «Крестцы» и «Яжелбицы» поднят вопрос о нравственности дворян. Один добросовестный и просвещенный дворянин разворачивает перед путешественником свою *теорию воспитания дворян*. Но дальнейшие опыты путешественника доказывают, что в обществе, где правящий класс потерял человеческий облик — *одно воспитание не поможет*.

Может быть, единственный путь освобождения крестьян от рабства заключается в *реформах сверху*? Глава «Хотилово» посвящена показу краха этих либеральных иллюзий. В «Проекте в будущем», найденном путешественником, неизвестный автор приводит два аргумента для того, чтобы убедить своих соотечественников в необходимости освобождения крепостных сверху: во-первых, крепостной труд является недостаточно производителен; во-вторых, все люди от природы равны. Значит автор «Проекта. . .» сочувствует угнетенным крестьянам, но в то же время боится их и стремится предупредить дворянство о грозившей ему опасности.

Радищев не может согласиться с этим «Проектом в будущем». Он устами путешественника разоблачает иллюзорность либеральных упований и показывает, что между помещиком и крестьянином «никакой не можно быть связи разве насилие».

В последующих главах Радищев окончательно срывает покровы с утопических иллюзий возможности освобождения крепостных мирным путем; он приводит путешественника к окончательному выводу, что рабство следует уничтожить путем *народной революции*, которая сметет с земли не только царя, но и всю систему самодержавия. Он надеется на то, что на развалинах деспотизма возникнет республиканский строй, основанный на дружбе и сплочении народа

Следовательно, не самобичевание кающегося дворянина; не уход от мира; не надежда на закон и просвещение или воспитание при сохранении монархической формы правления; не возврат к прошлому; не вера в «хорошего царя» или в осуществление освобождения народа сверху путем проведения реформ, а народное восстание, народная революция способны уничтожить рабство и гнет народа.

Радищев как «зритель без очков» «прямо взирал» на окружающую его действительность, изобразил ее правильно и точно, ничем не приукрашивая и ни в чем не искажая того, что он видел и слышал. Будучи воодушевленным чувствами социальной справедливости, он выносил безжалостный приговор самодержавно-крепостническому миру. При этом он не просто описывает, а обобщает огромное множество фактов, стремится показать в частном и единичном общее и типическое. Он изображает человека, и прежде всего путешественника, во всей конкретности его чувств и переживаний, показывает, что жизнь и характер человека, его психика обусловлены окружающей его обстановкой, общественной средой, исторической действительностью.

Такое изображение действительности, даже при наличии в книге некоторых элементов сентиментального стиля, позволяет безоговорочно причислить Радищева к великой плеяде русских писателей-реалистов.

Йожеф Этвеш и Н. В. Гоголь

(О некоторых типологически сходных чертах романа Й. Этвеша
«Деревенский нотариус» и поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»)

К. А. ШАХОВА

В широко известной монографии А. А. Елистратовой «Гоголь и проблемы западноевропейского романа» глубоко и доказательно показаны типологические связи между поэмой Гоголя «Мертвые души» и произведениями таких великих романистов, как Фильдинг, Вальтер Скотт, Бальзак, Диккенс и Теккерея. Такое типологическое сравнение возможно и при сопоставительном анализе «Мертвых душ» и выдающегося социального романа классика венгерской литературы Йожефа Этвеша «Деревенский нотариус» — подлинной эпопеи жизни Венгрии в первой половине XIX века.

Сатирический роман Этвеша вышел в свет в 1845 году. На венгерских читателей, особенно прогрессивно настроенную молодежь, книга произвела сильное впечатление. В атмосфере предреволюционных 40-х годов этот первый в Венгрии социально-критический реалистический роман имел не только эстетическое, но и политическое значение. Взрывная мощь этого серьезного и резкого произведения, которое безжалостно срывало покровы с самых мрачных и отталкивающих сторон исторически изжившего себя общественного строя, была такова, что даже десятилетия спустя книгу опасались печатать в неурезанном виде. Так, например, переводчик Адольф Вайльхайм в немецком тексте «Деревенского нотариуса», изданном в 1876 году в Лейпциге, сделал купюры, смягчил или переиначил особенно резкие критические места. Этвеш был первым венгерским романистом, который с такой полнотой, так масштабно и художественно показал острые классовые конфликты эпохи и главный из них — конфликт между баринем и мужиком, помещиком и крепостным крестьянином.

В момент выхода романа в свет Этвеш был признанным главой парламентской оппозиции, точнее ее централистской группировки. Централисты выдвигали лозунги буржуазного прогресса, требовали кардинальных перемен в экономической жизни Венгрии, которые были невозможны при существующем фео-

дальном землевладении, подневольном труде крепостных крестьян, устаревших формах дворянского самоуправления в комитатах. Этвеш и его сторонники ополчились против дворянского самоуправления, этой цитадели венгерского феодализма. Оно означало неограниченную по существу власть магнатской верхушки, коррупцию, сервизм во всех выборных органах, самое свирепое полицейское насилие, произвол исправников и жандармов, чинящих над народом суд и расправу. Политико-экономическая программа Этвеша, его общественные и этические воззрения и нашли свое художественное отражение в реалистической сатире «Деревенский нотариус».

Без труда обнаруживаются в этом романе черты, роднящие его с произведениями просветительского реализма. Мы можем сослаться тут на интересную мысль А. А. Елистратовой, высказанную ею об особенностях романа русского, но вполне соотносимую с венгерской прозой рассматриваемого нами периода. Исследовательница пишет: «В силу своеобразного синкретического развития реализма в русской литературе XIX в. в его стремительном и мощном развитии как бы сдвигались, совмещались во времени или во всяком случае выступали гораздо менее расчлененно, обособленно те этапы, которые в большинстве литератур Западной Европы более отчетливо сменяли друг друга или противостояли друг другу. Социально-историческая почва для Просвещения как общественно-политического и идейного течения сохранялась в России по крайней мере до 60-х годов XIX века включительно. Просветителями революционно-демократического направления были и Белинский, и Герцен, и Добролюбов, и Чернышевский, хотя конечно в новых всемирно-исторических условиях XIX века их просветительство было во многом существенно отличным от западно-европейского, предшествовавшего Великой Французской Революции и ее подготовившего»¹. Далее автор указывает, что в русском революционно-демократическом просветительстве отсутствуют многие идеалистические иллюзии в понимании закономерностей исторического развития, обнаруживается «иное, гораздо более глубокое понимание роли народа в истории».

Что касается особенностей революционно-демократического просветительства, о котором пишет А. А. Елистратова применительно к русской литературе, то аналогией ему в литературе венгерской мы считаем творчество Петефи, которое, конечно, нельзя ограничить только просветительством, но в котором элементы просветительской идеологии и художественного метода ясно видны. Первую же часть приведенной цитаты мы считаем возможным соотнести с венгерской литературой «эпохи реформ». Этвеш всем строем своего романа близок к тем писателям-просветителям, которые ставили перед литературой высокую задачу (воспользуемся словами Петефи) «просветить и облагородить народ», распространить в нем идеи, которые должны повести его к счастливому и справедливому будущему. Этой задаче подчинены многие средства в книге венгерского писателя. Он хлещет бичом сатиры чванливых и невежественных, жестоких и подбострастных дворян, он борется против воинствующего мрако-

¹ А. А. Елистратова. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., «Наука», 1972, стр. 34.

бесия и самодурства власть имущих, лени и нерадивости хозяев земли, алчности и лжи чиновников-бюрократов. Он выступает последовательно и неуклонно против самых вопиющих фактов самоуправства бар, против кровавых расправ над беззащитными крестьянами, против устаревших средневековых или, как он их называет с горькой иронией, «романтических» законов, действующих в середине XIX века в «просвещенной» Венгрии, против страшных развращающих человеческую душу насилием и жесткостью тюрем.

Роман Этвеша вобрал в себя многие достижения европейской литературы 30—40 годов XIX века. Писатель был хорошо знаком с произведениями французского и английского критического реализма, которые давали столько примеров изображения социальных отношений, художественного воплощения общественных типов — от различных «Физиологий», нравоописательных произведений, печатавшихся в газетах и альманахах, до знаменитых «Очерков Боза» Диккенса, от романов Бальзака до «Мертвых душ» Гоголя. Впрочем, именно Гоголя Этвеш в период написания «Деревенского нотариуса» знать не мог. Само упоминание имени русского писателя в Венгрии относится к началу 50 годов прошлого века, тогда же появились первые переводы отдельных его произведений на венгерский язык². Этвеш не мог до написания «Деревенского нотариуса» познакомиться с «Мертвыми душами» и на немецком языке, ибо первый перевод великой поэмы русского реалиста появился в Германии в 1846 г. (большинство произведений Гоголя стало известно немецким читателям лишь в нашем веке)³. Но именно с «Мертвыми душами» у романа «Деревенский нотариус» оказывается самое большое число родственных черт. Своим изображением трагического бесправия народа в стране «таблаиро» — феодальной Венгрии, своим сатирическим обличением венгерского дворянства произведение Этвеша типологически удивительно близко к сатире Гоголя. Не случайно большим знаток творчества венгерского писателя, автор лучшей монографии о нем академик Иштван Шётер свое послесловие к одному из последних изданий «Деревенского нотариуса» (1969) так и назвал «Венгерские мертвые души»⁴.

Оба произведения, конечно, отличаются и степенью художественной типизации действительности, и мерою таланта их создателей. Роман Этвеша не стал таким значительным явлением мировой литературы, каким давно признаны «Мертвые души» Гоголя. Но при самом строгом и объективном сравнении романов сходные черты в них обязательно бросаются в глаза. В обоих метод

² Венгерско-русские литературные связи. М., «Наука», 1964, стр. 7.

³ Fremdsprachige Schriftsteller. Leipzig. VEB Bibliographisches Institut. 1972. S. 237.

⁴ Иштван Шётер неоднократно указывает на сходство романов Гоголя и Этвеша: «Если отсталость и грубость мира, показанного в „Деревенском нотариусе“, сравнить с подобным ему безжалостным и мучительным изображением в „Мертвых душах“, то все же картина во втором произведении может быть воспринята как более размытая, юмор в ней купается в человечности». S ő t è r I s t v á n. E ő t v ő s J ő z s e f. Budapest, Akadèmiai kiadó, 1967, 144. old. Говоря о реализме романа Этвеша, Шётер подчеркивает: «Сельский нотариус» (так переведено название романа. — К. Ш.) представляет в венгерских литературных условиях тот же тип романа, что и «Мертвые души». Иштван Шётер. Романтизм. Предыстория и периодизация. — В кн.: *Европейский романтизм*. М., «Наука», 1973, стр. 86.

изображения действительности — критический реализм, при этом в авторских отступлениях часто звучит высокая романтика и пафос. Обе книги сатиричны. Ирония, сарказм характерны для многих их страниц, являются самыми частыми и сильными красками в палитрах обоих мастеров. Оба произведения по-настоящему историчны, погружены в великолепно воссозданную атмосферу конкретно изображенной эпохи. Оба близки тематически. В них дано широкое полотно провинциальной и сельской жизни, изображены феодальные помещичьи усадьбы и нищие крестьянские домишки. В обоих романах звучит гневное осуждение барского произвола, оба разоблачают злоупотребления властью, несправедливость дворянского суда, взяточничество и подлоги, ставшие нормой в обществе собакевичей, коробочек, ноздревых и ньюзоз, мачкахази, ретине. Не случайно сюжетобразующей основой обоих произведений является уголовное преступление, а главным двигателем интриги — хитрый и напористый негодяй, стремящийся всеми средствами достичь своей неблагоприятной цели (покупатель мертвых душ Чичиков и тщеславная, одержимая бесом властолюбия супруга вице-ишпана Ретине). Уголовная интрига вовлекает в свою орбиту многих персонажей, давая авторам возможность показать гнилость изображаемого общества во всей ее неприглядности. Достаточно сравнить галерею великолепных сатирических портретов русских крепостников и очень выразительные, многокрасочно, сочно выписанные образы венгерских помещиков, густо населяющие страницы «Деревенского нотариуса». Среди них мы найдем настоящих «братьев-близнецов» или «близких родственников». Вице-ишпан Рети напоминает гоголевского губернатора. У Собакевича есть несколько венгерских кузенов. Это и исправник Ньюзоз, и все те свирепые и мрачные судьи, которые во время процесса над разбойником Виолой так жаждут крови мятежного крестьянина. Да и у Ноздрева есть родня в книге Этвеша. Черты глуповатого и слащавого Манилова или тупой Коробочки свойственны персонажам и венгерского классика. Конечно, у героев «Деревенского нотариуса» много и неповторимо своеобразного, национально характерного, но доминанта образов русского и венгерского писателей — одна. Весь этот пестрый мир мелких страстей и отвратительных пороков, охваченный жаждой стяжательства, равнодушный к страданиям угнетенного народа — мир обращенный, который не должен, не имеет права на существование.

Идейно-художественная перекличка обоих сатирических романов легко прослеживается во многих сценах, хотя, конечно же, интрига их вполне оригинальна и часто резко отличающиеся моменты заслоняют безусловное сходство этих книг. Но мы не хотим останавливаться на важных отличиях романов. Для нас в данном случае главным является подчеркнуть родственные черты. Хотя нельзя не сказать о том, что в романе «Деревенский нотариус» есть целый ряд выразительно обрисованных положительных персонажей и главными действующими лицами его как раз и являются люди высоких человеческих качеств, самых благородных моральных принципов, неукротимой энергии, мужества и сильной воли. Этвеш впервые в литературе своей страны сделал важным положительным лицом романа крестьянина-бунтаря, бетьяра Виолу, крепостного, восставшего против унижения его человеческого достоинства. Второй централь-

ный персонаж венгерской эпопеи — честный и справедливый деревенский нотариус Тенгей. Как ни парадоксально это звучит, его можно назвать рационалистическим Дон Кихотом. Его житейскими принципами являются идеи и идеалы Просветительства. Гуманизм и демократизм — основа его нравственности, он мудр и логичен. Но Тенгей одинок и обречен в своей борьбе, как Дон Кихот. Он кажется безумцем, потому что осмеливается идти против мнения дворянского большинства. Таких положительных героев (а их число можно было бы здесь увеличить) в первой, законченной части романа Гоголя нет. Положительных персонажей он, как известно, вывел в незаконченной второй части поэмы, на которой исследователи «Мертвых душ» останавливаются обычно менее детально.

Однако и с этой фрагментарной частью русского романа у «Деревенского нотариуса» есть известные точки соприкосновения. Этьеш, как и Гоголь, не мог подняться до понимания неизбежности и необходимости народной революции. Обусловленная целым рядом причин либеральная ограниченность писателя заставляла его искать для преодоления вопиющих социально-политических противоречий времени не революционного, а какого-то иного пути. Поэтому в его книге есть попытка возложить ответственность за демократическое преобразование феодальной Венгрии на плечи образованных молодых дворян, которые сумеют отказаться от постыдной практики своих отцов-крепостников, найти общий язык с крестьянами, вести хозяйство по-новому, умно и рачительно, без алчности и эгоизма, думая прежде всего о благе отечества, нации. Как и у Гоголя, подобное разрешение социальных конфликтов носило утопический характер. И если Гоголь не смог сделать своих добродетельных, гуманных и хозяйственных помещиков такими же живыми и убедительными, какими были его сатирические персонажи, то Этьеш даже и не попытался показать молодых героев — новое благородное и честное поколение — в их практической деятельности. Писатель только поставил перед ними задачу, указал перспективу, но найти реалистическое художественное воплощение своей утопической мечты он не смог.

Нам хотелось бы остановиться на неоднократной образной и эмоциональной перекличке обоих романов, очень интересной и примечательной, хотя ее значение и подчиненное. Так, например, близки между собой своеобразные сатирически интонированные пейзажи у обоих писателей. Вот описание унылого ландшафта, с которого начинается роман Этьеша: «Кто объехал хоть часть нашего тисского алфельда (равнины, степи — К. Ш.) или провел в одном из его уголков хотя бы несколько дней, смело может сказать, что знает его весь. Как в лицах членов некоторых семей, так и здесь в отдельных местностях лишь после продолжительного знакомства с ними становятся заметны какие-то различия. И путешественник, коего сморил сон в карете, трясущейся по песчаной равнине, проснувшись через час-другой, сообразит, что он долго ехал, только по усталым, потным спинам лошадей да еще по тому, что солнце клонится к закату. Он точно так же не сможет запомнить общий вид местности и даже отдельные детали ее, как человек, плывущий далеко в море под туго надутыми ветром парусами.

Тянущиеся вдаль выгоны, чье однообразие нарушает то тут, то там коло-

дезь с журавлем, но без ведра, или аист, вышагивающий вокруг наполовину высохшего болотца; плохо обработанные поля, на которых кукурузу и пшеницу оберегает кроме бога лишь то, что и само воровство впадает здесь в немую усталость; кое-где встречается одинокий хутор, откуда кудлатые дворянги лаем провозглашают святость собственности, а стога сена и соломы, залежавшиеся с минувшего года, свидетельствуют о том, что у владельца либо избыток корма, либо нехватка скотины, — и все это было видно, когда путник закрывал усталые глаза, засыпая в карете, и видно снова, когда он их открывает, пробудившись»⁵.

Возьмем для сравнения первый же пейзаж сельской местности, который мы найдем в «Мертвых душах». Вот, что видит Чичиков, а с ним и читатель, по дороге в имение Манилово: «Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги; кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались выянутые по снурку деревни, постройкою похожие на складенные дрова, покрытые серыми крышами с разными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок, или высовывала слепую морду свою свинья. . . Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже сама погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а кокого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который несмотря на то, что голова продолблена по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки»⁶.

Оба пейзажа изображают ту же картину запустения, застоя, словно края, о которых идет речь, забытые богом и людьми, навеки погрузились в тяжелый, похожий на смерть сон. Оба полны деталей реалистически точных, по-художнически метко схваченных. В обоих великолепно выдержан общий колорит — «однообразный», «усталый», «сонный», «скучно-синеватый», «светлосерый». Описание местности у Гоголя, на первый взгляд, несколько объективнее, чем у Этвеша. В нем нет того авторского внутреннего обращения к читателю, к его опыту, которое есть у венгерского романиста, и которое сразу выдает присутствие автора с его оценивающим взглядом и иронической интонацией. Этвещ, изображая пейзаж Альфельда, вводит читателя в настроение книги, это своеоб-

⁵ Здесь и дальше цит. по изданию: Eötvös József. A falu jegyzője. Budapest, Magyar Helikon 1974. Перевод везде автора статьи.

⁶ Здесь и дальше цит. по изданию: Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. М., Издательство АН СССР, 1951, т. VI, стр. 21—23. Дальше страницы указаны в тексте в скобках.

разный запев повествования. Ни один из персонажей романа еще не вышел на сцену, мы видим окружающее глазами автора.

У Гоголя на «чушь и дичь по обеим сторонам дороги» смотрит Чичиков. И многое мы видим вместе с ним. (Интересно, что Гоголь сначала подчеркнул, что «на все это Чичиков не глядел вовсе» или «на все это Чичиков, впрочем не глядел, зная, что таких видов много на Руси». Затем, во второй редакции романа этих слов уже нет. Можно предположить, что у автора возникло иное представление о том, смотрел или не смотрел его герой в окно кареты)?

Сами слова с оценочным оттенком типа «чушь, дичь», «вереск и тому подобный вздор», «мужики по обыкновению зевали», «погода весьма кстати прислужилась», «гарнизонные солдаты отчасти нетрезвые» и т. п. вписываются в речевую манеру героя, его способ мыслить и изъясняться. Здесь и презрение к бедной, неухоженной природе, ленивым мужикам и толстолицым бабам, и чиновничья «изысканно-приличная», осторожная манера высказывать свои соображения. Но рядом с героем вдоль той же дороги движется и автор, он видит то же, но острее, наблюдательнее, детальнее. Пейзаж у Этвеша не бывает изображен под таким двойным углом зрения, в такой усложненной психологической перспективе.

Но главное у русского и венгерского писателей очень похоже. Их пейзажи в высшей степени реалистичны, точный отбор своеобразных живописных деталей создает обобщенный, почти символический образ определенного жизненного уклада (для большей доказательности этого можно привести другие примеры, — таковы поразительно близкие даже в мельчайших деталях пейзажи деревеньки урядника Ньюзо Гарач и села помещика Плюшкина⁸. Пейзажи всегда идейно и эмоционально насыщены, в них сильна ирония, насмешка, юмор. Наконец, они передают приметы, характерные для природы, архитектуры и т. п. только данной страны, «couleur locale» России или Венгрии. Общая для обоих писателей стилевая черта — любовь к многоступенчатому нагромождению подробностей, возникающих в сознании автора благодаря самым оригинальным и неожиданным ассоциативным ходам мысли.

Характерны для обоих писателей и длинные периоды, часто иронически окрашенные, имеющие широкую идейно-эмоциональную задачу. В «Деревенском нотариусе» в этих периодах словно получает свое ритмическое, интонационное подтверждение вялое, ленивое течение провинциальной жизни, тоска и уныние полуживотного прозябания. Есть в них нечто от мертвящего канцеляризма, патриархальной приверженности к отжившим речениям и словам отжившего феодального мира.

Еще выразительнее образная переключка при описании города Н., куда прибывает гоголевский Чичиков, и города Порвар (Пыльбург), где происходят знаменитые комитатские выборы романа «Деревенский нотариус». Прибыв в город Н., Чичиков отправляется на рекогносцировку. Он осмотрел улицы

⁷ Там же, т. VI, стр. 251

⁸ E ö t v ö s József. A falu jegyzője. 316 old. Н. В. Гоголь. «Мертвые души», стр. 111—112.

губернской столицы, где «мостовая везде была плоховата, он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день. . . » (11) А вот описание города Порвара: «За исключением построек на двух бесконечных улицах, которые пересекают город и тянутся в противоположных направлениях, встречаясь у здания комитата, дома Порвара очень трудно отличить друг от друга, словно каждый хозяин строил свое жилище по одному и тому же проекту. Только несколько домов, среди них комитатский и господские, покрыты черепицей, а остальные стоят под соломенными или камышовыми крышами. Город славен своим благоустройством. Мы можем упомянуть местное корсо для променадов, которое несколько лет назад на деньги, собранные по подписке, проложено на окраине города и обсажено деревьями, наверное, единственными, находящимися под общественным присмотром. С момента своей посадки они больше не растут. Есть еще питомник плодовых деревьев, в котором уцелевшие со времени императора Иосифа три дерева из года в год ждут посадки новых собратьев, а вместо погибших растут только кочаны капусты. Мостовую один проезжий француз счел за баррикады и можно сказать, что в пасмурные дни, как нынешний, она настолько глубоко скрыта под грязью, что о ее существовании могут догадаться лишь те, кто едет по ней в карете» (208—209).

Поражает необыкновенная похожесть выразительных деталей в доме Собакевича и жилище комитатского исправника Ньюзо. «Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. . . Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу» (95). А вот как были украшены стены в жилище Ньюзо. «Стены давно потемнели от табачного дыма и свечного чада, их единственным украшением были портреты мажарских вождей в красных и синих атиллах (все красивые, усатые венгерские мужи с кривыми от могучих мышц ногами, герои с головы до ног, в руке острый буздыган или знамя, а внизу возлеступней подпись, кто таков этот молодец, так что ты мог сразу узнать Атиллу и его брата Буду, словно ты годы жил с ними вместе). . . »(32)

Описание внешности Ньюзо и его жилища блестяще удалось Этвешу, он достигает полной гармонии среды и героя. Здесь, как и в подчеркнутой обыденности негодяя Ньюзо, Этвеш очень близок к манере изображения подобных персонажей у Гоголя. Жилище Ньюзо не случайно напоминает дом помещика Собакевича. Как Гоголь в Собакевиче, в токшонском исправнике Этвеш подчеркивает грубость, подозрительность, ограниченность и какую-то внутреннюю хитрость. Даже уже упоминавшееся сходство картин, украшающих стены жилищ русского и венгерского грубиянов, знаменательно.

Но Ньюзо гораздо страшнее Собакевича. В изображении этого человека

краски сатирические, а не юмористические, ирония звучит как сарказм. Это происходит и потому, что колорит этвешевского романа вообще гораздо мрачнее, чем краски произведения Гоголя. И потому что Ньюзо показан в своих действиях, а действия его отнюдь не так безобидны, как действия гоголевских помещиков. В конце концов, каждый из персонажей первой части «Мертвых душ» предстает перед нами главным образом в своих отношениях с милейшим Павлом Петровичем Чичиковым, а не в своих отношениях с многочисленными кузнецами, плотниками, пахарями — крепостными крестьянами, которых они превратили в мертвые души, а теперь торгуют заезжему ловкачу. Ньюзо же показан писателем во время исполнения своих многочисленных обязанностей карателя, истязателя крестьян Тисарета, Порвара, Гарача.

Как мы уже указали выше, Этвеш не был знаком к моменту написания «Деревенского нотариуса» с «Мертвыми душами» и близость в изображении двух губернских городов, окруженных помещичьими владениями, или убранства дворянского дома, возникла потому, что и в реальной жизни существовало подобное сходство.

Родственны и портреты помещиков в романах Гоголя и Этвеша. И у того, и у другого писателя эти сатирические портреты выполнены необыкновенно точно и тщательно, с мельчайшими, казалось бы, незначительными подробностями, вроде цвета фрака или пуговиц.

Можно было бы привести и другие места, где мы встречаем подобные смысловые и образные совпадения. Но сами по себе они, конечно, ни о чем не свидетельствуют, сходство может быть и случайным. В данном случае мы приводим эти совпадающие места в тексте двух романов как пример постоянной глубокой идейно-образной родственности написанных близко по времени произведений, романов, созданных авторами, исповедовавшими сходные социально-политические убеждения, одинаково нетерпимо осуждавшими феодально-помещичий строй, отличавшимися сатирическим даром.

Впрочем, еще один пример, где нам видится подобная образная перекличка, привести необходимо. Кто не знает замечательного описания быстрой езды из «Мертвых душ», перерастающего в гимн родине? В романе Этвеша тоже есть описание скачки коней, само по себе очень эффектное и эмоционально выразительное, представляющееся нам чем-то большим, чем просто романтическая езда близких друзей Виолы по сумрачным полям сквозь ночной туман на помощь бетьяру: «Лошади скакали так... так! — Иштван не знал, что делать от радости, он щелкал над головой кнутом, подбадривая своих разлюбленных скакунов: — Гнедая, но! — Но, ты! пегая! — Разрази меня господь! — Если еще есть такие замечательные лошади во всей Венгрии!

Плакучие ивы, межевые холмики, одинокий колодезь с аистом летели мимо повозки. Ветер относил лошадиные гривы от разгоряченных шей; пастух сбросил бунду и в развевающейся рубашке, сидя на облучке, словно мчался навстречу вихрю. А кони все неслись, будто земля горела у них под ногами, будто они хотели разорвать грудью пелену тумана, да так, чтобы умчаться вперед прежде чем она успеет сомкнуться у них за спиной» (332).

В этом описании ярко, с большой художественной выразительностью во-

плотилась извечная любовь венгра к коню, восхищение дерзкой силой степных табунщиков. Это одно из самых броских и поэтичных мест в мрачном по общему колориту рассказе об унылой стране таблаиро. И, конечно же, не случайно всю поэзию, удаль, красоту, отвагу Этвеш отдает простым людям. Не случайно, ибо в тексте романа звучит его ироническая фраза о том, что критики обвиняют его в таком сочувствии к мужикам, что и он сам, дескать, омужичился. Но где-то восхищенное описание скачки обретает характер некоего символа — свободы, раскованности, силы и стремления вперед, и совершенно закономерно приходят на память слова Гоголя о птице-тройке. Однако в указанном выше отрывке из «Деревенского нотариуса» есть только эмоциональный намек на ту огромной емкости символическую картину, которая завершает первый том «Мертвых душ». Но и в произведении Этвеша есть замечательные завершающие его строки, снова заставляющие нас вспомнить поэму Гоголя.

Рассказав о том, как сложились судьбы героев романа, автор после прощания с читателем обращается несколько неожиданно с прощальными словами к венгерской равнине, которую он знает с детства: «Прекрасны цепи гор, красиво зеркало вод Дуная, который я так далеко вижу из своих высоких окон, но не говорите мне ничего дурного об украшении моей родины, зеленой равнине. Бесконечная, как воды моря, расстилаешься ты перед нашими глазами, нет твоему простору видимой границы, разве только небо, что возносит над тобой свой голубой купол. Тебя не обрамляет темная горная гряда и восходящее солнце не зажигает на снежных вершинах золотые короны: твои высокие травы не знают косы и сохнут прямо на корню, твои воды немо струятся меж влажных берегов, природа отказала тебе в неожиданном разнообразии, которое вносят конусы гор и причудливые извивы долин; путник, шагающий по твоей однообразной глади, не может найти в душе своей ни одного воспоминания о каких-либо красотах — и все-таки, разве не останавливается он не раз, захваченный, пораженный твоим великолепием. . .

Ты прекраснее всех мощных кряжей, необозримая равнина моей родины, ты, подруга бесконечного моря, зеленая и безбрежная, как оно, где сердце бьется свободно и ничто не застилает наши взоры. Ты образ мадьяров, великая наша равнина. Ты простираешься, зеленая, как надежда, но еще пустая, созданная, чтобы осенить своим плодородием каждую пядь вокруг, но еще голая, силы, которыми благословил тебя господь, пока дремлют, и тысячелетия, что протекли над тобою, еще не видели тебя в полной славе, но сила, хоть и скрытая, жива в твоей груди, сами сорные травы, так изобильно растущие в твоих пределах, вещают твое плодородие, мое сердце твердит мне — близко время твоего цветения. Будешь цвести ты, прекрасная наша равнина, и расцветет народ, что тысячу лет живет на твоих просторах. Счастлива, кто доживет до этого дня. Счастлив и тот, кто может успокоить себя хотя бы той мыслью, что он трудился изо всех сил, чтобы подготовить пришествие этого прекрасного дня». (740).

Это великолепное стихотворение в прозе во славу родины и ее народа своей мажорной тональностью, оптимизмом, верой в будущее глубоко родственно гоголевской поэтической визии грядущей славы, могущества России.

Функция финального абзаца, завершающего остро критический и мрачный по своему общему звучанию социальный роман, на наш взгляд, почти идентична назначению пассажа, замыкающего первый том «Мертвых душ». Бескомпромиссное осмеяние зла во имя торжества добра, мужественная тотальная сатира на все, что мешает расцвету родной земли — в этом пафос обоих романов. И как бы пессимистичны и трагичны ни были отдельные страницы «Деревенского нотариуса», как бы безотрадно не выглядела изображенная в книгах русского и венгерского классиков реальная действительность первой половины XIX столетия, в обоих произведениях живет неколебимая вера в лучший завтрашний день и сильнее всего, наиболее патетично и поэтично выражена эта оптимистическая вера именно в последних строках двух книг, таких родственных по духу, по замыслу и той конечной цели, которую ставили перед собой их авторы.

Анализируя лирическое высказывание Этвеша о будущем Венгрии, оригинальный пандан в прозе к стихотворениям Петефи об Альфельде и Кишкуншаге, нельзя не остановиться на своеобразии авторских отступлений, столь частых в «Деревенском нотариусе». Они близки между собой у Гоголя и Этвеша, венгерский писатель, как и его русский современник, постоянно выступает в качестве комментатора событий, отдельных сцен, образов романа, он вмешивается в происходящее, он мудрый моралист, пытающийся поучать, вызывать на спор и т. д. Вместе с тем, как и у Гоголя, у него нередки поэтические, лирические отступления, в которых раскрывается возвышенный эмоциональный мир художника, его сокровенные думы и чаяния. Этвеш не солидаризируется полностью ни с одним из своих героев, он оставляет за собой право наряду с другими героями, но только чаще и пространнее, высказываться по тем или иным проблемам.

Отличие авторских отступлений Этвеша и Гоголя заключается в том, что гоголевские отступления несут на себе основную идейную нагрузку, ибо нет в его романе ни одного положительного героя (как известно, единственным положительным лицом «Мертвых душ» является смех).

А. А. Елистратова в своем исследовании «Гоголь и проблемы западноевропейского романа» приводит слова Элюара на торжественном заседании памяти Гоголя 4 марта 1952 года в Большом театре в Москве: «Только начиная с 1917 года французы начали понимать пророческие угрозы, которые скрывались за сарказмом и горьким смехом Гоголя. В его массивном искусстве, в его объективных наблюдениях появлялись первые признаки, предвещавшие грозное восстание⁹. Эти слова о том, что Гоголь выступал провозвестником народного восстания в «Мертвых душах», удивительно подходят к определению основного пафоса романа Этвеша. Независимо от субъективных намерений писателя, этот антифеодальный реалистический роман с его суровой сатирой, с его бескомпромиссным отрицанием бесчеловечных порядков в Венгрии, не мог не способствовать пробуждению революционного сознания в венгерском народе. Так же, как в 30-е годы крестьяне читали и толковали «Кредит» Сечени, словно это была обращенная к ним политическая прокламация, всякий читаю-

⁹ А. А. Елистратова. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. стр. 8.

щий венгр не мог не воспринимать в середине 40-х годов в пору ожесточенных политических дискуссий о будущем страны тот могучий заряд отрицания отжившего и потому противоестественного общественного строя, которым была пронизана книга «Деревенский нотариус». И эта революционизирующая роль «Мертвых душ» и «Деревенского нотариуса», книг, написанных авторами, не придерживающимися революционных воззрений, тоже делает оба произведения типологически родственными друг другу.

Die Welt der lebendig gewordenen Gegenstände in Puschkins Prosa¹ („Der Schuß“, „Der Postmeister“)

L. LIEBER

Für die Belkin-Erzählungen von Puschkin ist die Mischung der romantischen und realistischen Züge charakteristisch. „Der Schuß“ und „Der Postmeister“ bilden die zwei extremen Pole. In der ersten Erzählung ist die Charakterdarstellung, die Handlung realistisch, auch ist hier eine symmetrische Komposition zu beobachten, die vor allem den Realismus kennzeichnet. In diesem Werk wendet sich der Schriftsteller gegen die Charakter- und Handlungsschablonen der traditionellen Romantik, die Wirkung der Erzählung ist auf eine neue Art romantisch. Die Überwindung der Romantik wird aber in vollem Maße erst in dem anderen Werk vollzogen, das die vollkommene Eroberung des Realismus verkörpert. Komposition und Sprache, Darstellung von Charakteren und Milieus mischen sich nicht mit der Romantik. Die Romantik und der Realismus stellen die Welt der leblosen Gegenstände viel ausführlicher und in einem viel größerem Kreise dar, als der Klassizismus oder der Sentimentalismus. Für die romantische Haltung ist eine begeisterte Offenheit charakteristisch.² Der Romantiker wendet sich nicht nur an die großen historisch-gesellschaftlichen Erscheinungen, sondern es werden auch die örtlichen Charakteristika bildhaft, durch die Anhäufung der gegenständlichen Welt (*couleur locale*) dargestellt.

Puschkin stellt in der Exposition der Novelle „Der Schuß“ ausführlich das Offiziersmilieu dar, in dem der Held, Sylvio, lebt. In der Erzählung „Der Postmeister“ ist ein viel höherer Grad der Glaubwürdigkeit, der Wahrhaftigkeit, des Reichtums des Lebensmaterials in der Darstellung der einfachen, bescheidenen Umwelt der Helden zu beobachten, als in dem anderen Werk. Die Gegenstände werden in ihrer natürlichen, einfachen Umgebung nähergebracht; der Autor stilisiert kaum. Werden die zwei Novellen aufgrund der Verbindung der Menschen mit den leblosen Gegenständen miteinander verglichen, so ist vor allem in der ersten Erzählung „Der Schuß“, die in der charakterlichen Darstellung des Helden durch Isolierung und Vergrößerung

¹ Die Arbeit wurde im Rahmen einer feierlichen Sitzung anlässlich des 175jährigen Jubiläums der Geburt von Puschkin am Lehrstuhl der slavischen Philologie der Universität „Lajos Kossuth“ vorgelesen

² János Barta: „Élmény és forma“ (Erlebnis und Form), Budapest, Verlag „Magvető“ S. 95—98

der Leidenschaften hervorgerufene romantische, die Lebensintensität steigernde Funktion (Barta 92) zu berücksichtigen. Der außerordentliche Charakter des Helden macht die Handlung, die Situationen gespannt und durchglüht gleichzeitig auch die leblosen Gegenstände seiner Umwelt; sollten sie ihrer Natur nach noch so prosaisch sein, Sylvio hebt sie zu sich empor. Der Mensch des Realismus wird von verschiedenen überindividuellen (naturellen, biologischen, gesellschaftlichen, moralischen) Kräften gebunden. Während Sylvio selbst sein Schicksal gestaltet, seinen Gegner überwindet, die Fesseln der material-gegenständlichen Welt besiegt (und damit wird auch die befreiende Funktion [Barta 92] der Romantik durch seine Persönlichkeit geschaffen), ist Samson Wyrin schon seiner sozialen Lage aber auch den eigenen moralischen Prinzipien unterworfen. Durch die Welt der leblosen Gegenstände wird er stark beeinträchtigt. Die Tür des Husarenrittmeisters Minski wird vor ihm zugemacht. Er ist vom Geld gefangengenommen, aber nicht wie ein Sklave; er hat eine edle moralische Gesinnung, er wendet sich zwar auf der Straße von Petersburg um, um das Geld von der Erde zu heben, tritt es aber vorher mit Entrüstung in die Erde. Sylvio ist dagegen auch moralisch frei. Er kennt nur ein Prinzip, die Befriedigung seiner grenzenlosen Rachsucht. Er bestimmt das Tempo, den Verlauf des Duells, frei, von sich aus, beachtet die traditionellen Regeln nicht und tötet keinen Menschen. Seine Kugel trifft nicht den Grafen, sondern ein Gemälde an der Wand; trotzdem kann kein moralisches Urteil über ihn gebildet werden. Seine Person ist auch deshalb frei, weil sie nicht zwischen die Kategorien des Guten und Schlechten eingeeengt werden kann. Es kann über ihn nur festgestellt werden, daß er ein außerordentlicher Charakter ist, im Gegensatz zu Samson Wyrin, der als erster der „kleinen Leute“ in der russischen Literatur erscheint.

Es ist also zu sagen, daß sich die leblosen Gegenstände, davon abhängig, ob sie in romantischen oder realistischen Werken vorkommen, anders verhalten. Wenn die Gegenstände im literarischen Werk etwas allgemeiner untersucht werden, so ist in erster Linie hervorzuheben, daß sie sich ständig bewegen, da die Bewegung, im Gegensatz zur Malerei und Skulptur, der literarischen Darstellungsweise eigen ist. Die Zeit- und Tiefenstruktur des Werkes ändert sich ständig im Laufe des Lesens, und so sind die dargestellten Gegenstände einer ständigen Umstrukturierung unterworfen. Auf diese Weise bewegen sich auch die scheinbar sich in Ruhe befindenden Gegenstände. Die zwei Erzählungen bilden für die Analyse der Bewegung der Gegenstände ein besonders dankbares Material, da bei Puschkina fast alle Gegenstände ihre Entwicklung, ihre Geschichte haben; im Laufe des Erzählens erscheinen sie wiederholt und erleiden dabei Veränderungen verschiedener Art. Die Aufgabe der Arbeit besteht in der Untersuchung der verschiedenen Bewegungsformen der Entwicklung der Gegenstände.

1. Est kommt vor, daß die Gegenstände immer in einer und derselben Umgebung von Puschkina dargestellt werden; sie bilden miteinander ein bestimmtes, verhältnismäßig bewegungsloses System, und dieses Bild zieht sich durch die ganze Erzählung, oder bis zu einem bestimmten Punkt der Handlung. In der Novelle „Der Schuß“ wird mehrmals der Gegenstand, worauf Sylvio schießt, entweder eine Karte oder ein Apfel, beschrieben, und jedesmal erscheint auch die Umgebung des betreffenden Gegenstandes; das Ziel liegt entweder auf einem anderen Gegenstand oder ist an

einem festgemacht. Die konkreten Gegenstände ändern sich innerhalb des Bildes, aber ihr gegenseitiges Verhältnis bleibt dasselbe. Im Mittelpunkt des Werkes steht die romantische Gestalt von Sylvio, jeder Teil der Novelle steht mit ihr in enger Verbindung, dient dem Näherbringen seines Charakters. Die Funktion der bewertungslosen Bilderreihe besteht in der Hervorhebung, Charakterisierung der zentralen Gestalt. Gleich in der Exposition erfahren wir, daß der Held ein Meisterschütze ist. „Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки* кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы.“³

Puschkin bleibt nicht bei der verallgemeinernden, nicht sehr überzeugenden Bedingungsform, sondern wir sehen noch vor Beginn der Handlung, wie Sylvio tatsächlich das Schießen übt. „Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам“ (241).

Ein ähnliches Bild steht auch am Ende der Novelle. Der Schriftsteller faßt das Werk auf diese Weise in einen Rahmen. Der Erzähler besucht den Grafen, in dessen Wohnung er ein Gemälde an der Wand erblickt, das „... изображала кокой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажеными одна на другую“ (247).

Dieses Bild, das Loch, das von zwei Kugeln geschlagen wurde, erfüllt in der Steigerung der Spannung der romantischen Handlung eine wichtige Funktion. Am Schluß des ersten Teiles steigt der Held in seinen Wagen und verschwindet. Zu Beginn des zweiten Teiles erscheint Sylvio von neuem durch die Entdeckung des Loches; wir erfahren wenigstens, daß er in der Wohnung war. Puschkin bringt seinen Helden nicht unmittelbar näher, sondern es wird stufenweise dessen Erscheinen vorbereitet; er läßt zuerst den Erzähler die Spuren des Dortseins von Sylvio entdecken. Auf diese Weise wird die zentrale Figur von romantischer Heimlichkeit umgeben; der Leser wird gezwungen, die Geschehnisse noch intensiver zu erleben, da er noch ungeduldiger das Erschließen der Ursachen nach dem Erkennen der Folgen erwartet. Der Erzähler ahnt, daß nur ein Mann imstande ist, durch zwei Kugeln ein Loch zu schlagen; seine Phantasie, seine Gedanken kreisen weiterhin, während er sich mit dem Grafen unterhält, um das für Sylvio charakteristische Bild. Er erzählt dem Grafen, daß der beste Schütze, den er je gekannt hatte, seinen Diener eine Pistole bringen ließ, wenn er eine Fliege an der Wand erblickte „Он хлоп, и вдавливает муху в стену“ (247).

Der Sylvio-Charakter des Bildes wird aber auch vom Grafen erkannt, deshalb erkundigt er sich gleich nach dem Namen. Wir erfahren auch das Verhältnis des Grafen zum Sylvio-Bild. In der Exposition wurde erwähnt, daß Sylvio eine Kugel in die andere in der Karte an der Tür schießt.

Im zweiten Teil gibt der Graf eine ausweichende Antwort auf die Frage seiner Frau, ob er eine Karte aus einer Entfernung von dreißig Schritten trafe. „— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем“ (247). (Aus dem Verhältnis des Grafen zum Sylvio-Bild geht hervor, daß sich die Kraftverhältnisse verändert hatten, daß sich der Held schon in einer vorteilhaften Situation befindet.,

* Das Hervorheben durch Kursiv in den Zitaten sind überall von mir (L. L.)

³ Alle anderen Zitate sind aus dem Buch „А. С. Пушкин, Сочинения“ том третий, изд. «Художественная литература» Москва, 1971, стр. 239—240.

Die Bilderreihe verknüpft sich durch jede Wiederholung immer stärker mit dem Helden, immer stärker wird seine wichtigste Eigenschaft, daß er ein guter Schütze ist, hervorgehoben. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Helden, daß er den Grafen am Ende des Duells nicht „körperlich“, sondern psychisch und moralisch besiegt. Das Bild strahlt schon von seinem Inhalt, von seiner Natur her eine Spannung aus; es ist in ihm etwas Außerordentliches, das von dem gewohnten prosaischen Leben weit entfernt ist. Indem es sich mit dem außerordentlichen Charakter von Sylvio vereint, wird die romantische Spannung, die seine Gestalt ausstrahlt, gesteigert.

2. Man findet in den Puschkinschen Erzählungen nicht nur das bewegungslose System der Gegenstände, sondern auch die wiederholte Erscheinung eines und desselben bewegungslosen Gegenstandes. In diesem Falle entsteht zwischen dem betreffenden Gegenstand und den Charakteren ein vom Tempo des wiederholten Vorkommens abhängiger, immer stärker werdender Kontakt. Der Gegenstand wird für den zu ihm gehörenden Charakter und für bestimmte Erscheinungen überhaupt so weit charakteristisch, daß er sie unter Umständen auch vertreten kann.

In der Novelle „Der Schuß“ entsteht ein Kontakt dieser Art zwischen dem Helden und dem Wagen. Dieser Gegenstand erscheint nur zweimal, beim Verschwinden und Erscheinen von Sylvio; so wird der Kontakt leicht hergestellt. Das Verschwinden und Erscheinen des Wagens ist mit dem Verschwinden und dem wiederholten Erscheinen des Helden gleichwertig; das erstere ist sogar geheimnisvoller, ahnungsvoller, romantischer. Am Ende des ersten Teiles verabschiedet sich der Held vom Erzähler. Sylvio „...сел в тележку... и лошади поскакали“ (245).

In der Vorstellung des Lesers assoziiert sich der Held mit dem Wagen. Man sieht nicht Sylvio verschwinden, sondern sein Wagen fährt davon. Im zweiten Teil erblickt der Graf zuerst den Wagen, in dem der Held unerwartet eintrifft, um das Duell fortzusetzen, und erst dann Sylvio in dem düßteren Zimmer bei dem Kamin. „На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек... Я вошёл... и увидел в темноте человека... у камина“ (248). Puschkin stellt in keinem Falle den Wagen ausführlich dar. Die Details würden die Aufmerksamkeit des Lesers von der Herstellung des Kontaktes ablenken.

Im zweiten Teil entdeckt der Erzähler zuerst die Spur des Doppelschusses, der Graf den Wagen, und erst dann erscheint der Held. Dem Ahnungsvollen, Geheimnisvollen folgt auch das Unerklärbare, die Unergründlichkeit der Handlungen von Sylvio. Nach dem abgegebenen zweiten Schuß verschwindet er endgültig. Der Graf erinnert sich daran folgendermaßen: „...он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться“ (250). Das Verschwinden, Erscheinen und Verschwinden des Wagens spiegelt die wichtigen Wendepunkte im Schicksal des Helden wider und ist jedesmal unerwartet, unerklärbar. Den Grund des ersten Verschwindens kennt im ganzen Regiment nur der Erzähler, niemand anderer. Der Leser erlebt dabei auch den Gesichtspunkt dieser anderen. Sylvios erneutes Erscheinen und sein endgültiges Verschwinden bestürzen den Grafen. Der Wagen, der sich nicht bewegt, nicht verändert, erscheint und verschwindet immer in derselben Form, steigert also einerseits das Romantische der Gestalt des Helden, und andererseits ist das Schicksal von Sylvio gewissermaßen in ihn eingeschmolzen.

Die Darstellung des Wagens, als eines bewegungslosen Gegenstandes, kann man

auch in der anderen Erzählung beobachten. Der Gegenstand ist auch hier in dem Sinne bewegungslos, daß in seinem Aussehen keine Veränderung erfolgt (wenigstens bis zu einem bestimmten Punkt der Handlung, bis nämlich Dunja nicht in Petersburg lebt). In dieser Erzählung kann man die Verbindung zwischen dem Wagen und einer gesellschaftlichen Erscheinung beobachten. In der Exposition, wo Puschkin über das bittere Schicksal des Postmeisters, „des kleinen Mannes“ schreibt, wird, unabhängig von Zeit und Ort, die Beziehung zwischen dem Wagen und dem „hohen Rang“ hergestellt. Hier spiegelt die Zugehörigkeit des Wagens das Eigentumsrecht, das Wesen der Gesellschaft wider. Die Handlung spielt in der Gesellschaft der Ränge. Dieses unnatürliche Wesen der Gesellschaft wird von Puschkin noch nicht in grotesken Bildern (wie z. B. bei Gogol „Die Nase“) dargestellt. Während bei Gogol die Konturen der Wirklichkeit deformiert werden, wird hier das Verhältnis zwischen dem Postmeister und dem reichen Verführer seiner Tochter, Minski, in seiner nicht verstellten Wirklichkeit dargestellt. Puschkin erweckt im Leser eine kritische Stellungnahme, Gogol möchte schon verfremden. Wir erfahren, daß der Erzähler ein kleiner Beamter war („Находился я в мелком чине.“) und daß er „негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина“ (269). Der Postmeister (bisher nur allgemein erwähnt) wählt nicht den ärmeren Erzähler sondern den reichen Herrn; er schenkt ihm das Gespann. Puschkin läßt auf diese Weise das traurige Schicksal seines Helden, von Samson Wyrin, voraussehen, der dann nichts Schlechtes ahnend zuläßt, daß der reiche Minski seine Tochter in seinem Wagen entführt. Der Schriftsteller stellt nachher die Verbindung zwischen Dunja und dem Wagen her, und damit wird auf das weitere Schicksal der Tochter hingewiesen: ein Mann von hohem Rang entführt sie in seinem Wagen. Dunja begleitet die Gäste im allgemeinen bis zu ihren Wagen. Das macht sie auch mit dem Erzähler. „Наконец я с ними простился; ... дочь проводила до телеги“ (270). Durch die Herstellung der Verbindung wird auf die künftige Möglichkeit der Entführung hingewiesen; diese Verbindung entwickelt sich weiter und die Entführung findet statt. Zuerst konkretisiert sich der Kontakt zwischen dem Wagen und dem hohen Rang. „Гусару подали кибитку“ (273). Dann steigt Dunja in den Wagen ein, sie verläßt ihren Vater, die Armut und gehört zu einer anderen Welt, zu Minski, zum reichen Petersburg. „Дуня стояла в недоумении... — Чего же ты боишься? — сказал ей отец ... прокатись-ка до церкви. — Дуня села в кибитку подле гусара ... и лошади поскакали“ (273). Die Verbindung zwischen dem Wagen und dem Mädchen spiegelt die Entwicklung ihres Schicksals wider. A. Slominskij hat also nicht ganz recht, wenn er meint: „Мрачные опасения отца не сбылись: не могила ожидала его Дуню, а богатство и счастье“⁴ Dunja gelingt der Ausbruch, der Aufstieg rein äußerlich. Sie sehnt sich nach der Welt, wo sie geboren wurde, wo sie groß gewachsen ist, zurück. Sie besucht das Grab des Vaters in einem sechsspännigen Wagen und verläßt ihn, um sich nach der Sitte des Volkes am Grab hinzulegen. Sie reist zwar nach Petersburg zurück, sie verließ aber den Wagen dank der Erinnerung an ihren Vater. Ihre Anpassung an das neue Leben ist also äußerlich; sie bleibt innerlich die alte. „... ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с чёрной моською;

⁴ А. Слонимский. «Мастерство Пушкина» ГИХЛ, Москва, 1959, стр. 507.

и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: — Сидите смирно, а я схожу на кладбище” (277—78).

Wir kehren jetzt zur weiteren Gestaltung des Schicksals des Helden zurück. Wyrin „В мучительном волнении ожидал он возвращения *тройки*, на которой он отпустил её” (273).

Im Satz ist die Reihenfolge der Worte beachtenswert. Zuerst wird die fehlende Troika und erst nachher das Mädchen erwähnt. Der Satz beginnt mit der Beschreibung des Seelenzustandes des Vaters, der von der verschwundenen Troika, vom verlorenen Mädchen hervorgerufen wird. Die Gestalt des Posthalters, sein Schicksal, sein Leiden und nicht die „des verlorenen Sohns“ steht im Mittelpunkt der Novelle. Wyrins Schicksal wird also besiegelt. Er ist arm, „сущий мученик четырнадцатого класса“ (268), und der Kontakt zwischen dem Wagen und dem niederen Rang kommt nie zustande. Die Verbindung des Wagens mit dem hohen und dem niederen Rang drückt die Entwicklung des Schicksals beider Menschen aus. Dies konnte auch in der Erzählung „Der Schuß“ festgestellt werden. Dieser Gegenstand spiegelte hier aber das geheimnisvolle Leben eines außerordentlichen, leidenschaftlichen Mannes wider. In dem anderen Werk wird die eintönige, ruhige Lebensweise einfacher Menschen von einem außerordentlichen Ereignis, von der Entführung zerstört, die aber eine lebensnahe, einfache Wirkung auf den Leser infolge des mäßigen Tones, des ruhigen, epischen Stils der Darstellung ausübt. Die Entführung erfolgt auch nicht nach romantischer Schablone, wie z. B. in der Novelle „Der Schneesturm“, wo Marja Gawrilowna und Wladimir Nikolajewitsch zusammen, heimlich, ohne, daß die Eltern davon etwas erführen, die Entführung und überhaupt ihr romantisches „Bücherglück“ ausdenken. Obwohl auch hier die entromantisierende Wirkung der Puschkinschen Ironie zur Geltung kommt, da die Eltern dennoch mit der Ehe einverstanden sind, nachdem sich der Entführungsplan nicht, wie sich das „die jungen Leute“ vorgestellt hatten, verwirklicht hat. Hier ist dagegen die Entführung lebensnahe, sie ist nur Minskis Plan, und Dunja und ihr Vater vor allem sind Opfer. Der „irdische“ einfache seelische Schmerz des Letzteren wirkt auf den Leser ernüchternd; wir haben keine Lust, uns an dem „Glück der jungen Leute“ zu ergötzen, in das sich auch Unglück mischt. Die Ereignisse werden vom Schriftsteller konzentriert, nicht gehoben, einfach, stellenweise sogar mit Tschechowscher Einfachheit und Tiefe dargestellt. (Z. B. Dunja begleitet den Erzähler bis zum Wagen und damit gestaltet sie unwillkürlich ihr Schicksal.) Der Wagen stellt die Wirklichkeit hier viel tiefer dar, als der anderen Erzählung. Dies kann nicht nur auf der Ebene der charakterlichen Darstellung, sondern auch auf der der gesellschaftlichen Wirklichkeit festgestellt werden.

3. Bisher wurden die Fälle untersucht, in denen die Erscheinungsform des betreffenden Gegenstandes keine Veränderung erlitt; der Gegenstand bleibt mehr oder weniger auf derselben Stufe der Versinnlichung. Der Gegenstand bleibt nur bewegungslos, wenn seine unmittelbare Umgebung, die Stelle seines Vorkommnisses, die Mikrostruktur untersucht wird. Wenn aber die Makrostruktur, die Funktion des Gegenstandes in der Handlung, in den Situationen, in seinem Verhältnis zu den Menschen untersucht wird, zeigt sich eine Entwicklung, die auch auf den Gegenstand zurückwirkt. Des weiteren ziehen wir nicht die Bewegung des Gegenstandes, sondern die Bewegung um ihn in Betracht. Der Gegenstand bleibt derselbe; es verändern sich

die Menschen, ihre Lebensumstände und so verändert sich auch ihr Verhältnis zu denselben Gegenständen.

In der Novelle „Der Postmeister“ ist der Samowar das Symbol des friedlichen, bescheidenen, einfachen, vertrauten Lebens; er überstrahlt den Vater und die Tochter. Ihr verändertes Verhältnis zum Samowar weist auf wichtige Wendepunkte des Lebens beider Charaktere hin. Der Vater, nachdem der Erzähler angekommen ist verlangt gleich Tee. „Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар гза сходи за сливками“ (269). Samson Wyrin ist vollkommen auf seine Tochter angewiesen, die ihm gerne hilft. Der Kontakt wird auch zwischen ihr und dem Gegenstand hergestellt. Nachdem der Erzähler die Bilder, die die biblische Geschichte des verlorenen Sohnes darstellen, betrachtet hatte, „Дуня возвратилась с самоваром“ (270). Bei seinem zweiten Besuch bestellt der Erzähler schon selbst Tee und nicht von Dunja wird er gebracht. Die Lage hat sich verändert; Dunja ist nicht mehr da und der Posthalter kümmert sich nicht um den Gast. Puschkin analysiert das Verhältnis der Helden zum Gegenstand nicht ausführlich; die Veränderung im Leben, im Verhalten der Menschen wird auf der Ebene der einfachen Manipulierung mit dem Gegenstand nähergebracht. Was jetzt die Darstellung des Veränderten Verhältnisses des Posthalters zur Anweisung auf Postpferde anbelangt, geht der Autor etwas weiter. Auf die Bedeutung dieses Verhältnisses weist unter anderem auch D. Blagoj hin. Puschkin analysiert die Gefühls- und Gedankenwelt seines Helden auch hier nicht, nur das Verhalten, die Handlungen, die von den Verba wiedergegeben werden. Beim ersten Besuch des Erzählers „он принялся переписывать мою подорожную“ (270). Wyrins Benehmen ist hier frisch, schwungvoll. Beim zweiten Besuch steht er nur noch mit großer Mühe auf, um seine Aufgabe zu verrichten. „Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сторбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бордого мужчину в хилого старика“ (271). Der zusammengesetzte Satz drückt Gleichzeitigkeit aus; der lange Hauptsatz (Wyrins Aussehen wird hier ausführlich beschrieben) weist auf die Länge der Zeitdauer des Nebensatzes hin; der Erzähler hat genügend Zeit, um das veränderte Aussehen des Posthalters zu beobachten, während er mit der Anweisung beschäftigt ist. Wyrin antwortet kaum auf die Fragen des Erzählers, die er ab und zu stellt. „Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал поешетом читать мою подорожную“. Im Verhalten des Helden ist nicht von Effekthascherei, im Gegenteil, man kann dessen Ausbleiben in der erwarteten Situation beobachten. Da die Ausdrucksmittel einfach sind, ist der Schmerz des Helden viel glaubwürdiger, tiefer, tragischer, lebensnäher, als wenn er „Szenen“ machte. Dieser Teil hat seine nicht romantische, realistische Tragik in der einfachen, stillen Ausdrucksweise der Gefühle. (Eine ähnliche Szene in der Erzählung von Gogol „Gutsbesitzer aus alter Zeit“ wird von G. A. Gukowskij⁶ analysiert. Afanassij Iwanowitsch spricht, im Gegensatz zur Erwartung der Anwesenden, einfache, unbedeutende Worte beim Grab seiner Frau: „Так вот это вы уже и погребли её! зачем?!...“)

⁵ Д. Благой: «Мастерство Пушкина» Советский писатель, Москва, 1955, стр. 240—246,

⁶ Г. А. Гуковский. «Реализм Гоголя» ГИХЛ, Москва — Ленинград, 1959, стр. 85.

In der Novelle „Der Schuß“ ändert sich das Verhältnis des Helden zu demselben Gegenstand (Kirschkerne) auch. Der Charakter des Helden und die veränderte Situation, in der es zum Schuß kommt, bestimmen dieses Verhältnis, das emotionell ist und eine starke Spannung ausstrahlt. Im ersten Teil des Duells befindet sich Sylvio in einer untergeordneten Lage dem Grafen gegenüber; er haßt den Grafen samt seinen Kirschkernen, die der Letztere in aller Ruhe ihm vor die Füße spuckt. „Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня” (244). Das Kräfteverhältnis zwischen den Gegnern verändert sich bald; Sylvios Spott gegenüber dem Grafen und seinen Kirschkernen beherrscht die Schlußszene. „— Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками . . . пуля тяжела“ (249).

An diesem Punkt kann auch der Fall behandelt werden, wo die verschiedenen Charaktere verschiedene Verhaltensweisen zu einem und demselben Gegenstand aufzeigen. Ihr Verhältnis wird jedesmal von ihrem Charakter und von ihrer sozialen Lage bestimmt. Man kann aber hier einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Werken feststellen.

Sylvios dämonisches Bestreben, in allem Erster zu sein, („... я привык первенствовать, . . .“) (243) ist eher anhand seines Charakters als seiner gesellschaftlichen Situation zu erklären. Nach der Ansicht von N. Berkowskij bildet das die Haupttriebfeder der Entwicklung von Sylvio, daß er ein Plebejer ist, daß er sich dem Grafen gegenüber arm fühlt.⁷ Es sind aber im ganzen Werk nur an drei Stellen Hinweise auf die soziale Lage von Sylvio vorhanden. Sylvios Kleidung ist „изношенный“, (239), „Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, . . .“ (239), und man erfährt, daß er den Grafen auch wegen seines Geldes haßt. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil der Graf darüber hinaus noch „молодость, ум, красоту, весёлость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя“ (243) hat. Im Mittelpunkt der Darstellung steht die außerordentlich starke Leidenschaft des Helden, die Rachsucht, und nicht deren gesellschaftliche Begründung. Sowohl der Erzähler als auch der Held sind nämlich arm, und sie verhalten sich trotzdem verschieden zum Reichtum des Grafen. Im zweiten Teil wird man erfahren, mit was für Gefühlen der Erzähler die reiche Wohnung des Grafen betrachtet. „Отвыкнув от роскоши в бедном углу моём и уже давно не видав чужого богатства я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждёт выхода министра“ (246). Puschkins Absicht ist hier nicht die Gegenüberstellung der sozialen Lage beider Menschen. Der Gefühlszustand des Erzählers am Anfang des zweiten Teiles bildet eigentlich eine Stufe der Steigerung des schon erwähnten Sylvio-Themas; seine verlegene Demut steht Sylvios Haß gegenüber.

In der anderen Erzählung dominiert die Darstellung des Klassenunterschiedes im Verhältnis der Menschen zum Geld. Der Autor stellt dar, mit welcher Absicht die Menschen Geld geben, und wie derjenige, der Geld bekommt, es wertet. Sowohl der Absicht als auch der Wertung ist der Unterschied der Ränge zu entnehmen.

⁷ *О русском реализме XIX. века и вопросах народности литературы.* Сборник статей. ГИХЛ, Москва — Ленинград, 1960, Н. Берковский. О «Повестях Белкина», (Пушкин 30-х годов и вопросы народности и реализма), стр. 123—124.

Minski, um sein Ziel zu erreichen, besticht den deutschen Arzt, der Wyrin und Dunja weismacht, daß der Husar krank ist. Für Minski ist die Anwesenheit des Vaters in Petersburg unangenehm, deshalb versucht er sich von ihm zu befreien. „... сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице“ (275). Die sprachliche Formulierung drückt die gemeine Absicht des reichen Husaren aus, der nicht Geld, sondern „etwas“ dem Alten gibt. Aber auch Dunja und der Erzähler geben dem hilfsbereiten Jungen Geld. Bei ihnen ist das Geld der Ausdruck ihrer Dankbarkeit, keine Bestechung, sondern Belohnung.

„И я дал мальчишке пятак.“ (278). lesen wir am Schluß der Erzählung. Die Parallele zwischen dem Verhalten von Dunja und dem des Erzählers von niederem Range hat die Funktion, zu zeigen, daß das Mädchen trotz des sechsspännigen Wagens, der Amme und des schwarzen Mopses nicht imstande ist, sich von den armen Leuten, von der einfachen aber anständigen Lebensweise, aus der sie stammt, zu trennen. Der Junge und Wyrin bekommen Geld. „Чем ниже по социальной лестнице, тем дороже деньги и тем человечнее их значение.“ weist N. Berkowskij (192) treffend auf die gesellschaftliche Bedeutung des Verhältnisses zum Geld hin. Der Junge erinnert sich mit Dankbarkeit an die Dame, die „дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!...“ (278) Wyrins Verhältnis zum Geld ist schon viel verwickelter. Auf der einen Seite ist er arm, und so bedeutet für ihn das Geld einen großen Wert. Auf der anderen Seite empört ihn die Erniedrigung durch Minski. Er sieht auch, daß der Reichtum, der Glanz von Petersburg moralische Verderbtheit maskiert, er sieht, wie „ein gut gekleideter junger Mann“ („хорошо одетый молодой человек“ (275) das Geld, das er mit moralischer Entrüstung in die Erde tritt, von der Erde nimmt und verschwindet., „Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свёрток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублёвых смятых ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глаза его, слёзы негодования! Он жжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошёл. Отошёл несколько шагов, он остоновился, подумал... и воротился...“ (275) Pusckin stellt hier szenisch einen Wertkonflikt, ein doppeltes Wertverhältnis einem und demselben Gegenstand gegenüber durch die äußere Beschreibung des Verhaltens dar.⁸ N. Berkowskij⁹ spricht aufgrund der moralischen Empörung des Helden über den Aufstand „бунт“ von Wyrin, was ein bißchen übertrieben zu sein scheint, da es sich mehr oder weniger um eine augenblickliche, unsichere, schüchterne Aktivität handelt. Als er heimkehrt, versucht ihn sein Freund umsonst zu überreden, Beschwerde zu erheben. Schließlich verzehrt er sich, geht an dem Kummer machtlos zugrunde.

4. Der nächste Fall „des Verhaltens“ der Gegenstände besteht darin, daß das Bild, das durch sie, durch ihr System gebildet ist, an und für sich bewegungslos bleibt;

⁸ Lev Tolstoj, der in seiner Jugend die ausführliche Analyse der Gefühle in Puschkins Prosa bemängelt hatte, war der Ansicht, daß die Belkin-Erzählungen „nackt“ (*голы*) sind. (*Л. Н. Толстой о литературе*, ГИХЛ, Москва, 1955, стр. 18.) Viel später, als er an seinem Roman „Die Auferstehung“ arbeitet, schätzt er in der charakterlichen Darstellung von Pusckin die szenische Darstellung hoch. (*Толстой художник. Сборник статей*, Москва, 1961. Д. Л. Опулская. «Психологический анализ в романе «Воскресение». стр. 317).

⁹ «Русская повесть XIX века» Изд. Наука, Ленинград, 1973, стр. 239.

dadurch aber, daß miteinander verglichen wird (den Grund des Vergleiches bildet die inhaltlich-thematische Gleichheit, z. B. Wohnungseinrichtung, Kleidung), durch das Ins-Verhältnis-Stellen, das Einordnen in ein System erfahren wir eine Scheinbewegung dieser Bilder.

In Sylvios Wohnung war das Schönste seine Pistolensammlung. „Богатое собрание пистолетов было *единственной роскошью* бедной мазанки“ (239). Die Beschreibung der Wohnung des Grafen versinnlicht den Gesichtspunkt des Erzählers, der den Wohnung übertreibt, da „приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей“ (246). Vor ihm erscheinen „Обширный кабинет ... убран *со всевозможной роскошью*, ... бронзовый бюст, ... над мраморным камином было широкое зеркало, ... пол обит был зелёным сукном и устлан коврами“. (246)

Die Beschreibung dieser Wohnungseinrichtung läßt uns die von Sylvio einfallen. Erstens befinden sich die Beschreibungen etwa an derselben Stelle der zwei Teile der Novelle, und zwar jeweils am Anfang beider Kapitel. Einen weiteren Grund zum Vergleich gibt die gegensätzliche sprachliche Formulierung. Die logische Betonung liegt beide Male auf dem Wort „роскошь“. Trotz seiner Armut erweist sich Sylvio reicher als der Graf. Die Gegenüberstellung der Armut und des Reichtums dient zur Hervorhebung des Charakters des Helden. Der Gegensatz zwischen der relativen Armut von Sylvio und dem relativen Reichtum des Grafen wird durch die Übertreibung und bescheidene Haltung des Erzählers vertieft. Schließlich ist die Beschreibung der Wohnung des Grafen eine Stufe der Steigerung des schon erwähnten Sylvio-Themas, da der Reichtum des Grafen uns den Haß des Helden ihm gegenüber einfallen läßt.

In der Novelle „Der Postmeister“ kommt der Unterschied der Ränge und dadurch die moralische Differenzierung im Vergleich der Bilder von gleichem Inhalt zum Ausdruck. Wyrins Wohnung ist „смиранный“ (270), Minskis Petersburger Zimmer ist „прекрасна, убранная“ (276). Die Kleidung des Posthalters spiegelt seine soziale Lage wider, die Medaille ist die einzige passive Art seines Protests gegen den niedrigen Rang. „Вижу, как теперь, самого хозяина ... и его длинный зелёный сертук *с тремя медалями на полинялых лентах*“ (270). Wie schon gesagt, Wyrin sieht, daß ein gut gekleideter Herr mit seinem Geld entwischt; er sieht, wie Gogols Piskarew, daß der Glanz in Petersburg moralische Verderbtheit verbirgt. Der Vater erblickt in Minskis Zimmer seine Tochter, die „одетая со всею роскошью моды“ (276), und ahnt voraus, daß sie nicht glücklich sein wird; wenn sie auch nicht so unglücklich sein wird, wie er denkt. Das Denken des Vaters wird dabei durch das Aussehen, durch die Kleidung gelenkt. „Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе и бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу...“ (276).

In der Erzählung „Der Schuß“ erfahren wir gleich am Anfang, daß Sylvios Kleidung „изношенный“ ist. Es wird aber nicht seine Armut hervorgehoben, sondern sein unerklärlicher, widersprüchlicher, geheimnisvoller, exzentrischer Charakter. Sylvio „жил... вместе и бедно и расточительно: ходил вечно в изношенном чёрном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка“ (239).

5. Die nächste Form der Scheinbewegung der Gegenstände besteht in den verschiedenen Graden der Bildhaftigkeit in der Darstellung. Diese Stufen werden durch die

Stelle des betreffenden Gegenstandes in der Handlung, durch seinen Kontakt mit den Menschen, durch seine Funktion in der Struktur des Werkes bestimmt.

Diese Funktion ist in der Novelle „Der Schuß“ romantisch. Nach der ersten allgemeinen Erwähnung der Pistolensammlung des Helden wird die Konkretisierung stärker, als der Graf vor einer dieser Pistolen ruhig, hochmütig Kirschen ißt.

Die Bedeutung der Pistole wächst immer mehr; sie ist ja derjenige Sylvio-Gegenstand, aus der der zweite, den Grafen moralisch vernichtende Schuß knallen wird. Die Visualität steigert sich. Wenn der Graf nach Jahren Sylvio wieder erblickt, sieht er, daß „Пистолет у него торчал из бокового кармана“ (249). In dem anderen Werk ist die Funktion der wachsenden Visualität realistisch. Von der Zeit an, wo sich Dunja an das neue Leben anpaßt, drückt sich der Reichtum nicht mehr nur in der Zugehörigkeit des Wagens, sondern in dessen ausführlicher Beschreibung aus. Auf den Straßen von Petersburg erblickt der Vater Minskis „щёгольские дрожки“ (275). Dunja besucht das Grab in einem sechsspännigem Wagen. Dunjas Schicksal kann auf der Ebene der gegenständlichen Welt, der materiellen Werte nicht erklärt werden. Der Wagen ist nur der Ausdruck des äußeren Glanzes. Um zu erfahren, daß hinter dem Glanz die Traurigkeit des Mädchens verborgen ist, müssen wir auch das Verhältnis des Menschen zu dem Gegenstand in Betracht ziehen.

6. Die neue Variante der Entwicklung, der Bewegung der Gegenstände bildet ihre physikalische Bewegung. Der Gegenstand bewegt sich, weil er von Menschen bewegt wird; aber er bewegt sich in verschiedenen Situationen im System der Gegenstände; er bewegt sich auch deshalb, weil er, infolge seiner physikalischen Bewegung, in das Kraftfeld der veränderten Charaktere gerät.

Der wichtigste Gegenstand, die Pistole, hat eine eigene Entwicklung; nicht nur auf der Ebene der schon analysierten Scheinbewegung, sondern auch deshalb, weil der Held in den wichtigsten Situationen mit ihr geschickt manipuliert. Dieser Gegenstand hat schon von seiner Natur her eine bestimmte Spannung; entscheidend ist aber, daß in der Exposition, wenn die Pistolensammlung von Sylvio erwähnt wird, wir schon seinen exzentrischen, geheimnisvollen Charakter kennen. Seine Schußleidenschaft erhitzt diesen Gegenstand immer mehr. Die Pistole steht immer auf der Seite des Helden; sie ist das Mittel zum endgültigen Sieg. Die physikalische Bewegung der Pistole wird nur durch die Untersuchung des Zusammenhanges dieses Gegenstandes mit anderen Gegenständen (Kirschkerne, Mütze) vollkommen verständlich. Die Kirschkerne und die Mütze stehen am Anfang auf der Seite des Grafen. Im Werk dominiert ständig die kompositionelle Einheit, weil unter anderem die Vorwärtsbewegung der Handlung, die Gestaltung des Kampfes auch durch die gegenständliche Welt, in engem Kontakt mit den Charakteren, nähergebracht wird. Die Mütze, die der Graf durchschießt, und aus der er Kirschen ißt, und zwar ganz ruhig vor der Pistole des Helden, die Kirschkerne, die er vor Sylvios Füße spuckt, sind Gegenstände des Grafen. Im ersten Teil des Duells treffen sich die Gegenstände der Gegner zum ersten Male; diese Gegenstände werden von der romantischen Spannung der Situation durchglüht. Sylvio steht machtlos mit seiner Pistole vor dem Grafen, der Kirschen ißt, aber nicht lange; er ergreift die günstige Möglichkeit, die ihm die Situation anbietet, und schon jetzt entscheidet er den Kampf zu seinen Gunsten, indem er „опустил пистолет“ (249). Nachher erfahren wir aus dem Brief, daß der

Graf in eine ungünstige Situation geriet, und Sylvio überwindet, noch am Ende des ersten Teils, die Gegenstände des Grafen. „Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал её за черешнями!“ (245) Dann springt Sylvio auf, und mit einer heftigen Bewegung „бросил об пол свою фуражку. . .“ (245). Im zweiten Teil entscheidet sich der Zweikampf auch auf der gegenständlichen Ebene. Sylvios Pistole beherrscht seinen Gegner. Kaum, daß der Graf in die Wohnung kommt, ist der erste Gegenstand, den er erblickt die aus Sylvios Seitentasche drohend hervorschauende Pistole. Der Held „вынул пистолет и прицелился“ (249). Wie beim ersten Mal, läßt er sie von neuem sinken, weil er seinen Gegner moralisch besiegen will. Er veranlaßt den Grafen, das ungerechte und erniedrigende Los zu ziehen. Sylvio manipuliert jetzt überlegen mit den Gegenständen des Grafen. Der Graf erinnert sich folgendermaßen: „... свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную“ (249). So kann man sehen, daß der Graf auch auf der Ebene der Gegenstände seine Niederlage erkennt und anerkennt.

Die Bewegung der Wohnungstür von Minski hat schon eine tiefere gesellschaftliche Bedeutung. Die Tür wird immer entschlossener zugemacht und auf diese Weise wird der arme Vater von der Wohnung des reichen Husaren verwiesen. Die väterliche Liebe öffnet aber das Schloß, wenn auch für eine kurze, vorübergehende Zeit. Zuerst macht sich die Tür auf, wenn der Husar Wyrin auf die Straße wirft: „он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице“ (275). Der Vater versucht von neuem in die Wohnung einzudringen, aber der Bursche „хлопнул двери ему под нос“ (275). Jetzt wird die Tür schon vor seiner Nase zugeklappt; die größere Visualität weist auf die Intensivierung des Abweisens hin. Es scheint, daß die Lage des Vaters hoffnungslos geworden ist. Das zeigt die Bewegungslosigkeit der verschlossenen Türe. „Двери были заперты“ (275). Dann werden sie, wenn auch schwer, wieder aufgemacht. „Ключ загремел, ему отворили“ (275). Der Vater wird nicht von bewußter Entschlossenheit, sondern von einem instinktiven Schmerz geführt, der nur dazu genug ist, daß er eine kurze Zeit seine Tochter durch die geöffnete Tür betrachten kann. „Он подошёл к растворенной двери. . .“ (276). Er weidet aber Seine Augen nur kurze Zeit an der Trochter, weil Minski „увидя в дверях ... смотрителя... схватив старика за ворот, вытолкнул его ...“ (276). Ein für alle Mal wird die Tür vor dem Helden geschlossen.

7. Es kommt in den beiden Erzählungen auch vor, daß selbst die Gegenstände Veränderungen erleiden; ihr Aussehen ändert sich, eventuell verschwinden sie vollkommen.

Der Erzähler entdeckt das Loch an dem Gemälde, das durch zwei Kugeln geschlagen wurde. Puschkin, um die Spannung zu erhöhen, erzählt erst danach die Geschichte der beiden Schüsse, die Entstehung des Loches. Die Geschichte der Entstehung des Loches gibt einerseits die Kulmination und die Lösung der Handlung, andererseits die moralische Charakterisierung beider Männer. Sylvio veranlaßt den Grafen, daß er den zweiten, ungerechten Schuß abgibt. Dies ist für ihn eine vollkommene Genugtuung, wie er meint: „Предаю тебя твоей совести“ (250). Das erste Loch auf dem Bild wird von dem Grafen geschlagen. Auf dem Gesicht des Grafen und seiner Frau spiegelt sich eine heftige Aufregung wider; die gegensätzlichen

Farben, die heftigen Gefühle, die Spannung der Situation des abgegebenen Schusses machen die Darstellung romantisch. Der zweite Schuß steht rechtmäßig Sylvio zu, der aber davon keinen Gebrauch macht, er tötet keinen Menschen, obwohl er auch jetzt ein Meisterschütze ist. Davon zeugt der zweite Schuß, den Puschkin durch die letzte Bewegung der Pistole, des wichtigsten Sylvio-Gegenstandes, darstellt „он... остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в неё, почти не целясь, и скрылся“ (250), — erzählt der Graf.

In dem anderen Werk spiegelt die Veränderung in der Zimmereinrichtung ein ruhigeres, prosaisches Ereignis wider; und zwar die tragische Situation, in die Wyrin nach der Entführung seiner Tochter gerät. D. Blagoj erwähnt (240—246), daß beim zweiten Besuch des Erzählers keine Blume, die Dunjas liebende Fürsorge zeigte, im Zimmer vorhanden ist. Der Erzähler erinnert sich an den ersten Besuch zurück: „Всё это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзаминном, и кровать с пёстрой занавеской, и прочие предметы...“ (270). Nach ein paar Jahren ändert sich das Bild: „... стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов...“ (271). In der Novelle ist die ausführliche Darstellung der prosaischen Lebensumstände des kleinen Mannes zu beobachten, die sich, zusammen mit den Veränderungen im Schicksal der Helden, mit der Zeit auch ändert.

8. Mit der Vorwärtsbewegung der Handlung werden die Gegenstände ausgetauscht; es erscheinen neue, die dann die Menschen umgeben, die mehrmals in dieselbe Situation geraten. Eine solche Bewegung der Gegenstände, ihre vollkommene Auswechslung drückt den Verlauf des menschlichen Lebens, die Entwicklung, Veränderung des Charakters aus.

In der Erzählung „Der Postmeister“ ist eine kaum bemerkbare Auswechslung von alltäglichen Gegenständen zu beobachten. Der Erzähler bemerkt nicht nur im Aussehen, in der Zimmereinrichtung eine Veränderung, sondern er konstatiert das Verschwinden und Erscheinen verschiedener Gegenstände. Es ändert sich auch das Verhältnis des Posthalters den neuen Gegenständen gegenüber. Der Erzähler erblickt beide Male, wenn er in das Zimmer tritt, sofort Wyrin. Während zum ersten Male „Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар...“ (269). beim zweiten Mal ruft Wyrin nicht mehr fröhlich, sondern schläft; er verlangt nicht mehr den Samovar von der Tochter, sondern er ist von seinem Schlafpelz zugedeckt. Er wendet sich vollkommen von der Außenwelt ab, kümmert sich um nichts; er hört auf, zuerst psychisch, später auch körperlich, zu existieren.

Die Analyse wollte zeigen, daß sich die leblosen Gegenstände, wie kleine Zellen im Organismus der Werke ständig bewegen. Auch in den Stellen, wo in der Mikrostruktur Ruhe ist, wird eine ununterbrochene Scheinbewegung durch die Vorwärtsbewegung der Handlung, durch die Veränderung des Verhältnisses der Menschen dem Gegenstand gegenüber, durch den Vergleich der verschiedenen Teile und durch die verschiedenen Stufen der Konkretisierung erfahren. Auf der Ebene der physikalischen Bewegung und Veränderung verwirklicht sich dann das wirkliche Lebendig-Werden der Gegenstände. All dies erweckt Lebensnähe, die Illusion der künstlerischen Wahrheit, da sich die Gegenstände wie im Leben verhalten. Wie aber auch die Zellen eine vom Ganzen des Organismus bestimmte Funktion verrichten, befinden sich die Gegenstände, durch ihre verschiedenen Bewegungsformen, mit den Charakteren, ihren Schicksalen in einer ständigen dynamischen Verbindung. Eine solche

Untersuchung ist bloß ein kleines Fenster, durch das aber die Struktur der Puschkinschen Novellen erblickt werden kann. Auch auf dieser Ebene werden die untersuchten Werke der wichtigsten ästhetischen Forderung der einheitlichen Gestaltung gerecht, die durch den Reichtum der Relationen verwirklicht wird. Für Puschkin ist charakteristisch, daß er diese Einheit in erster Linie auf der Ebene der zeitlichen Entfaltung der Struktur durch die Darstellung der Entwicklung eines und desselben Gegenstandes zustande bringt.

К проблеме традиций и новаторства в творчестве В. Маяковского

А. В. КУЛИНИЧ

Буржуазная критика обычно связывает расцвет русской поэзии первых послеоктябрьских лет с появлением модернистских школ, каких немало было в те годы и к которым на определенных этапах творчества примыкали и Блок и Маяковский, и Есенин и др. Однако модернистские и формалистические течения и школы не в состоянии были вдохновить художников на новаторские открытия. Вдохновляла их октябрьская гроза революционного обновления. Новая, социалистическая действительность ставила перед ними неслыханные по значению и масштабам творческие задачи.

Пожалуй, никем из поэтов революционной эпохи не владела так всеильно идея новаторского поиска, как владела она Маяковским. Этой страстью, своего рода творческой одержимостью вдохновлены все его начинания от крупных поэм до злободневной агитки, от пьес до необычных, выполненных в плакатной манере киносценариев. «Новизна в поэтическом произведении обязательна»¹ — это было законом его творчества. Он признавал, что можно работать над «продолжением, внедрением, распространением» уже побывавших в употреблении форм, но сам предпочитал открытие нового. О канонических жанрах, размерах, использовавшихся рифмах он отзывался скептически. У него все свое — свои жанры, своя система стихосложения, свои необычные рифмы, свой способ разбивки строки. И все ново и глубоко самобытно. В диалектической связи новаторства и традиций он склонен был больше подчеркивать оттачивание чем единство, преемственность.

Однако вспомним, куда стремились направить поиски молодого Маяковского футуристы. Сблизившись с «будетлянами» Д. Бурлюком, В. Хлебниковым, В. Каменским, начинающий поэт отходит от активной революционной деятельности, увлекается формальным экспериментаторством. В футуристических сборниках появляются в качестве программных такие, например, его стихи:

¹ В. В. Маяковский. *Полное собр. соч. в 13-ти томах*, т. 12, М., Гослитиздат, 1959, стр. 85. В дальнейшем цит. по этому изданию.

У-
лица.
Лица
у догов
годов
рез
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы и т. д. (т. I, стр. 38).

Энергия поэта здесь направлена на препарирование слов, эксперименты с переходящей рифмой. В юные годы Маяковский написал немало таких стихов: «Ночь», «Порт», «Уличное», «Вывескам», «А вы могли бы?», «Театры», «Я», «Шумики, шумы и шумищи» и др. Они напоминают головоломные картины кубистов и беспредметников, пытавшихся решать чисто живописные задачи линий и света безотносительно к содержанию. Не было в этих стихах образа человека — души поэзии; зато было то, что характеризовало футуризм, — вызов традициям реализма, формалистическое экспериментаторство. Именно это и считали новаторством футуристы.

И в своих статьях Маяковский отстаивает футуристические лозунги, оправдывает формализм. В статье «Два Чехова» он пишет: «Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помой — безразлично... Все произведения Чехова — это решение только словесных задач» (т. I, стр. 299—300). С большим задором нападает юный поэт на «вульгарный реализм» «генералов от палитры» Верещагина, Маковского, Коровина, Архипова, Васнецова, выступает против художественных традиций в статьях «Театр, кинематограф, футуризм». «Живопись сегодняшнего дня» и др., иронически отзывается о поэзии Некрасова и от имени футуристов декларирует: «Дорогу к новой поэзии завоевали мы, впервые заявившие: «Слово — самоцель» (т. I, стр. 317).

Первая крупная вещь Маяковского — лирическая трагедия «Владимир Маяковский» — завершает тот период, о котором поэт писал: «Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом» (т. I, стр. 22). И только в связи с замыслом «Облака в штанах» он записывает: «Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной» (т. I стр. 22).

Нужен был сильный идейно-эмоциональный толчок, чтобы охваченный футуристической эксцентрикой поэт поднялся над бесплодными лозунгами футуристической школы и стал поэтом социальным. Таким толчком для молодого Маяковского была первая мировая война: «Отвращение и ненависть к войне» заставляют его решительно пересмотреть взгляды на жизнь и свое призвание. Футуристическая бравада, формалистические увлечения отходят на задний план, постепенно изживаются. На первый план выдвигаются задачи социальные и

революционные, новаторство формы соединяется с новаторством содержания. Поэт еще долго будет выступать с футуристами, но с каждым годом все четче будут определяться его расхождения с ними. Маяковский позднее подчеркнет то характерное свое, чего он не находил у своих временных попутчиков — «пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья» (т. I, стр. 19).

В каждой новой вещи Маяковского кануна Октября богаче и гармоничнее становился характер героя, шире входила в его поэзию горьковская тема Человека — цельного, свободолюбивого, гордого. Чистый душой, готовый на самопожертвование во имя своего будущего Человек является главным героем и грандиозной по замыслу антивоенной поэмы «Война и мир» (1915—1916), и лирической, написанной по личным мотивам, поэмы «Человек» (1916—1917). И хотя революционный идеал поэта оставался утопичным, однако по основным своим тенденциям его творчество порывало с футуризмом, ставило его в ряд наиболее передовых писателей. Талантливейший среди «будетлян», яростно воевавший против традиций, разрушал платформу «заумников», восстанавливал плодотворнейшую из традиций мировой литературы, пренебрегавшуюся и дискредитировавшуюся декадентами, — возвышал голос в защиту Свободы и Человека.

И он,
свободный,
ору о ком я,
Человек —
придет он,
верьте мне,
верьте! (т. I, стр. 242).

Не случайно ко времени появления этих поэм относится сближение Маяковского с Горьким. В первом сборнике поэта внимание Горького привлекло лишь одно какое-то стихотворение, т. к. лишь оно было написано «настоящими словами» (статья «О футуристах», 1915). «Облако», а затем и «Война и мир» произвели уже на писателя сильное впечатление. Великому пролетарскому писателю дороги были качества, которые он не мог не заметить в поэмах под футуристическими наслоениями, — вера в человека, вольнолюбие, настойчивые поиски новых путей в поэзии. В преддверии 1917 г. на пути к народности и реализму Маяковский добился значительных успехов. Но ему еще не удалось преодолеть футуристические влияния, и это серьезно осложнило его творческие искания в первые годы революции.

С первых же дней социалистического переворота в стихотворных декларациях — «Приказах по армии искусств», публичных выступлениях Маяковский горячо отстаивает мысль о принципиально новом характере создаваемого пролетариатом искусства: оно должно стать массовым, «должно быть сосредоточено не в мертвых храмах-музеях, а повсюду: на улицах, в трамваях, на фабриках, в мастерских и в рабочих квартирах» (т. 12, стр. 451). И поэт стремится дать революционному народу в первую очередь марш, агитационный стих, плакат, массовое драматическое действие — мистерию. За эти формы он стоял

твердо, к камерным поэтическим жанрам относился враждебно. Лирический герой Маяковского приобретает новые черты, в единении с революционным народом находит духовную силу, преодолевает настроения одиночества. Меняется интонация стиха. В дореволюционных его произведениях преобладали предельно резкие слова негодования и страдания, в них чувствовался надрыв. Теперь голос поэта наполняется пафосом жизнеутверждения, убежденностью народного трибуна. И подобно тому, как это делали и другие поэты того времени, он выступает от имени «многомиллионного народа», обращается не к отдельному читателю, а к широким массам, изображает не конкретного героя, а многотысячные колонны пролетариев в стремительном марше («Наш марш», «Левый марш»), создает гиперболизированные обобщенные образы — антиподы, воплощающие черты противостоящих классов (чистые и нечистые в «Мистерии-буфф», Иван и Вильсон в поэме «150 000 000»). Восходящий к традиции обращенного непосредственно к массам гражданского стиха «Левый марш» имел и конкретного адресата — посвящен революционным матросам. Он стал маршем мобилизации, в нем ярко отразилась атмосфера революционных манифестаций, митингов, в него вошли лозунги, возникшие в условиях блокады и начавшейся интервенции («Коммуне не быть покоренной», «России не быть под Антантой»). В чеканном, волевом ритме, в повелительных интонациях трибуна — агитатора физически ощущается поступь «синеглазых» матросов, неотвратимое движение народа к свободе.

Там
за горами горя
солнечный край непечатый.
За голод,
За мора море
Шаг миллионный печатай! (т. 2, стр. 24).

Этот высокий пафос и эта новаторская форма — не от футуризма. Это — поэтические отзвуки великого социалистического переворота, это революция создала поэта нового типа, поэта-трибуна. Подлинное новаторство зрелого Маяковского начиналось здесь и начиналось с новаторского содержания, с этого революционного пафоса, устремленности в будущее. Новое содержание дало жизнь новой форме.

Такая форма относится к излюбленным формам Маяковского, он считал, что они полнее, чем все другие формы старой поэзии, могут передать мятежный дух эпохи. Необычное расположение строк, выделяющее логические ударения, рассчитанное на огромную аудиторию ораторское полноголосие, свободный от каких-либо канонов стих, редко употреблявшиеся и только что изобретенные рифмы — все это воспринимается как художественное открытие, на всем — печать первородной свежести. Поэт с максимальным эффектом использует приемы инструментировки, анафоры, внутренней рифмовки. Теперь эти приемы у него органичны, служат определенным смысловым задачам.

Революция помогла поэту-трибуну увидеть бесплодность «новаторства», ограниченного чисто формальными задачами. В 1923 г. он предостерегает поэ-

тов: «Искуснейшие формы останутся черными нитками в черной ночи, будут вызывать только досаду, раздражение спотыкающихся, если мы не применим их к формовке нынешнего дня — дня революции» (т. 12, стр. 50). Выступал он против попыток «выдавать случайные искривы недоучек за новаторство, за последний крик искусства» (т. 12, стр. 49), видел подлинное новаторство в содержательном мастерстве литературы. Поиски средств, которые дали бы возможность говорить во весь голос с народом, страной, характеризуют его поэтику этих лет. Наряду с художественными богатствами литературного языка он смело вводил в поэзию новые языковые формы, созданные революционной эпохой, саму структуру стиха привел в соответствие с особенностями разговорной и ораторской речи.

В эти первые годы революции творческие поиски Владимира Маяковского во многом еще сковывались футуристическими лозунгами, он разделял ошибку футуристов, призывавший отбросить культурные завоевания предшествующих эпох, новаторских поисков склонен был резко противопоставлять традиции. В стихотворении «Радоваться рано» (1918) поэт призывал развеять дым над Зимним, обстрелять музеи, атаковать Пушкина и «прочих генералов классиков». В поэме «150 000 000» (1919—1920) автор поместил в свиту «услужаящих» Вудро Вильсону выдающихся ученых, композиторов, поэтов, подверг разгрому «Лувра картинные потроха». Даже пролеткультистов которые не отличались уважительным отношением к классикам, он обвинял в том, что те якобы «кладут заплатки на вылинявший пушкинский фрак» («Приказ № 2 армии искусств», 1921).

Известно, что В. И. Ленин отрицательно относился к произведениям Маяковского, написанным под влиянием футуристических лозунгов. В 1921 году, посылая Ленину поэму «150 000 000», изданную по тем временам большим тиражом, Маяковский, по-видимому, рассчитывал на реабилитацию футуризма, называл себя «футуристом-коммунистом». В специально написанных записках Владимир Ильич резко отрицательно высказался о поэме, упрекнул А. В. Луначарского за поддержку футуристических произведений².

А. В. Луначарский действительно помог Маяковскому издать поэму «150 000 000» и вообще всячески поддерживал его, любил его талант. Вместе с тем он решительно осуждал футуристический нигилизм, формалистические тенденции, часто полемизировал с поэтом по вопросу о значении традиций культуры прошлого. Когда в газете «Искусство коммуны» появилось упомянутое стихотворение Маяковского «Радоваться рано», выдающийся критик выступил с полемической статьей «Ложка противоядия», в которой осудил «разрушительные наклонности по отношению к искусству прошлого», проявляемые автором стихотворения и его сотоварищами по футуристической группе. Н. Луначарская-Розенель в мемуарах «Память сердца» рассказывает, что это выступление наркома просвещения было подсказано В. И. Лениным. В частых полемических выступлениях Луначарского против футуризма-лефов-

² См. В. И. Ленин. *Полн. собр. соч.*, т. 52, стр. 179—180; Е. И. Наумов. «Ленин о Маяковском (новые материалы)», «Литературное наследство», т. 65, стр. 205—216.

ства нельзя не заметить стремления оградить Маяковского, которого он считал «одним из крупнейших и талантливейших поэтов современной России», от чуждых влияний, вырвать его из футуристического окружения.

За футуристические тенденции, выпады против классического наследия Маяковского критиковали А. М. Горький, Н. К. Крупская, Демьян Бедный, А. А. Блок и др.

Эта критика не прошла даром, взгляды Маяковского на классиков и классические традиции со временем менялись. Он выступал уже не столько против классического наследия вообще, сколько «против перенесения методов работы мертвых в сегодняшнее искусство» (т. 12, стр. 45), не столько против Пушкина, сколько против пушкинистов, наводивших «хрестоматийный глянec» на его живое наследие. «Я люблю вас, но живого, а не мумию», — так определяет он в «Юбилейном» свое отношение к Пушкину. В 1922 году А. В. Луначарский писал: «Маяковский в последнее время довольно гордо называет себя некрасовцем. . .»³.

Однако в вопросе о роли классического наследия в строительстве новой культуры, о соотношении традиций и новаторства В. Маяковский под влиянием «левых» литераторов, теоретиков ЛЕФа О. Брика, Б. Арватова, Н. Чужака допускал непоследовательность, противоречивые высказывания. В среде «левых» где вращался поэт, нападки на классиков стали своеобразным литературным спортом; здесь господствовал взгляд, что новаторство и традиции антагонистичны, творческое использование опыта классиков для создания новых художественных ценностей не только не воспринималось как новаторство, но и третировалось как признак отсталости. Нередко так мыслил и Маяковский. Ему казалось, что «классики медью памятников, традицией школ—давили все новое» (т. 12, стр. 45), что «чтivism советских массклассики не будут» (т. 12, стр. 167), что «линия обновления и новаторства» должна быть одновременно «линией ненависти к старой культуре» (т. 12, стр. 349). Такого рода «левый» максимализм он проявлял даже в вопросах поэтического языка и стихосложения. Словарь поэзии XIX ст., поэтические жанры, стихотворные размеры, господствовавшие тогда, — все это ассоциировалось в его сознании со всем отжившим, консервативным: «Ямбы и хорей нам не нужны. . . Ямбами и хорями давно никто не пишет. . . Хорей и ямбы мне никогда не были нужны, и я их не знаю. Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперед» (т. 12, стр. 484); «плюнуть на революцию во имя ямбов? . . . Безднадежно складывать в 4-стопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции!» (т. 12, стр. 84). На «подохшие размерь» он нападал без устали. Даже в дружеском обращении к Пушкину, приглашая его в соредакторы по «Лефу», он категорически заявляет:

Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.

³ См. В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., 1956, стр. 164

мы в виде пиррихия, анакрусы не воспринимались как грубые нарушения метрического строя. Блок, Брюсов допускали смешения размеров в пределах одного стихотворения. Все эти нововведения разнообразили метрику стиха, но не затронули основ силлабо-тонической системы стихосложения. Во имя максимальной свободы стихотворной строки, свободы выбора нужного слова Маяковский пошел дальше, вообще отказался от принципа равномерного чередования ударных и неударных слогов.

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
Покупка склянки чернил
Губкооперативом» (т. 4, стр. 7).

Почти ничего не осталось здесь от условного «высокого» поэтического языка, словарь, синтаксис, интонация максимально сближены с разговорной речью. Новое «губкооперативом» не влезло бы ни в какие стопы традиционных размеров.

Усиление одного принципа организации стиха повлекло за собою ослабление другого. Классический стих отличался стройностью, гармонической соразмерностью всех элементов (строфика, размер, система рифмовки и др.), музыкальностью. Освободив стих от равномерного чередования ударных и безударных слогов, правильной строфики, Маяковский лишил его привычной стройности, напевности. В стихотворении Маяковского соседствуют строки разной длины, более или менее постоянно в них количество ударений, количество безударных слогов произвольно меняется. В ранних произведениях, очевидно, вопреки общепринятой стройности, песенности, он нарочито обрубывал строку, нарушал согласования, нередко довольствовался обломком слова. Свобода стиха стояла иногда на грани утери какой бы то ни было метрической и языковой дисциплины. Вызов традициям нарочитым нарушением гармоничного стихотворного лада, общепринятых языковых норм иногда ощущается и в его вещах зрелого периода. В известных критических замечаниях В. И. Ленина, переданных Горьким, вскрыт этот недостаток поэтического языка Маяковского («кричит, выдумывает какие-то кривые слова... Рассыпано все, трудно читать»).

В середине 20-х годов намечается перелом в отношении к классическому наследству и пониманию соотношения новаторства и традиций⁴. Поэты более решительно, чем это было раньше, идут на сближение с традициями классики и фольклора, отказываются от неоправданных языковых и ритмических воль-

⁴ В статье «Чистота русского языка» (1924) А. Толстой отмечал, что литература в последние годы «полным лицом повернулась к Пушкину». Об этом повороте пишут В. Перверзев («Печать и революция», 1924, № 5), А. Луначарский («Журналист», 1925, № 5) и др.

ностей, самоценных экспериментов. Выходит из употребления свободный стих имажинистского и футуристического толка.

Претерпевает изменения и поэтический язык Маяковского. В программных выступлениях, особенно в полемических он заявляет, что при всем уважении к классикам считает их методы обработки стиха устаревшими и поэтому старается «дискредитировать старую поэтику». Однако если бы мы имели дело лишь с декларациями поэта, мы бы не увидели в его вторчестве того «поворота к Пушкину», который стал знаменательнейшим явлением литературного развития 20-х годов. Пушкин, поднявший русский стих до высот гармоничного слога, писал о поэзии, «освобожденной от условных украшений стихотворства», о желании «приблизить поэтический слог к благородной простоте»⁵.

Эту традицию оценили и старались развивать—на своем материале и каждый по-своему — все крупные русские поэты 20-х годов. Оценил ее и Владимир Маяковский. Его стих все более настоятельно тяготеет к ясной и четкой структуре, определенному порядку ударений (чаще всего это четырехударник), отчетливее выступает членение на строфы. Замыслы Маяковского становились значительнее, стих приобретал те черты, которые были присущи русской поэтической классике — идейную глубину, смысловую емкость, ясность, доходчивость. Революционные дела народа, труды В. И. Ленина, дружественная критика А. В. Луначарского, А. М. Горького помогли ему увидеть в жизни главное, найти героев времени, отрешиться от левацких увлечений. Знаменательным было его признание в поэме «Владимир Ильич Ленин»: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» (т. 6, стр. 234). Очищаться от «поэтической шелухи», легкомысленной бравады, излишне усложненных форм помогали ему и классики. Не случайно он все чаще упоминает в своих стихах и выступлениях имена Пушкина, Лермонтова, Некрасова, вопрос об учебе у них серьезно занимает его.

В. Маяковский работал почти исключительно в области современной тематики, злободневный гражданский стих — его стихия; он не писал на исторические темы, не занимался переводами, современность полностью поглощала его кипучую энергию. Богатые традиции гражданского стиха он поднял на новую ступень, сообщил ему новаторские качества. Поэт-трибун, боец, приравнявший стих к штыку, он открыто и насквозь тенденциозен. Поэзия прошлого не знала такой меры участия стиха в общественной жизни и революционной борьбе. На свою нелегкую работу поэта-агитатора, пропагандиста коммунистических идей он смотрел как на гражданский долг. Наряду с созданием художественных произведений, которым суждено было «громаду лет прорвать», он занимался «черновой» стихотворной работой, писал сатирические стихи и подписи к плакатам о происках империалистов, поддерживал партийно-хозяйственные компании. Для него не было непозитических тем. От узловых событий революции и социалистического преобразования до стихов о домкоме и цынготных детях, — предметом его поэзии была вся жизнь страны. Не хотел он сидеть «на своей поэтической лавочке», презирал лирических белоручек, «болоночных лириков».

⁵ А. Пушкин. *Полное собр. соч.*, т. VII, стр. 81.

Горячим стремлением к активному вмешательству в повседневную практику социалистического строительства Маяковский заражал своих современников; и поэты комсомольской плеяды, и его ближайший соратник Асеев в этом отношении многому научились у него. Жанры боевого политического и агитационного стиха заняли в его творчестве исключительно большое место, он сумел поставить их в авангард литературного развития, укрепить их авторитет в читательских массах. Впервые в истории русской литературы выдающиеся поэты революции, прежде всего В. Маяковский и Д. Бедный, так решительно устранили границы между поэзией и повседневностью, соединили в поэтическом сплаве высокое и будничное.

Страстно любил Маяковский все то новое, что принесла с собой революция, был непримирим к проявлениям мещанства, эгоизма. По силе ненависти к позорному прошлому в быте и сознании людей он не знал себе равных среди современных ему поэтов. Казалось, что мещанский быт преследует поэта, больно оскорбляет его большую любовь к революции и новому человеку. Он упорно воевал с этим постоянным своим врагом, направлял сюда «поверх зубов вооруженные войска» сатирических стихов, комедий, пламенных призывов агитжанра.

Первым среди новаторов был Маяковский и как наиболее убежденный певец радостей жизни. Никто из его современников не умел так талантливо и остроумно развенчать меланхоликов и скорбников, так вдохновенно прославить «веселье труднейшего марша в коммунизм». Отмирала в русской литературе многовековая традиция поэзии «мировой скорби», утверждалась оптимистическая философия деяния. Трибуну кипучего революционного темперамента ненавистны были нытики, сделавшие модой упаднические настроения «есенинщины». На скорбные строки предсмертного стихотворения Есенина Маяковский ответил знаменитыми, исполненными глубокого социального оптимизма, строками:

Для веселия
 планета наша
 мало оборудована.
Надо
 вырвать
 радость
 у грядущих дней.
В этой жизни
 помереть не трудно.
Сделать жизнь
 значительно трудней (т. 7, стр. 105).

Такой силы жизнеутверждения поэзия наша до Маяковского не знала.

В каждом новом произведении зрелого периода, особенно в этапных вещах — «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», «Во весь голос» — Маяковский все более глубоко и разносторонне отражает эпоху и характер революционера-преобразователя, повышает художественную силу стиха. Люби-

мыми героями поэта становятся люди высокой морали, самоотверженные и верные революции. Рабочие Курска, в годы разрухи добывшие первую руду, дипломат Воровский и дипкурьер Нетте, погибшие при защите государственных интересов, строители Курского комбината, селькор и смелый авиатор, Ленин и рыцарь революции Дзержинский — люди нового типа завладели его воображением. Высокую героику он открывает в буднях, вводит в поэзию жизненный факт, подвиг простого человека, в которых поэт видел «коммунизма естество и плоть».

Венцом творческих исканий Маяковского явились поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», и «Во весь голос». Революционная современность отражается здесь в живых образах, принципы социалистического реализма полностью торжествуют, в каждом стихе — отточенном и выверенном — сквозит зрелая сила великого новатора. По способу изображения это лирические, бессюжетные произведения. Однако предметом изображения здесь является сама история, величайшее событие в историческом развитии — революция, ее вождь, народные массы. Художественное мышление автора отличается масштабностью и монументальностью. В этом понимании его поэмы — это подлинно эпос, возникший из требований и условий социалистической действительности. Впервые в отечественной литературе Маяковский так естественно и гармонично соединил в рамках одной поэтической формы ярику и эпос. Лирическое наполняется у него значительным общественно-историческим содержанием и тем самым выполняет функции эпоса.

Никогда еще Маяковский не стоял так близко к традициям классиков, как в эти зрелые годы. Сохранив революционный темперамент и свою новаторскую природу, его стих освободился от излишеств формального порядка, стал более стройным, уравновешенным. Эта эволюция видна и в развитии его поэтического языка, и во всех элементах стиха. Если в ранних его стихах о произведениях первых лет революции не было недостатка в натуралистических сценах, вульгаризмах, искусственных словообразованиях, то теперь работа над обогащением словаря, образного арсенала приобретает иное содержание, поэт ориентируется на общепотребительный, обновленный революцией язык. И теперь нет уже произвола в обращении со словом, новообразования отвечают природе живого языка, становятся в художественном отношении более выразительными. Поэт продолжает пользоваться неординарной, по-особому звонкой рифмой. Но теперь она органичнее служит большой теме, на смену нарочитой усложненности, эффекту пришла естественность, звонкость от полноты чувств, как в заменитых строках «Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости». Естественно подчинена смысловой необходимости сильная и свежая рифма в поэме «Во весь голос». Нет ничего претенциозного, вычурного, что могло бы отвлечь читательское внимание, упорядочено чередование ударных и безударных слогов, строки предельно ясны и гармоничны.

Маяковский не только стремится к максимально четкой организации стиха на основе равноударности, но и обращается к ранее отвергавшимся им классическим размерам: ямбами и хореями написаны «Необычайное приключение...», «Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Урожайный марш», «Во весь голос». Поворот к Пушкину не означал, однако, возврата к Пушкину.

Знаменитые строки, перекликающиеся с «Памятником» Пушкина: «Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима», легли в стопы любимейшего пушкинского размера. Однако ямба не делает их архиачными, всем своим существом, поэтическим темпераментом, языковыми формами («громаду лет провет», «сработанный») они — «маяковские», этот образный строй и этот поэтический язык принадлежат лишь ему. И сам этот классический размер стал классическим по-новому, наполнился энергией и интонацией поэта революции.

И. Сельвинский объяснял обращение Маяковского к классическим размерам тем, что поэт «болезненно ощущал неподвижность своего метра» и поэтому вынужден был идти «на поклон к Пушкину»⁶. Возможности новаторской системы Маяковского оставались неисчерпаемыми, ведь и в наше время обращаются к ней. Маяковский убедился в жизнеспособности классической системы стихосложения, пополнил ее средствами свой арсенал. Плавные классические размеры сосуществуют у него с ударно звучащими тоническими метрами, в стихах господствует рассчитанная на большую аудиторию ораторская интонация. Практика зрелого Маяковского показала, что внедрение новых стихотворных принципов отнюдь не отменяет старые принципы; более того, новинки стихосложения оказывались наиболее продуктивными именно там, где соприкасались с классической традицией.

Модернисты и всякого рода абстракционисты в современной буржуазной поэзии нападают на реалистическую эстетику как на «устаревшую», ищут новое не на путях гуманизма и гражданственности, а на путях духовного распада, заумного жонглирования техническими приемами. Из стихов выхолащивается общественное содержание, утверждаются безгеройные, головоломные формы, человечная, ясная поэзия реализма третируется как «архаика», запутанные стихотворные ребусы выдаются за новаторство. Это уже было у нас, и это отвергнуто историческим опытом советской литературы. Подлинными большими новаторами смогли стать те, кто вдохновлялся передовыми идеями века, отражал новые явления жизни и новые человеческие характеры, творчески использовал традиции классической литературы. Об этом красноречиво говорит опыт Маяковского, наиболее яркого из новаторов. Такое понимание новаторства становится доступным все большему числу прогрессивных писателей мира.

⁶ И. Сельвинский. Студия стиха. М., 1962, стр. 53.

К вопросу об эстетических взглядах К. Паустовского (30-е годы)

С. Ф. ЩЕЛОКОВА

К. Паустовский, ясно сознававший «романтическую настроенность» своей прозы¹, на протяжении многих лет стремился осмыслить важнейшие эстетические проблемы, связанные с характером и формами существования романтического начала в советской литературе. Его всегда волновали судьбы романтических традиций в советской литературе, но еще больший интерес он проявлял к проблеме новаторства советских писателей, развивавших эти романтические традиции.

20—30-е годы — время активных идейно-эстетических поисков писателя, все более прочно утверждавшегося на позициях социалистического реализма. Писатель начинал в традициях «мечтательного романтизма». Трудности и противоречия в его творческом становлении хорошо видны в повести «Романтики», рассказах и очерках 20-х годов на революционную тему, в романе «Блестающие облака». Постепенно менялось романтическое мироощущение писателя, образно-стилевая структура его произведений. Писатель настойчиво искал свое место в искусстве, свою тему и своего героя, созвучного эпохе.

Начало 30-х годов было переломным моментом в творческом пути Паустовского. То, что вошло в его жизнь в это время, лучше всего определил он сам: «...родилось чувство новой эпохи» (VI, 428). Пожалуй, наиболее сильное чувство, которое в это время владеет Паустовским, это чувство молодости советской страны, неисчерпаемости ее творческих сил. Проблема преобразования нового мира на социалистических началах глубоко волнует и самого писателя и его героев. «Наше время — самое благодарное из всех эпох в жизни человечества» (II, 173) — эта мысль неоднократно варьируется в его произведениях тех лет. Годы первых пятилеток в истории страны Паустовский называет «стратосферической» эпохой, «необычайной»², «эпохой создания новых человеческих отношений и новой жизни, полноценных в каждой своей секунде»³.

¹ К. Паустовский. Собрание сочинений в 8-ми томах. «Художественная литература», М., 1967, т. I, стор. 13. Далее все ссылки даются по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.

² К. Паустовский. Как я работал над своими книгами. М., Профиздат, 1934, стр. 26.

³ К. Паустовский. Долг перед Черным морем. — «Маяк коммуны», 1935, 24 октября.

Сам Паустовский хорошо ощущал эту свою новую мировоззренческую позицию. «Как резко переменялись за годы революции понятия!» — пишет он в статье «Борьба за будущее»⁴. В другой статье — «Социалистический пейзаж» — он снова подчеркивает, что в революцию и в первые годы социализма «открылись новые пласты сознания, новые области восприятия. Переменялась сама сущность ощущений. Мир начал выглядеть иначе, как бы освещенный новым пронизывающим светом»⁵.

Перелом в мировоззрении художника не замедлил отразиться в его творчестве. В 1932 г. был написан «Кара-Бугаз», в 1934 г. — «Колхида», заслуженно поставившие Паустовского в ряды художников социалистического реализма. Конечно, писатель и после них продолжал свои творческие поиски. Но главное он решил для себя именно в это время. Художник должен быть «полноправным строителем своей замечательной страны» (II, 108) — это исходная идейная позиция писателя, в свете которой становятся понятными и смысл и направление его художественных поисков в 30-е годы.

В эти годы особенно активно идет процесс дальнейшего формирования, обогащения эстетического идеала Паустовского. Он наполняется большим социально-этическим содержанием, обретает прочную жизненную основу, становится идейно созвучным эстетическому идеалу литературы социалистического реализма. Одновременно у Паустовского складывается новая концепция места и роли романтического начала в советской литературе. Она дает основание говорить прежде всего об общности идейно-эстетической позиции писателя и других советских художников-романтиков. Так же, как В. Вишневского, Н. Тихонова, В. Луговского, Б. Лавренева, Э. Багрицкого, М. Пришвина, Ю. Олешу, Паустовского остро волнуют вопросы о праве советского художника на романтическое изображение эпохи и о его месте в этой эпохе, об отношении романтической мечты к действительности в новых исторических условиях, о новом типе романтического видения мира у советских писателей, о роли романтики в воспитании человека социалистического времени, о принципах романтической типизации в произведениях социалистического реализма и т. д.

Размышления Паустовского в 30-е годы над всеми этими вопросами представляют несомненный интерес для тех, кто обращается к таким сложным и сравнительно мало исследованным проблемам, как судьбы и характер романтических традиций на отдельных этапах развития советской литературы. Изучение их связано с анализом различных «переходных»⁶ явлений в творчестве ряда писателей-романтиков советской эпохи, которые возникают в процессе утверждения их на позициях социалистического реализма. На необходимость рассматривать процесс формирования нового творческого метода «во всей

⁴ К. Паустовский. Борьба за будущее. — *Литературная газета*, 1937, 26 мая.

⁵ К. Паустовский. Социалистический пейзаж. — *Литературная газета*, 1934, 6 ноября.

⁶ А. Метченко. Кровное, завоеванное. «Советский писатель», М., 1971, стр. 12 б.

полноте и сложности»⁷, учитывать не только переход отдельных художников на позиции социалистической идеологии, но и «момент» формирования у них нового «эстетического мировоззрения»⁸, «момент», когда романтизм переходит «в новое эстетическое время»⁹, обращают внимание В. Щербина, Л. Тимофеев, А. Метченко, Д. Марков, А. Овчаренко.

Эволюция эстетических взглядов Паустовского в 30-е годы в этом плане изучена еще мало. Чаще всего авторы исследований ограничивались анализом отдельных, наиболее известных статей и рассказов писателя тех лет («Социалистический пейзаж», «Радость творчества», «Морская прививка», «Потерянный день»), общим анализом произведений (работы З. Крыловой, Л. Егоровой, Н. Воробьевой). Сама эта эволюция получала иногда противоречивую оценку (монографии Л. Левицкого, В. Ильина). Интересную попытку подойти по-новому к освещению эстетических принципов Паустовского сделала Л. Ачкасова в своей книге «Гуманизм в творчестве К. Паустовского». Однако четко определенный в ней социологический аспект исследования проблем гуманизма в творчестве писателя не всегда дает возможность проследить сам процесс формирования новой эстетической системы Паустовского, активного освоения им в 30-е годы идейно-художественных принципов социалистического реализма.

Большое место в размышлениях Паустовского в эти годы занимает вопрос о месте художника-романтика в советской действительности. Писатель утверждал, что художник с романтическим мироощущением имеет полное право «на существование» в литературе как представитель «линии советского романтизма». К этой «линии» он причислял не только себя, но и Горького, Пришвина, Бабеля, Багрицкого¹⁰. Соглашаясь с теми, кто называл его «советским мечтателем-романтиком», он одновременно подчеркивал отличие такого романтика от художников-романтиков прошлого. «Мы, советские писатели, не отрываемся от живой действительности. Наши мечты не уходят от жизни»¹¹.

Размышления Паустовского о месте художника-романтика в социалистическом обществе, о характере его мироощущения нашли отражение в таких произведениях писателя 30-х годов, как «Московское лето» (1930), «Морская прививка» (1935), «Воздух метро» (1935), «Черное море» (1935), «Потерянный день» (1937), «Простые сердца» (1939). Тема «приведения таланта писателя» романтической настроенности «в соответствие с эпохой»¹² — главная в них, причем в различные годы эта тема получала различный поворот в зависимости от эволюции художественного мироощущения самого писателя. В одних произ-

⁷ В. Щербина. Искусство живое, развивающееся. — *«Вопросы литературы»*, 1967, № 3, стр. 4.

⁸ А. Метченко. О социалистическом реализме и социалистическом искусстве. — *«Октябрь»*, 1967, № 6, стр. 196.

⁹ Л. Тимофеев. О принципах изучения советской литературы. — *«Вопросы литературы»*, 1967, № 12, стр. 22.

¹⁰ К. Паустовский. О своей работе. — *«Вечерняя Москва»*, 1933, 17 февраля.

¹¹ К. Паустовский. Как я стал писателем. — *«Пионерская правда»*, 1939, 2 июня.

¹² В. Щербина. В. И. Ленин и советское искусство. — В кн.: *«История русской советской литературы»* в 4-х томах, т. I, «Наука», 1967, стр. 147.

ведениях на первом плане оказывалась проблема преодоления романтических традиций прошлого («Морская прививка», «Черное море», «Простые сердца»), в других — проблема вхождения художника в свою эпоху, осознание им своей новой идейно-эстетической позиции («Московское лето», «Воздух метро», «Потерянный день»). В постановке и решении этой второй проблемы — главное отличие произведений Паустовского 30-х годов о судьбе художника-романтика от его произведений на эту же тему в ранний период творчества.

Уже герой рассказа «Московское лето» архитектор Гофман выступал с весьма определенной эстетической программой, в которой главной является идея созвучности творчества художника своему времени. Причем он требовал, чтобы эта созвучность выражалась не только в формальных элементах (отражение бурной эпохи в архитектуре дома отдыха), а, в первую очередь, в самом гуманистическом пафосе этого творчества, которое должно учитывать важнейшие нравственно-эстетические потребности времени, способствовать воспитанию «полноценной личности» (IV, 409). В такой трактовке архитектором Гофманом «социального заказа» времени нетрудно уловить «зерно» неоднократно развиваемой впоследствии Паустовским мысли об идейно-воспитательной функции романтического искусства в социалистическую эпоху. Однако в рассказе еще всячески подчеркивается «экзотичность» позиции Гофмана, исключительность его судьбы, вплоть до трагического финала. Здесь художник уже начал понимать свое время, но самому ему определиться во времени еще не удалось.

К проблеме вхождения художника-романтика в эпоху Паустовский возвращается в середине 30-х годов, когда он переходит от «прямого» изображения «творимой» советскими людьми романтики («Кара-Бугаз», «Колхида») к лирически опосредствованному изображению романтики «повседневности» («Черное море» было первым опытом в этом направлении). В «Морской прививке» и в «Черном море» эта проблема предстала, на первый взгляд, в своей «первозданности», как будто за плечами писателя не было его открытий начала 30-х годов. Однако при внешней традиционности конфликта художника с действительностью в этих произведениях идейно-художественное разрешение конфликта происходит здесь совершенно по-другому, чем в произведениях писателя 20-х годов. Так, более определенной выглядит социальная позиция героя «Морской прививки», писателя по профессии. Мы видим его в момент переоценки всего своего творчества, когда он впервые ясно осознает необходимость решительно отказаться от некоторых романтических традиций прошлого, толкавших его в стихию субъективизма, когда он начинает испытывать радостное чувство открытия «живой» красоты современной ему действительности, ясно ощущать «воздух времени» (VI, 428), когда у него рождается «чувство новой эпохи» (VI, 428) и когда он хочет «начать писать по-новому» (VI, 428). Рассказ свидетельствовал о настойчивых стремлениях писателя найти для своего творчества прочную реалистическую основу. В то же время Паустовский утверждал здесь свое право на лирико-романтическую интерпретацию действительности.

В свете этих идейно-художественных исканий Паустовского в 30-е годы не таким уж неожиданным выглядит и начатый им в те годы спор с А. Грином, который именно в это время стал олицетворять для него тот тип романтизма, от которого он настойчиво стремился оттолкнуться. Поэтому Паустовский

спорит и с А. Грином, и одновременно с самим собой (глава «Сказочник» в «Черном море», статья «Жизнь Грина» — 1939. В других главах «Черного моря», в пьесе «Простые сердца» А. Грин предстает перед читателем в образе писателя Гарта). Авторская позиция по отношению к Гарту-Грину двойственна. Когда Паустовский пытается определить сущность романтизма гриновского типа, его «происхождение», показать, почему такой романтизм не может удовлетворить советского художника-романтика, он выступает в роли довольно сурового судьи А. Грина, называя его «живым анахронизмом» (II, 10), художником «донкихотствующего склада», «воспитанного в старой романтике, знаменующей собой уход от жизни»¹³. В то же время писатель настойчиво ищет в романтизме А. Грина то, что может быть созвучным новой эпохе, и тогда он предстает как художник, обладающий огромной силой воздействия на читателя (пробуждает у людей «чувство высокого» — II, 170, бросает в умы «каждо деятельности во имя веселой и осмысленной жизни» — II, 108), и поэтому способный по-своему участвовать в социалистическом строительстве.

Но кроме этого, Паустовский еще и проецирует свою судьбу, свои поиски на творческую судьбу А. Грина, «дописывает» ее, чтобы показать потенциальную возможность вхождения художника-романтика в новую эпоху. В этом случае в образе Гарта явно проступают черты автобиографичности, а его идейно художественная эволюция отражает формирование советского писателя-романтика. Гарт, «двойник» Паустовского, идет к новому этапу в своем творчестве, как бы оглядываясь на Гарта-Грина, тщательно исследуя все плюсы и минусы его метода, «примеривая» его к современности. Суть «гриновской» проблемы для Паустовского в 30-е годы как раз и заключалась в том, чтобы показать необходимость установления принципиально новых взаимоотношений художника-романтика со своей эпохой и — в более широком социальном-философском плане — необходимость вообще борьбы со скепсисом, «недоверием» к действительности, за умение художника находить в ней для себя «подлинный» материал. Таким образом, центральной проблемой для Паустовского в 30-е годы оказывается не столько проблема соотношения романтической мечты и действительности, сколько проблема открытия романтики в этой действительности. В таком плане определена, например, им самим тема пьесы «Простые сердца»: «Основной темой моей пьесы является крушение старой романтики и показ романтики нашего социалистического времени (там же). И в этой пьесе, и в «Черном море» изображение социально-общественной сферы отношений призвано подчеркнуть закономерность рождения у художника (Гарта-Грина) ощущения «неповторимого времени», ощущения того, что перед ним — «настоящий мир новых людей» (там же). Причем показ духовного перелома Гарта-Грина в «Черном море» через пристальное созерцание психологически и социально оказался более мотивированным, чем в «Простых сердцах», где «возвращение зрения», понимание людей с «простыми сердцами» приходит к художнику в «результате неожиданного столкновения», в «обстановке напряженных коллизий» (там же).

В 30-е годы для Паустовского особую важность приобретает мировоз-

¹³ Беседа с Паустовским. — *«Вечерняя Москва»*, 1939, 31 марта.

зренческая позиция художника, идейная направленность его творчества. Паустовский считает, что подлинное художественное видение мира писателем-романтиком, видение «на уровне» своего времени возможно только при условии, если художник займет активную позицию в жизни («писатель должен вмешиваться в жизнь, а не только описывать»)¹⁴ если он преодолеет традиционное недоверие романтиков к действительности, научится соотносить с ней свой идеал, обретет то «чувство времени», «чувство новой эпохи», без которых настоящее художественное постижение своего времени невозможно¹⁵. Художник должен не только войти в «гущу жизни» (II, 108), вслушаться в сегодняшний день, — ему необходимо понять «великий смысл времени»¹⁶, суть тех огромных социальных нравственных сдвигов, которые произошли в стране в социалистическую эпоху. «Я считаю, — писал Паустовский, — что только в движении, в непрерывном соприкосновении с жизнью можно понять и почувствовать *сушность эпохи* (разрядка наша. — С. Щ.) и передать в меру своих сил это действенное ощущение другим»¹⁷. Таким образом, Паустовский ратует за осознанный взгляд художника-романтика на мир, за то, чтобы он развивал в себе способность, умение отбирать и интерпретировать факты действительности в свете основных социально-исторических и гуманистических тенденций эпохи.

Как и другие писатели, представители романтического течения 30-х годов, Паустовский много размышляет о гносеологических корнях романтического искусства в литературе социалистического реализма. Ему близка горьковская мысль о том, что новая социальная действительность стимулирует романтическое восприятие мира, он неизменно подчеркивает теперь объективную, реальную основу своего романтического идеала. Именно в эти годы Паустовский впервые по-настоящему понял то новое соотношение мечты и действительности, которое и определило во многом качественно новый характер мироощущения советских писателей-романтиков. Позже это свое понимание он формулирует следующим образом: «романтическая настроенность непротиворечит острому интересу к „грубой“ жизни и любви к ней (I, 13). Резко возрастает его интерес к «подлинной» жизни. Свой собственный романтический мир писатель все более настойчиво стремится повернуть лицом к жизни. В 30-е годы смещение ракурса его романтического видения в сторону реальности становится особенно заметным.

Паустовский ищет новые способы эстетического освоения этой реальности. В своей идейно-философской основе эти поиски отвечали основным тенденциям развития литературы социалистического реализма. Паустовский рассматривает себя как писателя «становящегося мира», а советскую действительность — как действительность «творимую». Поэтому он не ограничивался тем, чтобы наполнить замысел «его реальным содержанием» (III, 343), но и стремился к то-

¹⁴ К. Паустовский. Как я работал над своими книгами, стр. 29.

¹⁵ Почти теми же словами эту мысль неоднократно высказывал М. Пришвин. Современность произведения, по его мнению, находится в прямой зависимости от умения художника слышать «тон времени», развивать в себе «чувство времени», участвовать в «создании нового времени» (М. Пришвин. «Незабудки», «Художественная литература, М.» 1969, стр. 116).

¹⁶ К. Паустовский. Вечер во Дворце культуры. «Правда», 1933, 29 ноября.

¹⁷ К. Паустовский. Несколько слов о себе. — «Детская литература», 1937, № 22, стр. 46.

му, чтобы новая концепция действительности, к которой он пришел в результате многолетних поисков, нашла полноценное художественное отражение в его творчестве.

Для самого Паустовского в это время особенно важно было определить, что такое подлинная романтика современности, каковы социально-исторические «корни» этой романтики, какие стороны реальной действительности должны стать предметом изображения художника-романтика. При этом он постоянно акцентирует внимание на утверждающих тенденциях советского искусства. В многочисленных размышлениях и высказываниях писателя 30-х годов нашли отражение и его новое понимание романтики как революционной по своему духу, включающей в себя пафос всестороннего — социального, этического, эстетического — преобразования жизни советским человеком, и его представления о некоторых специфических чертах изображения действительности, свойственных советским писателям, тяготеющим к романтической стилиевой манере, и прежде всего об их постоянной ориентированности на изображение поэтических сторон этой действительности.

Жизненные «корни» романтики Паустовский видит теперь прежде всего в созидательном труде советских людей, в преобразовании жизни на основе принципов социалистического гуманизма. Само понятие «романтика» наполняется для него вполне конкретным социальным и историческим содержанием. Он прямо ссылается на мысль М. Горького о том, что наше время героично и потому романтично¹⁸. Романтическую «Сказку» М. Светлова он высоко оценил за то, что в ней показаны «своеобразие и красота нашей действительности», «подлинная поэзия нашей борьбы и работы»¹⁹, дух эпохи. Художник-романтик, по мнению Паустовского, должен учиться видеть романтику нашей эпохи в ее будничном облике, он должен понять, что «есть пафос борьбы и пафос упорной и талантливой работы» (VI, 218). Уже на склоне лет он признавался, что начало 30-х годов было тем временем, когда он прочно утвердился в своем убеждении, что «многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием» (III, 347).

Идейно-художественные искания Паустовского становятся более целенаправленными. Углубляется его интерес к реальным людям и событиям, а вместе с тем и реалистическая основа его творчества. Он внимательно вглядывается в то, как советский человек изменяет облик страны, как он творит новый мир «по законам красоты». В своих очерках, повестях начала и середины 30-х годов («Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море») он стремится «раскрывать новое, удивительное содержание различных мест в стране», показывать «страну социализма во всем великолепии ее поступательного движения, в новизне восприятий и человеческих отношений»²⁰. В то же время новая мировоззренческая позиция писателя позволила ему перейти к показу действительности в более

¹⁸ К. Паустовский. О своей работе. — *Вечерняя Москва*, 1938, 17 февраля.

¹⁹ К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи. М., *Художественная литература*, 1972, стр. 335.

²⁰ К. Паустовский. Социалистический пейзаж. — *Литературная газета*, 1934, 6 ноября.

широкой исторической перспективе, к осмыслению ее в глубинных, социально-причинных связях. Паустовский создает цикл произведений на историко-революционную тему («Судьба Шарля Лонсевиля», «Северная повесть», «Озерный фронт», главы из «Черного моря»), в которых настоящее дано в «связи времен», как торжество многовековой человеческой мечты. И одновременно создает произведения, в которых отчетливо звучит тема будущего. Как художнику романтического мироощущения, Паустовскому особо присуще было стремление попытаться увидеть «конечный результат великих событий» (VIII, 68), научиться понимать «сущность будущего» (II, 105). В его понимании по-настоящему «действенным» может быть лишь творчество того писателя, который умеет заразить читателя мечтой о будущем, помочь людям направить свои усилия на достижение этого будущего. «Приблизить будущее» (IV, 417), научить людей «мечтать страстно, глубоко и действенно», воспитать у них «непрерывное желание осмысленного и прекрасного» (V, 570) — в этом писатель видит теперь главное назначение своей деятельности. По его мнению, изображение «действенной» мечты советского человека должно органично входить в произведения литературы социалистического реализма.

Помыслы Паустовского в одинаковой степени обращены и к «неповторимому времени, переживаемому нами», и к «небывалому будущему, идущему ему на смену» (III, 43). Он пытается представить его в своем воображении, а затем донести этот образ будущего до читателя. Отсюда такой глубокий, постоянный интерес художника к проблеме создания «второй природы» (очерки 30-х годов, «Кара-Бугаз», «Колхида»), к теме «голубых городов» будущего («Московское лето», «Черное море»), к формирующимся новым нормам морали у советских людей (рассказы-утопии «Доблесть», «Травиата на кораблях» из неоконченной «Книги о будущем», рассказ «Поводырь», пьеса «Простые сердца» и др.). Эта четко выраженная историческая перспектива определяет собой сущность социально-философской концепции времени в произведениях Паустовского 30-х годов.

В начале 30-х годов перед Паустовским, как и перед другими советскими художниками, вплотную встала задача художественного воссоздания нового типа романтического героя. В «Кара-Бугазе», «Колхиде», «Черном море» черты облика этого нового романтического героя проявились уже достаточно отчетливо (Хоробрых, Давыдов, Габуня). Это не только мечтатель, но и борец, человек из «гущи жизни», представитель «мужественного племени»²¹ людей, занятых творческой работой по строительству нового мира, личность героическая. В его образе подчеркиваются такие черты, как гражданская активность, высокий строй мыслей и чувств, стремление к практическому участию в решении актуальных задач. Существенно меняются при этом и представления писателя о героическом. Он отказывается от абстрактно-романтического, внесоциального определения героизма, стремится выявить идейно-нравственные истоки подвига советских людей. Паустовский по-прежнему неравнодушен к исключительным, выдающимся проявлениям героического. Он обращается к образам участников декабристского движения, лейтенанта Шмидта, его восхищает

²¹ К. Паустовский. Как я работал над своими книгами, стр. 8.

«высокая степень» мужества папанинцев²². Но он уже научился видеть и героизм, который «ходит в кепке» (VI, 314), «героизм простой, ежедневный, не законченный торжественным апофеозом»²³, героизм обыкновенных людей своего времени — летчиков, и пастухов, девушек-медичек и рабочих паровозостроительного завода. «Героизм, — пишет он в одной из статей тех лет, — явление народное» (там же).

Новая эстетическая программа Паустовского ориентирована именно на такого типического героя. «Я считаю, — заявляет он, — что нетипические люди малоинтересны» (там же). Это, конечно, не значит, что Паустовский стал сторонником реалистической типизации. Он продолжал широко пользоваться романтическими приемами в изображении характеров. Он не дает характер в развитии, не показывает становления личности в ее социально-психологической обусловленности, не создает многомерные образы героев. Он ставит перед собой другую задачу — показать в герое «тот образ будущего человека, к которому народ стремится всей силой своих помыслов и надежд» (там же), то есть дать своеобразный эталон героя эпохи. «В каждом человеке, — говорил Паустовский в 1935 г. на обсуждении повести «Колхида», — есть определенные черты, которые интересны, которые необходимы для нашего времени. Эти черты необходимо выделить»²⁴. Этот принцип «усиления» положительных, героических, благородных черт в характере современника — основополагающий принцип романтической типизации Паустовского, зрелого художника, вводящий его творчество в широкое русло литературы социалистического реализма.

Но романтический «аспект» концепций действительности у Паустовского в 30-е годы обнаруживает себя не только в его ориентации на преимущественное изображение «поэзии борьбы и работы» советского человека, романтической мечты этого человека, но и в особом внимании художника к духовному климату эпохи, к ее нравственно-эстетическому потенциалу, к тем изменениям, которые происходили во внутреннем мире советских людей. Поэтому наряду с «прямым» изображением деятельности советского человека, Паустовский стремится помочь читателю опутить «воздух нашей молодой страны» (II, 74), передать «напряженное представление о полноценной жизни» (VI, 254), рожденное эпохой грандиозных социальных преобразований. Соответственно определяются и задачи искусства. Художник должен быть «проводником по прекрасному» (там же, 339). Он может и должен взрастить зерна романтики в душе человека, помочь ему занять активную позицию в жизни, мобилизовать его творческую энергию. «Задача советского искусства, — писал Паустовский, — воспитание нового человека, обладающего высоким строем человеческих чувств, богатой культурой, мужеством, честностью, того человека, который завершит создание коммунистического общества» (там же, 336).

В связи с этим в произведениях Паустовского второй половины 30-х годов получает новый поворот тема «художник-романтик и эпоха» — «Воздух

²² К. Паустовский. Борьба за будущее. — *Литературная газета*, 1937, 26 мая.

²³ К. Паустовский. О героях. — *Правда*, 1939, 10 марта.

²⁴ К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи., стр. 305.

метро», «Потерянный день», а также «Вторая родина» (1936), «Оправдание» (1939), «Мещорская сторона» (1939). Автобиографическая основа этих произведений особенно ощутима, образ художника предстает здесь как образ лирического героя. Паустовский исследует теперь сам *процесс изменения романтического видения* у советского художника, конечным результатом которого является расширение границ его романтического мира за счет «захвата», включения в него все новых и новых областей реальной действительности, установления новых взаимосвязей между категориями «прекрасного» и «социального», «конкретно-исторического». При этом писатель пользуется понятием «пристальное», действительное созерцание²⁵. Определение это, очевидно, не совсем удачно и даже, на первый взгляд, противоречиво, но для Паустовского оно в те годы было исполнено глубокого смысла. В контексте его высказываний это понятие предстает как синоним творческого, активного отношения художника к своему времени, как один из способов эстетического освоения действительности, определенный тип видения и отражения мира у советских художников лирико-романтической настроенности.

«Пристальное», действительное созерцание мира у Паустовского целенаправлено. В 30-е годы писатель упорно добивался, чтобы в его произведениях мир предстал в «полной реальности» (VII, 488). Он считал, что действительное созерцание рождает «пристальное внимание» к жизненной конкретности, к потоку повседневности. Точность видения, «зоркость художника» Паустовский ценит теперь особенно высоко. Но в то же время «пристальное», действительное созерцание для него — это и целостное поэтическое восприятие мира, способность «возвыситься» над явлениями «обыденной» жизни, чтобы оказаться в состоянии понять внутренний смысл этих явлений, увидеть их в свете высоких идеалов эпохи, открыть в них «современность», «прекрасные черты новой жизни». Только тогда в произведениях рождается та лирическая волна, тот подтекст, которые преобразуют самый «обыденный» жизненный материал, помогая извлекать из него «зерна поэзии», передавать даже такие «нематериальные» вещи, как, например, эмоциональный «тон» эпохи. Все это свидетельствует о том, что «пристальное», действительное созерцание как определенный тип эстетического освоения действительности рождало у Паустовского то «светлое и плодотворное состояние» (III, 52), которое помогало ему лучше чувствовать и понимать советскую действительность в ее наиболее поэтических проявлениях. В это особое одухотворенное восприятие жизни входит и способность создавать в своей душе «второй мир» природы, с которым связано наше чувство Родины; и умение искать и находить ту поэзию, что «насыщает сердце народа»; и, главное, желание видеть и показывать мир, говоря словами А. Довженко, «в его благороднейшей направленности». И уже как результат всего этого возникает в творчестве художника тот «звон к прекрасному», к открытию и утверждению этого прекрасного в окружающей нас жизни, в людях, в котором ярко проявляется гуманистический пафос творчества советских художников-романтиков.

²⁵ К. Паустовский. Повести и рассказы. М., Гослитиздат, 1939, стр. 36.

Ясно выраженная идейная направленность отмечает процесс «пристального» созерцания уже в рассказе «Воздух метро». Художник обретает утраченное им «чувство времени» благодаря, казалось бы, незначительному случаю — утренней поездке в метро. Но во время этой поездки он видит красоту подземных дворцов, сосед-ученый рассказывает ему о реке Неглинке, текущей под линией метро, реке, в «истории» которой проступает «связь времен», история России, а встреча с девушкой, строившей метро, помогает ему осмыслить строительство метро как результат всенародного героизма, как явление уже социальное. Так художественно реализуется мысль ученого, высказанная в самом начале рассказа: «Каждый день, если уметь видеть и обобщать, говорит о новизне эпохи»²⁶. Это, в свою очередь, определяет сюжетно-композиционное своеобразие лирико-романтических произведений Паустовского второй половины 30-х годов, где почти нет событий, но всегда есть движение «по восходящей» чувств лирического героя, переключение его с частных фактов на размышления широкого социально-философского плана. Таким образом, в «пристальном» созерцании главным оказывается не сам процесс созерцания как таковой, а способность художника к интерпретации увиденного в свете главных общественно-исторических тенденций времени.

Внутренняя активность «пристального», действенного созерцания особенно хорошо видна в мещорском цикле произведений («Вторая родина», «Оправдание», «Мещорская сторона»). Без этой активности не смогло бы состояться главное открытие лирического героя цикла — открытие им «чувства новой родины».

Как же рождалось это чувство? Знакомство с Мещорой началось у Паустовского, как известно, с чтения случайно найденного отрывка географической карты. Во время «чтения» этой карты в его воображении возникает романтический образ прекрасного и загадочного края. Но вот писатель попадает в Мещорский край, и постепенно на смену расплывчатым представлениям об этом крае приходит подлинное открытие этого «скромного», «левитановского» края. Незаметно для читателя художник «втягивает» его в орбиту своего «неторопливого размышления и пристального созерцания жизни»²⁷, которые позволяют ему показать Мещорский край как бы замедленной съемкой, крупным планом. «Острота зрения» становится ценнейшим качеством художника на этом «молекулярном» уровне художественного исследования. Писатель проявляет интерес к «каждой старой ветле над водой, каждой лесной заброшенной дороге, каждому облаку» (там же, 334). Не менее важное значение на этом этапе открытия края имеет и «*острота восприимчивости*» художника (там же, 336), под которой Паустовский понимал и способность тонко чувствовать «национальную окраску» родной природы и, главное, умение художника смотреть на природу по-новому, глазами человека социалистической эпохи. Паустовский ориентируется в изображении русской природы теперь на Пушкина, Пришвина, Левитана, но одновременно он стремится противопоставить «печальным» пейзажам Ле-

²⁶ К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи., стр. 70.

²⁷ К. Паустовский. Повести и рассказы. М., Гослитиздат, 1939, стр. 361.

витана свой залитый солнечным светом пейзаж, глубоко оптимистичный в идейно-эмоциональном подтексте.

Паустовский в мешцорском цикле не удовлетворяется изображением «просто пейзажа». «Созерцание» природы всегда осложнено и обогащено у него разнообразными наблюдениями, ассоциациями, возникающими у художника при знакомстве с жизнью народа «во глубине России». В результате на смену чисто эстетическому восприятию природы, ее красоты приходит более глубокое понимание природы как «части» духовной жизни народа, а отдельные, казалось бы, частные факты из жизни жителей края (судьба семьи бывшего бедняка колхозника Зотова, встреча с талантливыми мастерами-граверами из Солотчи, рождение в народной среде новых легенд и т. д.) осмыслиются в контексте общих социальных тенденций эпохи. Этот процесс «обобщения» там же, стр. 366, — важнейший этап в «пристальном», или действенном созерцании, определяющий его идейную направленность. У писателя рождается чувство «второй родины», ощущение им края как «небольшого клочка советской земли» (там же, 344). Эта любовь ко «второй родине» помогла ему увидеть свет современности, пронизывающий вчерашнюю мешцорскую глухомань, увидеть «живую сущность страны» (там же, 361). Активный, действенный характер этой «новой любви» (там же, 366) ко «второй родине» и ко всей советской стране нашел наиболее яркое выражение в лирическом признании о готовности защищать их от врага. Это ясно осознанное Паустовским в 30-е годы патриотическое чувство с годами будет все больше углубляться в творчестве писателя. Особенно проникновенно оно прозвучит в «Ильинском омуте». «Нет! — скажет Паустовский. — Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца» (VII, 557). В этих словах — итог большого и сложного творческого пути художника, всегда стремившегося показывать «лучшее в своем народе»²⁸. В открытии этого «лучшего» ему во многом помогло и то «пристальное» созерцание, с которым он вглядывался в жизнь родной страны, советских людей, в прекрасную родную природу.

Как видим, в 30-е годы проблема «приведения таланта писателя» романтической настроении «в соответствие с эпохой» глубоко волновала Паустовского. В подходе его к этой проблеме отразилась дальнейшая эволюция художественного мироощущения самого писателя. Заново переосмысливаются многие романтические традиции прошлого. Идут поиски новой героической романтики в жизни.

В то же время Паустовский все больше тяготеет к лирико-романтическому типу восприятия и отражения жизни. Творчество писателя второй половины 30-х годов свидетельствует о том, что в литературе социалистического реализма такой тип творчества является активным, целеустремленным по своему характеру, ориентированным прежде всего на постижение современной художнику действительности, на выявление основных социально-исторических тенденций эпохи.

²⁸ А. Овчаренко. Социалистический реализм и литературный процесс. «Советский писатель», М., 1968, стр. 264.

Драма М. Булгакова и Я. Ивашкевича о Пушкине*

И. МОЛНАР

А. С. Пушкин является героем многих советских литературных произведений, но события его жизни в 20-ом веке изображаются и в литературах других народов. Трагическая судьба классика русской поэзии между прочим легла в основу драм «*Последние дни*» М. А. Булгакова, «*Maskarada*» («Маскарад») Я. Ивашкевича и «*Csapda*» («Сети») Л. Немета. В нашей статье мы сравниваем произведения советско-русского и польского писателей о Пушкине, которые, хотя и не знали друг друга, были современниками (первый из них родился в 1891-ом году в Киеве, а второй — в 1894-ом недалеко от украинской столицы), упомянутые драмы возникли почти одновременно и помимо темы заключенные в них мысли также проявляют близкое сходство.

Мы, конечно, не считаем творчество Булгакова и Ивашкевича сходным, хотя бы потому, что значительный этап творческого пути живущего польского классика приходится на время, прошедшее со дня смерти советского писателя (1940 г.). Как мы увидим дальше, сходства обнаруживаются прежде всего в их драматургическом интересе, в переработанных впечатлениях, в волнующих их проблемах.

Для сравнения обеих драм о Пушкине необходимо описать их действие, ведь помимо темы, изображенные в тех произведениях события, ситуации и высказывания также подобны.

В драме Булгакова много действующих лиц. Удивительно, что среди них нет самого Пушкина, точнее говоря, он только пассивный присутствующий. «Часовщик» Витков, направленный Охранным отделением постоянно следить за поэтом и кредитор застают дома только Александру, свояченицу Пушкина. На материальное положение семьи жалуется и лакей поэта. Узнаем, что больной Пушкин приехал домой. Александра читает адресованное поэту анонимное письмо. Она из-за нападок на Пушкина недовольна жизнью в Петербурге. Мнение Натальи, жены поэта об этом другое. Она в разговоре с Александрой считает безосновательными сплетни о себе и Дантесе. Последний нежи-

* Статья была прочитана в октябре 1974-го года на юбилейном заседании Института Славянской филологии университета им. Л. Кошута по поводу 175-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина

данно посещает Пушкину и предлагает ей бегство вместе с ним. В доме богатого и причудливого аристократа, Салтыкова высшее общество расхваливает поэзию Бенедиктова. Среди гостей одна Воронцова выступает в защиту гения Пушкина. (Интриганы и доносчики, конечно, есть и здесь.)

Во втором действии, на балу у Воронцовых, Николай I признается Наталье в любви почти явно. Жуковский старается защитить перед царем одетого не в форму по уставу Пушкина. Государь недоволен произведениями поэта. Посол Голландии, Геккерен упрощает Пушкину, чтобы она вернула ему плененного любовью приемного сына. Дантес говорит Наталье о том, что ревнует ее царю. Воронцова привлекает интригана князя Долгорукова к ответственности из-за анонимного пасквиля, высланного поэту. (Интриган сразу думает о том, что и эта женщина была любовницей Пушкина.) Наушник Богомазов, который действовал удачнее, чем «часовщик», приносит начальнику жандармского управления копию письма поэта, адресованного Геккерену, но содержащего оскорбления по адресу Дантеса. Таким образом царь очень быстро узнает, что состоится дуэль, которой он не хочет препятствовать.

Из третьего действия мы узнаем, что Дантес вынужден жениться на беременной Екатерине, младшей сестре Натальи. Голландский посланник, который не одобряет брака своего приемного сына, получает оскорбительное письмо от Пушкина. Об исходе дуэли мы узнаем от раненого Дантеса. Между тем Жуковский умоляет Александру, чтобы она призвала Пушкина к рассудку, осторожности перед царем. Для Натальи судьба мужа безразлична. Она знает, что ее сестра влюблена в поэта, но ее занимает только Дантес. Раненого Пушкина привозит домой его друг и секундант, Данзас. (За врачом идет «часовщик»).

В последнем действии рядом с умирающим находятся Жуковский и Данзас. Наталью только теперь одолевает отчаяние. Начальник жандармерии распоряжается о том, чтобы отвезли и похоронили тело умершего втайне, однако начинается демонстрация, которой полиция не в состоянии помешать. Отдых сопровождающих усопшего. Из друзей Пушкина участвуют в нем только А. И. Тургенев и лакей поэта. Часовщик испытывает угрызения совести из-за смерти Пушкина.

В драме Ивашкевича поэт выступает как активное действующее лицо. Здесь встречаемся и с третьей из сестер, Екатериной (Catherine). Вместо адъютанта Бенкендорфа, выступающего у Булгакова, встречаемся здесь с Ланским, вторым мужем Натальи. Его любовница — это Идалия, о которой у советского писателя говорилось только как о помощнице встреч Пушкиной с Дантесом.

Пушкин пишет в своей комнате. Здесь тоже находится вместе с ним влюбленная в поэта Александра (Alexandrine). Она рассказывает ему о том, что Дантес попросил руки Екатерины. Пушкин говорит ей о своей антипатии к мужчине и подозрении к нему в связи с женой, Натальей (Nathalie). Здесь сам поэт читает полученное только что анонимное письмо. Все больше мучат его постоянные интриги, сознание ограниченной царем личной свободы, и как и в драме Булгакова, недостаток денег. Пушкин уже готовится к дуэли, хотя еще не знает, с кем он должен сразиться. Александра в этом произведении также боится жизни в столице. Пушкина недовольна только мужем, потому что он пишет мало и у них мало денег. (Наталья торгуется и с издателем.) Пушкину возмущает на-

мерение Дантеса жениться на Екатерине и то, что поэт ничего не имеет против брака. Здесь Пушкин узнает из слов своей жены, что она любит Дантеса и в бешенстве поднимает руку на нее. Он даже не верит в то, что Наталья может любить его. Пушкин также подозревает царя.

Во втором действии выясняется: Идалия и Ланской посредничают между государем и Пушкиной. (Идалия отправляет поэту анонимное письмо, согласно которому царь будет в маске Аполлона на маскараде.) Также в пьесе Ивашкевича монарх признается Наталье в любви, который, по его словам, не может жить, чтобы часто не видеться с женщиной. Жуковский, подобно драме Булгакова, в интересах своего друга является на аудиенцию к царю, который «простив», склонен заплатить карточные долги Пушкина. Геккерен и здесь недоволен, потому что государь, имея в виду «счастье» поэта, посредничает в заключении брака Дантеса с Екатериной. (Царь просит посла о том, чтобы его приемный сын тоже был одет в Аполлона.) Поведение Пушкина в этой драме еще больше оскорбляет государя. Поэт вваливается к нему без позволения, потому что догадывается, что застанет жену у монарха. В их разговоре все больше обостряется спор по вопросу, поставленному Пушкиным, до чего довел Россию Николай I. Государь здесь высказывает поэту в лицо, почему не удовлетворяет его деятельность Пушкина. Все аргументы, просьбы поэта напрасны.

В третьем действии друзья хотели бы защитить поэта от его врагов. И здесь, по мнению Жуковского, Александра может сделать больше всех в интересах Пушкина. В драме Ивашкевича поэт не пишет письмо Геккерену, а лично привлекает его к ответственности, потому что считает посланника интриганом. Дипломат в этом произведении затаивает месть, потому что Пушкина не препятствовала заключению брака Дантеса. Поэт ищет исчезнувшую с бала Наталью. Он, как сам говорит о том Александре, считает жизнь все более безнадежной. Пушкин срывает маску мужчины одетого в Аполлона и видит перед собой Дантеса, которого ударяет. Из слов поэта выявляется, что ему не хочется дальше жить.

Пушкина в произведении Ивашкевича также интересуется только судьбой Дантеса. Только тогда она предается отчаянию, когда узнает, что состоится дуэль. Наталья выгоняет Екатерину из дому, потому что сестра отняла у нее возлюбленного. Данзас и здесь вместе с раненым поэтом. Умиравший Пушкин любой ценой хочет узнать, где была его жена в последнюю ночь. Жуковский, по его просьбе, зовет к поэту царя. Умиравший не проявляет смирения. Он прощает государю его поступки, но в своих последних словах издевательски предостерегает его от недостоверности Натальи. Приказ царя и в этой драме: тело мертвого поэта быстро отвезти в деревню и скромно, втайне похоронить его. Вместо Студента и Офицера в произведении Булгакова здесь друзья Пушкина стремятся объяснить, почему великого поэта постигла такая судьба.

Даже на основе беглого обозрения действия очевидны сходства отдельных мотивов или событий. Они свидетельствуют об использовании общих источников. В обеих драмах мы находим мотив тоски по деревне: Пушкин мог бы жить спокойно, если бы его не окружали враги, мог бы творить свободнее. «Что ни получим, ничего за пазухой не остается, все идет на расплату. Александра Николаевна, умолите вы его, поедem в деревню. Не будет в Питере добра, вот

вспомните мое слово» — говорит уже в начале произведения Булгакова лакей поэта.¹ Александра тоже рада была бы уехать в деревню, но Наталья протестует против этого. *Деревня* является символом покоя и свободы. Символично и то, что туда везут только тело мертвого поэта в конце драмы. В первом действии произведения Ивашкевича Александра просит Пушкина, чтобы они переселились в деревню. Ответ поэта: его жена не хочет ехать. В следующем действии, в конце спора, Пушкин умоляет царя, чтобы он разрешил ему поехать в деревню или за границу, потому что он не может дальше жить в столице. Монарх говорит Жуковскому, что он готов заплатить долги Пушкина, но только при условии, если поэт останется в Петербурге. Из признания царя в любви Наталья узнает, что он не разрешает Пушкину переселиться из-за нее. В третьем действии Жуковский и Данзас умоляют Александру, чтобы она уговорила поэта выехать из столицы, от врагов. Хотя Пушкин вспоминает спокойное и плодотворное время, проведенное в Михайловском, Александра напрасно спрашивает его. Он, разочаровавшись во всем, отвечает, что ему уже нигде бы не было хорошо. Польский писатель не изображает похороны, но в конце его драмы государь приказывает, чтобы это произошло в деревне.

У обоих писателей выступает друг и секундант Пушкина, Данзас, который был его товарищем по лицу. Соблюдение биографических фактов наблюдается и в следующих, похожих друг на друга высказываниях: в произведении Булгакова Данзас говорит Жуковскому о том, что и он хотел бы вызвать Дантеса на дуэль, но Пушкин не позволил ему. В драме Ивашкевича разница состоит только в том, что Жуковский задает вопрос Данзасу: почему он не препятствовал роковой дуэли? Ответ Данзаса звучит так же, как в первом случае.

Вследствие изображения общей темы подобная передача связи между Пушкиной и царем в обоих произведениях не удивительна. Но более неожиданно то, что мы находим один из «реквизитов» этой связи у обоих писателей. «Я не знаю почему, но каждый раз, как я выезжаю, как-то неведомая сила влечет меня к вашему дому, и я невольно поворачиваю голову и жду, что хоть на мгновение мелькнет в окне лицо...» (364.) — говорит государь Наталье у Булгакова. Значение *окна* у Ивашкевича подчеркивается еще сильнее. В конце первого действия подозрительный Пушкин так говорит своей жене: «*Ty jesteś królowa! Więcej, cesarzo wa! (śledzi wrażenie tego słowa na jej twarzy)*»². Тогда кто-то проезжает мимо окна. Поэт не знает, кто это, Дантес или царь. Позже, из признания монарха в любви, выясняется: это он часто заглядывает в окно Пушкиной.

Изображение связи Пушкина — Дантес обосновано общей темой обеих драм. Но высказывание мнения Александрой об их отношениях не обязательно, однако налицо в обоих произведениях. В драме Булгакова, прежде чем друзья доставят раненого Пушкина домой, Александра упрекает Наталью в том, что

¹ М. Булгаков. *Драмы и комедии*. Москва, 1965, 347. Все дальнейшие цитаты из драмы «Последние дни» взяты из этого издания.

² J. Iwaszkiewicz, *Dramaty*. Warszawa, 1958, 355. Все дальнейшие цитаты из драмы «Maskarada» взяты из этого издания.

ее не интересует судьба мужа: «Неужели ты не видишь, что все эти неприятности из-за того, что он несчастлив? А ты с таким равнодушием относишься к тому, что может быть причиной беды для всей семьи» (395). Пушкина так отвечает: «Почему никто и никогда не спросил меня, счастлива ли я?... Что еще от меня надобно? Я родила ему детей и всю жизнь слышу стихи, только стихи... Ну и читайте стихи! Счастлив Жуковский, и Никита счастлив, и ты счастлива...» (395). В произведении Ивашкевича на подобный упрек Александры ее сестра равнодушно отвечает: «Poezja i miłość to nie to samo, Aleksandro!» (457).

Стоит отметить и разницу двух высказываний, которые не сходны только потому, что в обеих драмах произносятся в моментах не соответствующих друг другу и перед представителями разных лагерей. В конце второго действия произведения Булгакова кто-то докладывает царю, что Пушкин будет драться на дуэли. «Он дурно кончит... Теперь я это вижу... Позорной жизни человек. Ничем и никогда не смоем перед потомками с себя сих пятен... Умрет он не по-христиански. Поступить с дуэлянтами по закону» (380—381) — говорит монарх своему адъютанту в присутствии начальника жандармерии. Они сразу понимают, что царь не хочет препятствовать вооруженному столкновению. В драме Ивашкевича Николай I получает известие о дуэли от Жуковского, когда Пушкин уже умирает. Поэтам, в присутствии Данзаса, царь может сказать только то, что Пушкин должен умереть с любовью в сердце ко всем, как праведный христианин.

Кроме упомянутых сходств похожи друг на друга и некоторые элементы композиции обоих произведений. В I действии обеих пьес мы узнаем положение, семейное несчастье уже покоренного Пушкина. В следующем действии как Булгаков, так и Ивашкевич изображают отношения между царем и Пушкиной, между монархом и поэтом. События III действия одинаково кульминируют в дуэли, состоящей за кулисами. А в последней части обеих драм писатели воспроизводят смерть Пушкина, в определенной степени делая ее наглядной, осязаемой и оценивая ее влияние и общественный отклик. На основе вышеупомянутого очевидно, что разрабатывающие общую тему Булгаков и Ивашкевич стремились к исторической верности или, по крайней мере, хотели использовать в первую очередь биографические материалы имевшиеся в их распоряжении. Их писательская фантазия в незначительной степени изменила эти материалы. Основные отличия в композиции объясняются тем, что в советской драме Пушкин не действует на сцене. В связи с этим конфликт поэта с царем и Дантесом может разворачиваться только у Ивашкевича, а отношение Пушкин — Пушкина поэту более мотивировано у польского писателя. В драме Булгакова о поступках поэта мы узнаем только на основе информации других действующих лиц. Ввиду того, что советский писатель в последнем действии показывает приготовления к похоронам, более ошутимо передает общественный отзвук смерти поэта, чем Ивашкевич, выдвинувший умирание Пушкина на первый план. Собственно говоря, единственная композиционная разница заключается в том, что та часть, которую нельзя назвать эпизодом из-за большого ее объема и в котором в присутствии общеизвестных в это время литераторов, Бенедиктова и Кукольника, светское общество высказывается о лите-

ратуре, находится только в I действии произведения Булгакова. (Это, как позже увидим, играет важную роль с точки зрения идейности пьесы.)

Пушкин является центральным героем также драмы советского писателя, ведь, хотя мы получаем только информации о том, что поэт делает, все значительные моменты событий связаны с ним. Если бы не он, а рожденный фантазией автора другой поэт был бы главным героем обоих произведений, было бы очевидно считать основной мыслью драм всеобщий конфликт писатель — власть, который не зависит от изображаемой эпохи и места. Однако, принимая во внимание только само действие и наиболее важные образы, мы имеем дело с биографическими драмами и формулирование их идейного содержания не так просто.

Только в пьесе Булгакова выступают «доносчики-профессионалы», начальник жандармерии, жандармы и полицейские. Старательно построенный, организованный механизм находится в распоряжении власти. Этот механизм необходим, потому что толпа (студенты, офицеры) протестует против самодержавия. В произведении выступают упомянутые литераторы, значит имеется модель, образец того, в каких писателях нуждается эта власть. Государственный аппарат с подозрением относится и к Жуковскому, который не считается врагом. Начальник жандармерии не разрешает ему, чтобы он запечатал комнату убитого Пушкина. Один из студентов, принимающих участие в шествии, цитирует стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». В ответ ему один из офицеров говорит: «То, что мы слышали сейчас, правда. Пушкин умышленно и обдуманно убит. И этим омерзительным убийством оскорблен весь народ... Гибель великого гражданина совершилась потому, что в стране неограниченная власть вручена недостойным лицам, кои обращаются с народом, как с невольниками» (406).

Упомянутых лиц и высказываний нет в драме Ивашкевича. Значит произведение Булгакова *политичнее*. Политичнее и в том случае, если мы примем во внимание то наслоение идейного содержания, которое мы можем непосредственно вычитать из самого действия, и в том случае, если имеем в виду время возникновения драмы. Общеизвестно, что в 30-е годы советский писатель стал опальным в глазах некоторых ведущих политиков культурного строительства, а даже Сталина. Булгаков вместе со своими произведениями был почти вытеснен из литературной жизни. В это время написал он трагедию о Пушкине (1934—1935). Критики его творчества согласны в том, что одним из источников этого произведения можно считать ошибки в области культурной политики этого периода и игнорирование Булгакова³. Поэтому из-за применения «реквизитов» системы власти изображенной эпохи мы считаем, что драма советского писателя имеет отношение к условиям своей родины в большей степени, чем пьеса Ивашкевича к России.

Более политичный характер и ссылки на свою страну в «Последних днях» доказываются тем, что царь, в связи с произведениями Пушкина, говорит Жуковскому: «такими стихами славы отечества не составишь. Недавно попот-

³ См. В. Смирнова. Михаил Булгаков — драматург. В книге: «Современный портрет» Москва, 1964, 314—315.

чевал. История Пугачева. Не угодно ли... Злодей истории не имеет. У него вообще странное пристрастие к Пугачеву» (366). Позже, узнавши, что состоится дуэль, он почти повторяет предыдущие слова: «Но время отомстит ему за эти стихи, за то, что талант обратил не на прославление, а на поругание национальной чести» (381). Значение *стихов* для государя очень большое. Доносчик Битков с изумительной скоростью учит стихотворения Пушкина, постоянно цитирует и доносит о них. В самом начале драмы Александра напевает «Зимние вечера» поэта, а в конце произведения «часовщик» цитирует те же стихи. Во время отдыха везущих тело умершего доносчик испытывает угрызения совести: «Да, стихи сочинял... И из-за тех стихов никому покоя... Ни ему, ни начальству, ни мне, рабу божьему Степану Ильичу... Только я на него зла не питал, вот крест. Человек как человек... Одна беда — эти стихи... Помер... Помереть-то он помер, а вон видишь, ночью, буря... Я и то опасуюсь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствия не настанет...» (410). То есть, постоянный сопровождающий Пушкина помогает сформулировать одну из важных мыслей драмы: дух, творчество потерпевшего поражение в столкновении с властью поэта непобедимы. Не случайно Булгаков взял эпиграф к своей драме из «Онегина»: «И сохраненная судьбой, / Быть может, в Лете не потонет / Строфа, слагаемая мной...» Эту мысль укрепляет вводный эпизод о литературе — единственная часть произведения, написанная в сатирическом тоне. Светское общество напрасно бранит поэзию Пушкина и слушает стихотворение Бенедиктова, под влиянием мнения Воронцовой второй поэт становится смешным. (Маниакальный хозяин дома приказывает своему слуге перенести том сочинений Бенедиктова из первого шкафа на тринадцатую полку последнего шкафа.)

Подобную интерпретацию внушает В. Смирнова, по мнению которой из драм русской и советской литературы о Пушкине, в произведении Булгакова вернее всех вырисовывается образ и трагедия поэта: «где сквозь старорусскую метель и вьюгу, сквозь барабаны николаевской эпохи проступает острое ощущение судьбы гения, утверждение его свободы и его победы — в споре с безчеловечным равнодушием и озлобленной бездарностью. В этом утверждении силы таланта... Булгаков-драматург, вероятно, искал и находил опору для самого себя в искусстве и в жизни»⁴.

В пьесе Ивашкевича конфликт царь — Пушкин играет большую роль, однако он, имея в виду действие, изображается как столкновение их личных интересов. Поэт врывается к царю из-за своей жены, чтобы привлечь его к ответственности и только после этого выясняется, что Пушкина больше интересует судьба своей родины, последствия самодержавия Николая I, чем поступки Натальи. Здесь мы находим ссылку на *политическую* противоположность царя и Пушкина, желающего изменений, нового. Государь, сохраняющий существующий общественный строй, так отвечает поэту: «*ty byś chciał palić i zabijać, i niszczyć, nic natomiast nie budując. A ja chronię to, co jest zbudowane*» (401). Царь и здесь говорит Жуковскому о том, что произведения Пушкина служат

⁴ В. Смирнова, 322.

не интересам народа, но кроме этого почти не упоминается о роли сочинений поэта. Даже разочарованный Пушкин начинает сомневаться в полезности своего творчества: «A może właśnie dla Rosji trzeba, żebym już umarł? ... Dla Rosji wystarczy już to, co zrobiłem» (443).

Ивашкевич, по крайней мере во время возникновения этой пьесы, не был писателем-политиком. Но на него также не мог не влиять фашизирующийся, начиная с половины 30-х годов, польский строй власти, тотализирующаяся диктатура. С точки зрения идейного содержания мы не можем считать безразличными мысли, внушенные биографическим слоем действия, изображающим Россию. Не исключено, что к написанию законченного в 1938-ом году произведения инспирировала Ивашкевича 100-я годовщина смерти Пушкина. (Интерес живущего польского классика к русской литературе XIX века доказывается между прочим его переводами произведений Толстого и Чехова.) Ивашкевич не принадлежал к числу тех польских писателей, творивших в период между двумя мировыми войнами, которые в своих произведениях, из-за исторических конфликтов, подходили к проблемам России без объективности. Этот факт подтверждается хотя бы стихотворением «Do Rosji» («К России»), напечатанным в томе «Powrót do Europę» («Возвращение в Европу»), изданном в 1930-ом году: /O czym mam ci powiedzieć, Rosjo, czy to, że Puszkın jest / pisarz niebieski? / Czy o tym, że mnie wzgardą smagał Dostojewski? / ... Czy to, że po twym ciele kołszę się słodkie i ciężkie zboże? / Czy to, że dzieli nas przepaść, na którą już nic nie pomoże, Przepaść, która mnie boli i pali, jak nożem zatrutym zadana / nieuleczalna rana? / Mam ci rzec, że cię niena widzę? Czy rzec, że jesteś ukochana?» Значит Ивашкевич не хотел показать самодержавие Николая I как систему власти, оккупировавшую Польшу. (Хотя в первом действии Данзас вспоминает об антипольских стихотворениях Пушкина, написанных в начале 30-х годов.)

Кроме царя почти нет таких действующих лиц в драме Ивашкевича, которые могли бы считаться представителями власти. Отсутствует также организованный аппарат самодержавия и нет представителей искусства, отвечающих интересам власти. То есть, проблема власти интересует польского писателя вообще. В конце произведения Жуковский так объясняет смерть поэта-товарища: «Rosja go zjadła. To nie jest kraj, w którym mogą żyć poeci!» В том же месте Данзас, последним предложением драмы, отвечает вопросом: «A ty znasz jaki inny kraj, w którym mogą żyć poeci?» (478).

Мы можем согласиться с Ю. Рохозинским, по мнению которого польский писатель искал причины трагедии Пушкина не только в характере, семейных отношениях поэта и в сокрушительной силе власти, сковавших его личную и творческую свободу. Ивашкевич считает, что окружающая писателя или художника действительность угрожает ему тотально, независимо от эпохи, в которой сам живет ⁵. Польский писатель воспитывался в духе модернизма начала нашего века, а в унаследованной от романтизма польской концепции противоположность личность — окружение занимала важное место. Отчаявшийся Пушкин сознается Александре в III действии: «Jestem w jakiejś nieokreślonej

⁵ J. Rohoziński, Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa, 1968, 34.

niewoli — u kogo, u czego — sam nie wiem. U siebie samego zapewne. Wszystkim i wszystkiemu *obcy* (курсив мой — И. М.), jak upiór kręcę się pomiędzy ludźmi, jestem do niczego, nic nie jestem wart... Ja już niczego się nie spodziewam od świata» (442). Тогда уже не любовник его жены является врагом поэта, а окружающая его действительность. «Och, ten policzek nie odnosi się do pana! Nie wiem na wet sam, dla kogo jest przeznaczony... a może... wcale nie dla pana... tylko... dla mnie samego» (447) — говорит Пушкин после того, как оскорбил Дантеса.

Оба писателя разрабатывали *семейную трагедию* Пушкина, но подробная картина отношения поэта к жене вырисовывается только в произведении Ивашкевича. У Булгакова мы узнаем отношение Пушкин — Пушкина опосредствованно и даже не выясняется, знает ли поэт связь царя с Натальей. Семейная трагедия менее мотивирована, значит менее важна.

У Ивашкевича Пушкин поднимает руку на свою жену из-за ревности, привлекает к ответственности государя и голландского посла. Даже умирая, он полон мыслей об отношении царя к Наталье, и когда монарх побуждает его к христианскому прощению, поэт издевается: «I ja także przebaczam Waszej Cesarskiej Mości» (475). В своих иронических последних словах он советует царю не верить этой женщине.

Мы видим недостатки драмы польского писателя именно в слишком большой роли любовных нитей, а также в осложнении интриги, связанной с «двойным» любовным треугольником. Ощущается стремление Ивашкевича представить нить любовь — ревность как менее значительное, однако это стремление не всегда увенчивается успехом. Когда Пушкин привлекает царя к ответственности, обвиняя и себя, сперва так говорит: «kiedy... trzymaście lat temu przychodziłem do ciebie w imieniu wszystkich pomordowanych przyjaciół i pytałem się ciebie: gdzie jest Rosja? A teraz!... Staję przed tobą — ja, twój pisarz nadworny — i pytam się: gdzie jest moja żona» (397). Хотя для поэта, как выясняется из дальнейшего перечисления своих оскорблений, судьба родины важнее, в конце страстного спора с царем речь идет снова о Пушкиной. Подобно в сцене, представляющей умирание Пушкина, в которой семейная трагедия слишком выдвигается на первый план. «Wszystko powinno było być inaczej. To ty miałaś być moją żoną» (469) — говорит поэт, прощаясь с Александрой. Его последние слова, сказанные жене, ослабляют драматическую силу произведения: «Ja wiem, że ty mnie nigdy nie kochałaś. Ale ja... Zdaje mi się, kocham ciebie, Nathalie» (473). Даже после этого признания Пушкин хотел бы узнать, куда она исчезла во время бала.

Из предшествующего также следует, что Ивашкевич нарисовал более подробный портрет Пушкина, чем Булгаков. От действующих лиц произведения советского писателя мы узнаем, что для поэта характерны вспыльчивость и, может быть, не в такой же мере, легкомысленность. Уменьшение его жизнерадостности и желания трудиться, процесс его разочарования и изменения его настроений (и одновременно основного тона драмы) передаются в пьесе Булгакова уместно выбранными цитатами, которые не производят впечатления простых иллюстраций. Они указывают на общественную роль, на вескость творчества Пушкина. Его талант признают и враги: «У Пушкина было дарованье, это бесспорно. Но он растратил, разменял его! Он стал бесплоден, как

смоковница! И ничего не сочинит, кроме сих позорных строк. Единственно, что он сохранил, — это самонадеянность! И какой надменный тон! Какая резкость в суждениях!» (361) — говорит Кукольник. О чувствах, о ревности не говорящего на сцене Пушкина узнаем только то, что необходимо для разработки темы. Значит, Булгакова интересует не «частное лицо», а образ *поэта*. Защищающая Пушкина Воронцова так формулирует это: «Ах, как жаль, что лишь немногим дано понимать превосходство перед собой необыкновенных людей. . . Как чудесно в Пушкине соединяется гений и просвещение!» (361).

У польского писателя мы узнаем о поэте и то, что он слишком гордый. Влюбленная в него Александра в начале произведения упрекает его: Пушкин живет в столице, потому что там все люди знают его и его жену считают самой красивой женщиной Петербурга. Из-за своей невыгодной наружности Пушкин испытывает чувство неполноценности по отношению к Наталье и даже верить не может в то, что жена может любить его: «Czyś widziała kiedy nas w lustrze? Czy możesz wyobrazić sobie ludzi bardziej nie stworzonych do siebie? Patrz, jaki ja jestem: mały, kędzierzawy, murzyniátko. . .» (355). Из-за ревности поэт поднимает руку на жену (впрочем мы узнаем, что он часто бьет и своих детей), привлекает царя к ответственности и, даже умирая, думает об отношении монарха к Наталье. Пушкин делает все это не потому, что его любовь такая глубокая, ведь он даже не уясняет себе силу своих чувств: «Może ja jej wcale nie kocham. Ale kiedy tylko spojrzę na nią, ona odbiera mi rozum, władzę, czucie» (445). (В этой драме очевидно и то, что поэт утешает себя Александрой.) Кроме беспокойства, заботы о судьбе своей родины, народа мы узнаем еще одну из положительных черт его характера: он ненавидит роскошную, безнравственную жизнь правящих кругов. В начале произведения поэт так говорит о Дантесе: «reprezentuje to wszystko, czego ja niena widzę. Wielki świat, łatwość kariery, ślizganie się po powierzchni życia, hołdy kobiet. . .» (346). Мы узнаем здесь скорее вспыльчивого, неуравновешенного *человека*, быстро разочаровавшегося из-за ограничения своей личной творческой свободы. Значит, мы узнаем скорее того Пушкина, который не видит смысла своей жизни и поэзии, чем великую индивидуальность мировой литературы. Одной из целей Ивашкевича была дегероизация или, пользуясь польским термином, «odbrązowienie» Пушкина, что в этом произведении тоже не обозначает ущемления глубокого уважения дела всей жизни великого писателя. (Такой прием часто наблюдается в польской литературе XX века.)

Булгаков выпускает на сцену «пассивного» главного героя не потому, что считает изображение выдающегося человека невозможным. Он считал живущего в советских зрителях образ Пушкина данным, известным, который сильнее, чем какой-либо наиболее удачный, новый «портрет». Присутствие пассивного главного героя способствует тому, что идейность драмы становится более убедительной: все равно, как поступает великий человек, великий писатель, его судьба и так зависит от власти, если эта власть ограничивает общественную и личную свободу; поэт не имеет значения, у него нет прав, все равно, какой он человек, какой у него талант. Мы чувствовали бы здесь не трагедию великой индивидуальности, а скорее трагедию *искусства*, если бы не могли вычитать из драмы мысли о непобедимости художественного творчества. Зна-

чит, трагедия искусства закономерна *не вообще*. Советский писатель, знаток теории театрального искусства осознал то, что его произведение «без Пушкина» будет убедительнее, эффектнее на сцене, а подчеркивание личной трагедии поэта, таким образом, не будет затруднять развертывания заключенных в этой драме мыслей.

Мнение В. Смирновой подобное: «пьеса о Пушкине 'без Пушкина' представляется мне оправданной всем развитием действия драмы, и «отсутствии» Пушкина, по-моему, воздействует здесь сильнее, чем мог бы добиться любой актер, загримировавшись поэтом»⁶.

Ивашкевич, подробно характеризуя писателя как «частное лицо», выразил скорее трагедию творческой индивидуальности. Мы воспринимаем эту *трагедию «вообще»*, независимо от политического строя, чувствуем необходимой, закономерной. Мир великого писателя, художника — это особый мир, которому угрожает окружающая и ограничивающая его действительность. Другое дело, насколько убедительно удалось выразить эти мысли польскому писателю с помощью изображения трагедии Пушкина. Произведение Ивашкевича слишком «педантично». Польский писатель реже пользуется возможностями сгущения драматической напряженности, чуть не кинематографическими сокращениями, сигналами, которые есть у Булгакова. И, как о том писал поэт-товарищ Ивашкевича, в драме «Maskarada» мелодраматическое окончание снижает эффективность произведения на сцене⁷.

Возникает вопрос: случайный ли почти одновременный выбор этой темы обоими писателями и сходства в идейном содержании обеих драм? Конфликт творческая индивидуальность — власть занимал Булгаков и Ивашкевича уже перед написанием рассматриваемых произведений, а также долго после этого. Эта основная проблематика появляется в завершенной в 1936-ом году драме Булгакова «Кабала святош. Мольер»: «автор написал пьесу о художнике и власти, и биография Мольера была лишь материалом для раскрытия этой темы»⁸. Впрочем с темой о Мольере мы встречаемся уже в комедии «Полоумный Журден» (1932), после которой следует законченный советским писателем в 1933-ом году роман «Жизнь господина Мольера».

У Ивашкевича конфликт писатель — мир впервые перед пьесой «Maskarada» появился в драме «Lato w Nohant» («Лето в Ноан», 1936), в которой польский писатель «отбронзовал» образ Шопена. Родство генезиса этих двух произведений очевидно уже при первом чтении. Самая значительная разница состоит в том, что в написанной раньше драме великому композитору удалось победить накопившиеся у него препятствия и творить себе собственный мир искусства⁹. Другим доказательством интереса Ивашкевича к Шопену — это эссе о знаме-

⁶ В. Смирнова, 321. См. еще В. Каверин. Заметки о драматургии Булгакова. «Театр» 1956 № 10, 70.

⁷ А. Słonimski, O Maskaradzie. «Wiadomości Literackie» 1938 nr 52—53, 42.

⁸ С. Ермолинский. О Михаиле Булгакове. Глава из книги воспоминаний», «Театр», 1966, № 9, 83.

⁹ Ср. J. Rohoziński, 30—34.

нитом композиторе (1938). Рассматриваемый основной конфликт возвращается в пьесе «Wesele Pała Balzasa» («Свадьба господина Бальзака»), которая была написана после войны.

«Świat wewnętrzny artysty jest ważny w całości. Artysta. Słowo to stanowi w ogóle klucz do dorobku Iwaszkiewicza» — писал один из критиков произведений польского поэта, прозаика и драматурга¹⁰. Роль художника, писателя и искусства как переживаний и тем в творчестве Булгакова менее значительна, но также важна. Из разных отраслей искусства у советского писателя первое место занимает *театр* (его деятельность в качестве помощника режиссера, инсценировки, кроме произведений о Мольере комедия «Багровый остров»), после которого следует *музыка* (Булгаков предназначил ей важную роль в своей концепции театрального искусства, писал также оперные либретто) и *фильм* (сценарии, сотрудничество с кинорежиссерами)¹¹. У польского современника советского писателя после интереса к *музыке* (изучение музыки, кроме произведений о Шопене тема многих рассказов и стихотворений, оперные либретто, эссе о Бахе, воспоминания о К. Шимановском) следует интерес к *театральному искусству* (очерки об истории польского театра). Имя Ивашкевича неотделимо связано также с современной польской *кинематографией*, потому что на основе его повестей сделаны кинофильмы, сценарии которых были написаны отчасти самим писателем.

Только случайное сходство, что, независимо от значительной роли драматических произведений для творчества обоих писателей, драмы Булгакова и Ивашкевича не произвели большее влияние на развитие советско-русской или польской драматической литературы. Произведения советского писателя были постановлены на сцене только после его смерти или ставились всего несколько раз в немногочисленных театрах. Основное направление развития советской драматургии определилось произведениями А. Афиногенова, Б. Лавренева, Л. Леонова, Н. Погодина, К. Тренева, В. Вишневого и других.

Известный прежде всего как прозаик и поэт, Ивашкевич не влиял на польскую драматическую литературу потому, что одновременно с его «традиционными» по форме пьесами родились произведения С. И. Виткевича. Именно этот писатель, ставший с того времени известным во всей Европе, написал свои, уже почти «абсурдные» драмы перед второй мировой войной. В то же время были написаны и «поэтические» пьесы Е. Шанявского, который стал более популярным автором, чем Я. Ивашкевич.

¹⁰ W. Maciąg, *Literatura Polski Ludowej 1944—1964*. Warszawa, 1973, 308—309.

¹¹ Ср. С. Ермолинский, 88—91.

Les lumières en Europe Orientale et les débuts des mouvements nationaux

L. NIEDERHAUSER

Les lumières, le siècle des lumières — notions bien connues dans l'histoire européenne¹. D'origine anglaise, réalisées intégralement en France, modifiées en Allemagne, les idées éclairées jouèrent leur rôle en Europe Orientale aussi. Dans ce bref aperçu qui suivra ici, nous ne tentons pas de faire révéler le sort de ces idées dans ce territoire lointain de l'Europe, les changements y survenus. Tout cela pourrait faire le thème d'un livre entier. Nous nous contenterons d'un but beaucoup plus modeste, d'esquisser en quelques lignes les traits essentiels des lumières en l'Est européen et leur rôle dans les mouvements nationaux, des mouvements de renaissance nationale dont elles se trouvent à l'origine.

Une remarque tout d'abord. On emploie la notion des lumières (ou plutôt de l'Aufklärung allemand) en deux sens. Dans une interprétation plus restreinte on appelle les lumières ce système d'idées, qui, à la suite de multiples initiatives anglaises se forma par l'oeuvre des penseurs français du XVIII^{ème} siècle, comme préparation idéologique de la Révolution française. Même dans ce sens il faut distinguer au moins deux tendances, l'une modérée et l'autre radicale, pour ne pas parler d'autres nuances et diversités des opinions allant jusqu'aux individus. Ce système fut repensé par les philosophes allemands du siècle, modifié, même modéré sinon réduit aux platitudes. En tout cas, ce système d'idées est lié aux années précédant 1789 et, par la Révolution, il entre dans la phase de la réalisation.

¹ Quant aux lumières en général et en Europe Orientale: E. Valjavec, „Geschichte der abendländischen Aufklärung.“ Wien, 1961; E. W. Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Eduard Winter. Berlin, 1960; E. Winter, „Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa und die deutsch-slavische Bewegung.“ Berlin, 1966; „Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa. Aufsätze, Vorträge, Dokumentationen.“ Hrsg. Erna Lesky, Strahunja K. Kostić, Josef Matl, Georg von Rauch. Red. Heinz Inshreyt. Köln — Wien, 1972. Quant à Herder qui joua un rôle fondamental dans la propagation des lumières en Europe Orientale et précisément dans les débuts des mouvements nationaux, K. Stavenhagen; „Herders Geschichtsphilosophie und Geschichtsprophetie.“ *Zeitschrift für Ostforschung* 1952. p. 16—43.; Robert T. Clark, Jr.; „Herder, his life and thought.“ Berkeley — Los Angeles, 1955; E. Adler; „Gottfried Herder i idea człowieczeństwa. Przyczynek do historii niemieckiego Oświecenia.“ Olsztyn, 1961. V. encore Le mouvement des idées dans les pays slaves pendant la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle. Atti del colloquio slavistico tenutosi ad Uppsala, il 19—21 agosto 1960. Firenze, 1962.

Mais on peut donner aux lumières une interprétation plus large: c'est un système de pensées ou de comportement intellectuel qui, certes, ressort en tout cas des idées du XVIII^{ème} siècle mais n'est pas lié strictement à cette époque, son influence se fait sentir même après 1789, il présente une façon de penser et de voir l'univers, une certaine Weltanschauung ou au moins ses éléments. Dans un certain sens, le rationalisme des lumières survit en quelque forme dans la plupart des théories sociales et politiques jusqu'à nos jours. C'est dans ce sens plus large que Lénine emploie la notion en distinguant trois points principaux des lumières: la haine du système du servage, la défense des idées éclairées et la défense des intérêts des masses populaires². Il faut encore ajouter une chose: étant donné le développement retardé des pays de l'Europe Orientale, le fait qu'une mutation bourgeoise ne s'y produisit pas au temps de la Révolution française et de l'époque Napoléonienne, les questions posées par les philosophes du XVIII^e siècle restèrent ouvertes dans cette région même dans les premières décennies du siècle suivant. Or, il est légitime de parler des lumières en Europe Orientale même après 1789. Vers 1828—29, par exemple, Herzen se passionnait surtout pour Rousseau, en premier lieu pour le *Contract social*³.

Mais, tout en tenant compte de ce fait, de l'influence prolongée des idées éclairées, ce système d'idées exerçait cette influence éminemment sur ceux qui le rencontrèrent par la voie du despotisme éclairé, faisant connaissance de ses principes et de ses mesures pratiques immédiatement, par leur propre expérience. Il n'est pas nécessaire d'exposer ici amplement les traits caractéristiques de ce despotisme éclairé. Comme il est bien connu, il s'agit de la dernière phase des régimes de l'absolutisme féodal: agité par des besoins pratiques, le pouvoir d'État fait certains pas vers l'évolution bourgeoise, mais dans les intérêts de la défense du régime féodal, de son maintien, de sa modernisation. Phénomène présent en toute Europe, il se révéla par une force extraordinaire et une efficacité solide en premier lieu dans les grands empires de l'Europe Orientale, la Prusse, la Russie et l'empire des Habsbourg étaient ses représentants typiques. Par conséquence, il joua un rôle essentiel dans l'évolution russe et dans l'histoire des peuples appartenant à l'empire des Habsbourg. Tandis que les autres nationalités de la Russie, à cause de leur développement arriéré, ne subirent guère son influence, le josphisme dans les pays soumis aux Habsbourg, Slaves dans une grande partie, exerçait une influence assez profonde non seulement chez certaines couches de la population parlant l'allemand mais avec la même force et presque dans la même profondeur sociale chez les autres nationalités de l'empire aussi⁴.

Dans la même profondeur, ce qui veut dire que cette influence ne touchait que certaines classes et couches sociales. Chez les Russes, les Hongrois, les Croates, au

² В. И. Ленин. «От какого наследства мы отказываемся?» Полное собрание сочинений. Т. 2. Москва, 1960, стр. 519.

³ R. Labry; «Alexandre Ivanovič Herzen. 1812—1870. Essai sur la formation et le développement de ses idées.» Paris, 1928, p. 71—72.

⁴ E. Winter; „Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus, 1740—1848.“ Berlin, 1962; J. Butvin; „Slovenské národno-zjednocovacie hnutie 1780—1848. (K otázke formovania novodobého slovenského buržoázneho národa.)“ Bratislava, 1965, p. 26; Přehled československých dějin. Díl I. Do roku 1848. Praha, 1958, p. 632.

fond, ce n'était que la noblesse, quelques couches ou quelques individus. Chez les Tchèques la bourgeoisie, faible encore à l'époque du josphisme. Les Polonais et les deux Principautés danubiennes représentent un cas spécial. Il serait hardi de dire que la République nobiliaire polonaise représenterait le despotisme éclairé. Mais l'époque de Stanislas Auguste Poniatowski s'efforçait sans doute d'avancer dans cette direction (et elle avancera même plus loin dans la direction de la monarchie constitutionnelle, bourgeoise)⁵. Dans les Principautés, le régime Phanariote, dès le milieu du XVIII^{ème} siècle, produisit quelques mesures qui font penser au despotisme éclairé. Bien sûr, dans tous les deux cas, c'est la classe dominante noble qui pouvait faire la connaissance des lumières. Chez les petits peuples de la monarchie des Habsbourg, c'étaient quand même les couches plus élevées, jouissant de certains privilèges (chez les Serbes et chez Roumains) ou bien simplement la couche trop mince et au fond cléricale des intellectuels (chez les Slovaques et les Slovènes) qui avaient la possibilité d'étudier les idées éclairées.

Or, dans la plupart des cas, les couches touchées par les lumières n'étaient pas des couches proprement bourgeoises mais plutôt représentants du régime féodal. Bien sûr, il y avait partout des exceptions, penseurs et organisateurs issue de l'échelle inférieure de la société, sensibles surtout aux idées radicales.

Chez les peuples balkaniques on ne peut pas parler de l'influence du despotisme éclairé. Certes, le règne de Sélim III vers le tournant du siècle y laisse penser un peu. Mais ses plans de réformes échouèrent l'un après l'autre, les peuples chrétiens ne subirent aucune influence de cette partie. Mais même ici, on peut constater une certaine influence des lumières, en premier lieu dans le cas du peuple le plus avancé du point de vue économique, des Grecs où c'étaient des couches bourgeoises qui subissaient cette influence.

Il est évident que, si l'influence toucha des couches féodales et non bourgeoises de la société, ce fait jouera un rôle déterminant quant au caractère de cette influence, quant aux tendances des lumières qui prévalurent.

De ce point de vue, il n'est pas indifférent d'abord, si c'étaient les lumières françaises immédiatement qui se faisaient sentir, ou bien les lumières allemandes, beaucoup plus respectueuses et modérées que les représentants des divers peuples pouvaient connaître. La noblesse polonaise lisait déjà au milieu du siècle Wolff et Leibniz, faisait vite la connaissance des Anglais (de Locke p. ex.) et finit par étudier Descartes, l'Encyclopédie, Montesquieu, Voltaire, même Rousseau⁶. Les nobles russes, eux aussi, pouvaient lire en premier lieu les ouvrages français, entre 1767 et 1777 plus de 400 articles de l'Encyclopédie française furent traduits en russe et publiés dans de fascicules séparés, à peu près 60 ouvrages de Voltaire parurent en langue russe⁷. Et ces traductions se tournaient en premier lieu à la noblesse arriérée

⁵ E. Rostworowski, „Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek konstytucji 3 maja.“ Warszawa, 1966.

⁶ Historia Polski. Tom II. 1764—1864. Część I. 1764—1795. Warszawa, 1958, p. 364.

⁷ История СССР с древнейших времен до наших дней. Том III. Превращение России в великую державу. Народные движения XVII—XVIII вв. Москва, 1967. стр. 565—566.

de la province, les couches supérieures (en commençant par Catherine II) lisaient les penseurs français dans l'original⁸. Les représentants des lumières grecques, appelés «des maîtres de la nation» lisaient les Français, mais les Allemands n'étaient pas inconnus non plus jusqu'à Kant, même à Hegel⁹. Dans l'empire des Habsbourg, toutefois, même s'il y avait des individus qui étudiaient les Français (parmi les Hongrois p. ex.), peut-être c'étaient les Français dont ils firent connaissance d'abord (les Slovaques p. ex.)¹⁰, les milieux plus larges pouvaient lire surtout les représentants des lumières allemandes, par simple raison qu'il n'y avait guère de traductions, ainsi les ouvrages originaux allemands étaient plus accessibles. Les Roumains de Transylvanie préféraient aussi de lire les Allemands, quoique Budai-Deleanu aît connu Voltaire et Rousseau aussi¹¹.

Le choix entre les ouvrages français et allemands n'était pas simplement une affaire des connaissances linguistiques, mais d'un fait plus important: c'est la question si les tendances modérées ou radicales des lumières l'emportèrent. Naturellement, les choses ne sont pas tellement simples. Nous ne voulons dire strictement que l'influence française prépondérante conduisait à la victoire des idées radicales, tandis que les lumières allemandes n'amenaient qu'à des idées modérées. Nous désirons simplement de constater que l'étude des ouvrages français offrait plus de chances pour l'enracinement des idées radicales que celle des allemands.

En général, on peut constater que c'était pour la plupart la tendance modérée, déiste, souhaitant des réformes précisément pour éviter la révolution qui recueillit plus d'adhérents. Il est évident: d'une part, c'était la tendance conforme aux principes du despotisme éclairé ou au moins à ce que ce despotisme éclairé tolérait. D'autre part — étant donné le fait que dans la plupart des cas les éclairés venaient des rangs des intellectuels ecclésiastiques — même si dans leur pensée il se trouvait des éléments du matérialisme, en pratique et consciemment ils en rejetèrent les conséquences idéologiques, ils restèrent déistes, partisans des réformes, dont ils attendirent la réalisation de la part du despotisme éclairé. Il suffit peut-être chez les Russes de nous référer à Lomonosov¹². Dans ses odes à la gloire d'Elisabeth ou de Catherine II il fit allusion à beaucoup plus dans les mesures et dans le comportement à suivre que le gouvernement ne fut disposé, et quand même — ce n'est que du gouvernement qu'il expectait une réalisation au moins partielles de ses principes. Ou bien Staszic chez les Polonais¹³, prêt, par ses origines bourgeoises, d'aller plus loin dans la question

⁸ Quant à Catherine — Jan Grey; "Catherine the Great: Autocrat and Empress of All Russia". Philadelphia — New York, 1962. Catherine personnellement était éclairée et libérale. Quand en 1791, le gouvernement suisse dénonça La Harpe, le précepteur de son petit-fils, le futur Alexandre I pour son agitation révolutionnaire, Catherine le conserva dans ses fonctions, on dit, en motivant cette résolution qu'il pouvait être républicain ou jacobin, mais qu'il suffisait à l'impératrice qu'il était un homme honnête, K. Waliszewski, «La Russie il y a cent ans. Le règne d'Alexandre I.^{er} La Bastille russe et la révolution en marche (1801—1812).» Paris, 1923, p. 12.

⁹ J. Politisz, „Az újkori Görögország története.” (Histoire de la Grèce moderne.) Budapest, 1966, p. 33—34.

¹⁰ J. Butvin: op. cit. p. 25—26.

¹¹ Istoria României. III. Feudalismul dezvoltat în secolul al XVII-lea și la începutul secolului al XVIII-lea. Destrămarea feudalismului și formarea relațiilor capitaliste. București, 1964, p. 1075—1076.

¹² M. T. Белявский. «Михаил Васильевич Ломоносов.» Москва, 1954.

¹³ Stanisław Staszic, „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego”. 2^e éd. Réd. par Stefan Czarnowski — Bogusław Leśnodorski. Wrocław, 1952.

paysanne que la moyenne de ses contemporains, mais par la voie des réformes exclusivement, prises par l'État. Le noble Kołłataj¹⁴, autre représentant de l'époque de Stanislas Auguste, se contenta du projet d'accorder aux paysans la simple liberté personnelle, en laissant toute la terre dans la propriété de la noblesse. Et tous les deux, étant des prêtres catholiques, abhorrèrent, sur le plan idéologique, des conséquences matérialistes des lumières. Un des «maîtres de la nation» grecs, évêque lui-même, Eugenios Voulgaris, certes, proposa l'enseignement laïque¹⁵, mais dans d'autres questions il ne suivit pas les principes éclairés. Le Croate Baltazar Adam Krčelić, chanoine de Zagreb, conformément à la position d'un homme vraiment éclairé, vit dans l'apparition d'un météorite en 1751 non pas un signe du ciel mais un phénomène de la nature, mais en même temps il menait une lutte acharnée contre les athéistes. Il souhaitait l'union de tous les territoires sud-slaves sous le règne des Habsbourg précisément à cause du fait que c'est ici que se réalisaient les vraies lumières, naturellement par la politique du gouvernement¹⁶. Les savants s'occupant des sciences naturelles avec des résultats importants, pensons de nouveau à Lomonosov¹⁷, ou au Croate Ruđer Bošković, astronome et philosophe de renommée européenne qui finit par devenir membre de l'Académie Française et de la Royal Society, furent aussi partisans de ces lumières modérées¹⁸. D'autre part, bien sûr, leur position déiste leur rendit possible une critique aiguë des institutions de l'Église. Le Serbe, moine orthodoxe pour un certain temps, Dositej Obradović, dans son autobiographie, démontra d'une manière convaincante, basé sur son exemple personnel, comment démodée, arriérée était l'institution des monastères, par conséquent, il faudrait les abolir. Mais dans ses «Conseils de la raison saine»¹⁹ il prit une position modérée, déiste, et un peu plus tôt il posa l'activité de Joseph II comme exemple à suivre. (Dans son autobiographie il se montra toujours loyal envers l'empire des Habsbourg)²⁰. Cette position modérée était caractéristique pour les dirigeants des Serbes du Sud de la Hongrie. On pourrait encore citer Dobrovský et en général les chefs des lumières tchèques, tous partisans de cette tendance. Ou bien Bernolák et ses compagnons chez les Slovaques, la «Triade» de Transylvanie chez les Roumains — l'image restera toujours la même.

Loin de dire par cela qu'il n'y aurait pas eu des représentants de la tendance radicale, matérialiste, athéiste des lumières. Il suffit de se référer chez les Russes à Radiščev, mais on pourrait citer aussi Desnickij qui — en évitant soigneusement

¹⁴ H. Kołłataj, „Do Stanisława Malachowskiego... Anonima listów kilka. Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego.“ Réd. par Bogusław Leśnodorski — Helena Wereszycka. 1—2. Warszawa, 1954; A. Korta, „Hugo Kołłataj“. Przegląd Historyczny 1951. p. 7—25.

¹⁵ Stephen G. Xydis, „Modern Greek nationalism. Nationalism in Eastern Europe“. Seattle — London, 1969, p. 221—223.

¹⁶ Zvane Črnja, „Kulturna historija Hrvatske. Ideje — ličnosti — djela.“ Zagreb, 1965, p. 372.

¹⁷ Lomonosov, Schlözer, Pallas. „Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert.“ Red. Eduard Winter. Berlin, 1962.

¹⁸ Z. Črnja, op. cit. p. 364.; Roger Joseph Boscovich, S. J., F. R. S., 1711—1787. Studies of his life and work on the 250th anniversary of his birth. Ed. Lancelot Law Whyte. London, 1961.

¹⁹ Dositej Obradović, „Sovjeti zdravago razuma.“ Leipzig, 1784.

²⁰ Louis Léger, «Serbes, Croates et Bulgares. Etudes historiques, politiques et littéraires.» Paris, 1913, p. 104. V. encore Mita Kostić, „Dositej Obradović u istoriskoj perspektivi XVIII i XIX veka.“ Beograd, 1952; id. Ideološki stav Dositeja Obradovića prema jezuitima, iluminatima i masonima. Matica Srpska. Zbornik za Društvene Nauke 8. 1954. p. 5—15.

la question du christianisme — trouva l'origine de la religion dans la relation de l'homme avec la nature, la peur des phénomènes naturels²¹. Il faudrait encore montrer Martinovics et les jacobins Hongrois ou autres partisans enthousiastes de la Révolution française, même de la dictature des Jacobins²². Ce groupe radical, ou plus précisément ces individus radicaux se trouvaient quand même en minorité. Et de l'autre côté le grand nombre de ceux, partisans des lumières de type allemand qui se servaient même du serment de Noël pour propager la stabulation²³. Les représentants de cette tendance s'abstinaient de traiter les questions du régime social existant, ils ne proposaient que des réformes raisonnables, mais partielles. Ils représentaient un certain Aufklärisme, seulement leur révérence pieuse envers le despotisme éclairé les empêchait de trouver quelques unes de ses mesures extrêmes. Ou bien ils luttèrent simplement par des arguments rationnels pour la victoire de la raison, sur le plan de l'enseignement p. ex. ou pour la modernisation de l'administration, sans buts plus prétentieux.

Les lumières se propageaient pour la plupart par voie de la lecture. Ce n'était que la classe nobiliaire qui pouvait établir des liens personnels avec les représentants éminents des lumières, par voie des études faites en étranger, des voyages, de la correspondance ou des visites. Il est bien connu que Catherine était en correspondance avec Voltaire, Diderot lui paya une visite à Saint-Pétersbourg même. A un moment assez mal choisi, certes, parce que la défaite du soulèvement de Pugačov fut beaucoup plus important à ce moment que la causerie avec cette personnalité fascinante des lumières. La discussion concernant les droits de l'Homme aurait mal harmonisé avec la guerre déclenchée contre les paysans soulevés. Ou un autre exemple: bien des représentants de l'école physiocrate visitèrent la Pologne, ils étaient peut-être précepteurs dans des familles aristocrates²⁴. Le comte hongrois János Fekete était en contact personnel avec Voltaire²⁵. Chez les Polonais, même les membres de la confédération de Bar, conservateurs convaincus se plurent à chercher les conseils d'un Mably ou d'un Rousseau concernant la politique à faire. Et si Mably leur conseillait au moins une monarchie héréditaire pour freiner l'anarchie nobiliaire (conseil mal vu, parce qu' inattendu), Rousseau, précisément au nom de la liberté, idéalisait le système existant en Pologne²⁶. Ces faits révèlent un trait caractéristique des lumières nobiliaires de l'Europe Orientale. Les boïars roumains des Principautés danubiennes, la société des patriotes de Martinovics en Hongrie, les députés du congrès serbe de Temes-

²¹ Quant à Desnickij — „Az orosz felvilágosodás.” (Les lumières russes.) Réd. par E. Niederhauser. Budapest, 1966, p. 95—107.

²² K. Benda, „A magyar jakobinusok iratai.” (Les documents des jacobins hongrois.) T. 1—3. Budapest, 1952—1957; id.: „A magyar jakobinus mozgalom története.” (Histoire du mouvement jacobin hongrois.) Budapest, 1957; id.: „A jozefinizmus és a jakobinusság kérdései a Habsburg-monarchiában. (Eredmények és feladatok a legújabb kutatások tükrében.)” Questions du josphisme et du jacobinisme dans la Monarchie des Habsburg. (Résultats et tâches à la lumière des recherches récentes.) *Történelmi Szemle* 1965. p. 388—422.; Bogusław Leśnodorski, «Les jacobins polonais.» Paris, 1965.

²³ E. Friedell, „Kulturgeschichte der Neuzeit. Aufklärung und Revolution.” München, 1961, p. 38.

²⁴ *Historia Polski* op. cit. p. 370.

²⁵ L. Geréb, „A jövő századoknak”. (Pour les siècles à venir.) Fekete János (1741—1803). *Természet és Társadalom* 1955. no 12.

²⁶ *Historia Polski* op. cit. p. 368—369.

vár (Timișoară) ou bien les rédacteurs du *Supplex Libellus Valachorum* des Roumains de Transylvanie, pour ne pas parler de Catherine en Russie, tous ils empruntèrent leurs arguments des idées éclairées pour défendre les droits exclusifs du despotisme ou des états privilégiés.

Dans la diffusion des idées éclairées, mais d'une fois de plus, des idées modérées, réformistes un rôle actif revenait aux loges des franc-maçons. La franc-maçonnerie fit son entrée en Pologne dans la première moitié du siècle déjà, mais elle devint plus répandue après 1764. En 1767 fut fondée la loge du Grand Orient comme centre, et à partir du roi tout le monde qui comptait, ou qui voulait compter au moins estimait de son devoir de devenir membre de telle ou telle loge²⁷. Dans l'empire des Habsbourg, la première loge se forma à Vienne en 1742, et à la fin du siècle, l'organisation couvrait déjà l'empire entier. Dans les années 80 du XVIII^{ème} siècle, le nombre des Franc-maçons en Hongrie fut à peu près 2000²⁸. En Russie, l'organisation s'implanta dans les années 70 et 80, et en 1804 fut fondée la loge du Grand Orient avec un maître national (qui était un Allemand appelé Böber)²⁹. Dans l'empire des Habsbourg, la franc-maçonnerie fut interdite en 1795 déjà, mais en Russie seulement pendant les dernières années du règne d'Alexandre I. Des loges maçonniques travaillaient dans les Principautés danubiennes et parmi les Grecs³⁰. Or, la franc-maçonnerie jouait un rôle important dans la diffusion des idées éclairées même après 1789. Elle n'était pas inconnue chez les marchands Grecs non plus.

Mais de quelle manière et par quelle voie que les lumières fussent parvenues en Europe Orientale, elles ne représentaient qu'une matière primaire, un amas d'idées, d'opinions, de points de vue dont on pouvait puiser cela ou l'autre ou bien beaucoup ou presque rien. La réception et sa forme dépendaient de la force de l'influence, du poids social et politique des couches influencées. Chez les nations, ayant leur propre classe dirigeante féodale, en premier lieu les Polonais et les Russes, dans une moindre mesure chez les Hongrois et parallèlement chez les Croates, il se forma une formule, plus compliquée, similaire au modèle originaire. On est tenté de dire qu'en dimensions plus petites, au niveau de l'imitation, de la reproduction plutôt que de la création, les lumières occidentales se reproduisirent ici. Chez les premières dans une forme diversifiée, remontant au modèle français, chez les secondes plutôt dans leur forme modérée et rétrécie allemande. Les lumières formèrent ici un système d'idées politiques et philosophiques, ressemblant au modèle, dans des variations se contredisant quelquefois dans les détails. Le Russe Ja. P. Kozelskij³¹, comme tels autres, basa sa conception de la société idéale sur les arguments du droit naturel, tandis que S. Je.

²⁷ Ibid. p. 366., 368.

²⁸ A magyar irodalom története 1772—1849-ig. (Histoire de la littérature hongroise de 1772 à 1849.) Réd. par Pál Pándi. Budapest, 1965, p. 17—18.

²⁹ История СССР. Т. III. стр. 571. К. W a l i s z e w s k i; «La Russie il y a cent ans. Le règne d'Alexandre I^{er}. 2. La guerre patriotique et l'héritage de Napoléon (1812—1816).» Paris, 1924, p. 329.; А. Н. Пыпин. «Русское масонство, XVIII и первая четверть XIX в.» Петроград, 1916.

³⁰ Ra du Anastasiu, „Istoria francmasoneriei române.” Bucuresti, 1936; Al. Duțu: Mișcarea iluministă moldoveană de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.” Studii 1966. p. 911—928.; J. Nicolopoulos, «Quelques renseignements sur l'activité maçonnique des frères Ypsilanti.» Eranistes 1964. no 8. p. 33—39.

³¹ „Az orosz felvilágosodás” op. cit p. 108—133.; Ю. Я. Коган. «Просветитель XVIII-ого века Я. П. Козельский.» Москва, 1958.

Desnickij mit en doute l'existence même du droit naturel se référant du fait que nulle part il n'existe un «homme naturel» que l'on pourrait abstraire de ses conditions sociales concrètes³². Les idées radicales et modérées pouvaient vivre l'une auprès de l'autre. Mais là où l'influence n'était pas tellement large, où les pensées reçues ne formèrent pas un système «national» des lumières, il ne restaient que quelques éléments d'idées. De notre point de vue, il y en a deux très importants. L'un, c'est l'importance de la langue maternelle, de la langue nationale, moment qui pouvait se prêter à une argumentation purement rationnelle, en dehors de tout programme national, remontant à Comenius. L'autre, c'est le développement de la vie économique, comme point de départ simplement l'amélioration de l'agriculture, l'enseignement aux paysans des formes plus modernes de l'agriculture, ou bien, dans une perspective plus large, le développement de l'industrie, du commerce et du transport. Tous les deux points pouvaient devenir un programme, un but à atteindre, issu des relations données, venu même de la pratique de tous les jours, mais qui n'était pas le résultat d'un mouvement social brusque d'une force élémentaire.

Mais il y avait une question qui ressortait justement de telles convulsions sociales, des mouvements paysans de la deuxième moitié du XVIII^{ème} siècle (les mouvements précédant l'introduction de la régularisation urbaine dans les diverses provinces de l'empire des Habsbourg, le soulèvement de 1775 en Bohême, la guerre paysanne conduite par Pugačov, les mouvements sur le territoire oriental de la Pologne, la koliiščina en 1768). Ce n'était plus question de raison ou de stupidité, d'arguments attrayants, de considérations rationnelles, mais de la réalité effrayante. C'est pourquoi la question paysanne devint en Europe Orientale un point important des lumières. Comme il fut signalé plus haut, chez les Polonais Staszic proposa des réformes sérieuses. Un tract anonyme, paru en 1788 sous le titre „Des serfs polonais»³³ contient déjà le programme de l'émancipation des serfs (la liberté personnelle seulement, bien entendu), un an plus tard un autre («Pensées politiques pour la Pologne») ³⁴ critiqua le régime des nobles d'une plate-forme bourgeoise. On peut citer Sámuel Tessedik³⁵, s'efforçant en Hongrie d'améliorer la situation économique des paysans ou Gergely Berzeviczy³⁶ plaignant leur sort triste. En Russie, la Société libre d'économie travaillant avec l'aide bienveillante de l'État posa la Question paysanne comme sujet mis au concours. A. Ja. Polenov présenta sous le titre «De la situation servile des paysans en Russie»³⁷ une critique lucide de la situation actuelle et, sans le formuler d'une manière précise, ne laissa pas de doute qu'il estimait nécessaires des réformes fondamentales. Et il faut se référer de nouveau à Radiščev. Le «Voyage de Pétersbourg à Moscou»³⁸ s'avère une description de la situation, mais avec telle force que malgré

³² Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII-ого века. Москва, 1956, стр. 480.

³³ O poddanych polskich. Warszawa, 1788. V. Historia Polski op. cit. p. 242.

³⁴ Myśli polityczne dla Polski. 1789. Ibid.

³⁵ I. Wellmann, „Tessedik Sámuel.” Budapest, 1954.

³⁶ Éva H. Balázs, „Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763—1795).” (G. Berzeviczy, politicien des réformes.) Budapest, 1967.

³⁷ О крепостном состоянии крестьян в России. V. История СССР. Т. III. стр. 561.

³⁸ Путешествие из Петербурга в Москву. 1970.

toutes les concessions au despotisme éclairé il suggérait, au fond, une solution révolutionnaire. Comme le cercle plus étroit des Jacobins hongrois insistait aussi sur une mutation révolutionnaire, autre qu'un soulèvement paysan³⁹.

Or, chez les nations avec leur propre classe dominante féodale, les lumières formèrent un système d'idées élaboré. Le despotisme éclairé prit vraiment des mesures, issues des principes des lumières, dans une plus grande mesure dans l'empire des Habsbourg, mais même en Russie, sauf les questions agraires. Certes, il faut faire ici une distinction entre les mesures prises par les gouvernements et les lumières par excellence. Le cas unique, c'est celui des Polonais, où les lumières polonaises, avec leurs idées, copiées ou adaptées aux besoins nationaux, devinrent le programme du gouvernement à l'époque de Stanislas Auguste. Sur le plan de l'économie et de l'enseignement, les lumières obtenaient des résultats concrets à partir des années 70. Au cours du Seim de quatre ans, surtout par la constitution du 3 mai de 1791 furent tirées les conclusions sur le plan politique aussi. Cette fois on put s'appuyer non seulement sur les idées éclairées, mais sur leur réalisation en marche en France. Évidemment, la réalisation totale en Pologne fut rendue impossible à cause des partitions. Le cas polonais est unique dans le sens aussi que la société polonaise était assez évoluée et avait la possibilité de la réception des idées occidentales. En même temps, au moment donné, elle avait un gouvernement qui, par des considérations rappelant celles du despotisme éclairé se montra prêt à réaliser ces idées, le programme national. L'empire des Habsbourg faisait aussi assez, mais contre les prétentions nationales (ou bien, pour mieux le dire, ne s'en souciant pas). Le gouvernement russe n'était pas étranger à ses peuples comme celui des Habsbourg, mais il ne représentait pas la minorité de la noblesse, inclinée à s'adapter aux lumières, mais la majorité se tenant au régime actuel.

Après 1789, parallèlement à la marche de la Révolution française, la position des partisans des lumières se modifiait. Sauf le petit nombre de ceux, prêts à marcher avec la révolution jusqu'à la dictature jacobine et rêvant d'une évolution semblable chez soi, la grande majorité devint effrayée et incertaine. Le Tchèque Matej Václav Kramerius, lui-même partisan des lumières modérées, rédigea des tracts politiques contre la révolution⁴⁰. Les intellectuels, enflammés pour le nouveau monde de la Raison, dans la réalisation duquel ils voulaient prendre part activement, s'alarmèrent de la réalité, loin d'être idyllique. Et même s'ils n'abandonnèrent pas entièrement les lumières, leur réformisme baissa.

Il en restaient quand même quelques éléments. Le respect de la raison, la foi dans l'égalité de l'homme et de sa bonté initiale, dans la force et, par conséquent, l'importance de l'enseignement et encore quelques principes du rationalisme continuaient à vivre. Et, ce qui plus est de notre point de vue, les points concernant langue maternelle, une littérature en cette langue, des réformes économiques — les débuts d'un programme national. Ce programme s'enrichira au cours de la première moitié

³⁹ V. en dehors des ouvrages cités de K. Benda, Gy. Bónis, „Hajnóczy József”. Budapest, 1954; Vaso Bogdanov, „Hrvatska revolucionarna pjesma iz g. 1794 u učesće Hrvata i Srba u zavjeri Martinovičevih jakobinaca.” *Starine Jugoslovenske Akademije Znanija i Umjetnosti* 46. 1956. p. 331—489.

⁴⁰ Přehled československých dějin I. p. 639.

du XIX^{ème} siècle, la Révolution et les guerres Napoléoniennes, libéralisme et romantisme l'influenceront, il sera modifié, élargi, deviendra plus hardi et plus national, — mais il conservera une certaine empreinte des lumières. Chez les nations, certes, dont nous parlâmes, chez lesquelles les lumières avaient une influence prolongée. Laissons les repasser devant nous encore une fois.

Les lumières polonaises représentaient le disciple relativement le plus conséquent des lumières occidentales. Elles touchaient des couches larges de la noblesse, vers la fin du siècle même des représentants d'origine non-noble se trouvaient. En général, les Polonais empruntèrent la variante modérée, il y avait quelques gens qui les interprétaient dans un sens conservateur, encore moins qui étaient partisans de la variante révolutionnaire. Celle-ci se fera sentir dans le soulèvement de Varsovie en 1794. L'intérêt porté pour le monde matériel témoigna de certains éléments matérialistes, mais en général les Polonais éclairés étaient déistes, attribuant au principe divin un rôle minime mais ne le rejetant point. Bien d'entre eux étaient plutôt théistes. Le droit naturel, les doctrines physiocrates, les principes mercantilistes avaient leur place dans leur programme de réformes. Parce que c'était la substance des lumières polonaises: la réforme de la République nobiliaire afin qu'elle pût reprendre son ancienne position parmi les puissances européennes. Ajoutons-y: au moment donné c'était le programme le plus réel. C'est peut-être la raison que beaucoup de ce programme fut réalisé⁴¹.

Les lumières russes ont une double face. Elles avaient une branche pour ainsi dire officielle dans le programme des réformes du despotisme éclairé remontant à Pierre I. Surtout sur le plan des réformes administratives, ce programme réalisa beaucoup des principes rationnels. Au moment donné, la Russie, étant loin encore de la crise du féodalisme, c'était un autre programme réel. Même si ce programme ne pouvait pas réaliser toutes ses possibilités à défaut des mesures dans la question paysanne qui auraient pu rappeler les réformes de Marie Thérèse et de Joseph II. De l'autre côté, les lumières russes étaient tellement ramifiées que celles polonaises. Les théoréticiens russes allaient bien loin. Dans la société future, Kozelskij n'attribuait à l'Église, à la religion aucun rôle, plus précisément, il n'en parlait pas, ce qui était une provocation en soi-même. Mais ces lumières prêtes à des solutions radicales étaient enfermées dans un cercle assez restreint et elles ne descendaient des hauteurs de la théorie pure à la réalité de la société russe que dans les plaisanteries demi-

⁴¹ Quant aux lumières polonaises v. W. Smoleński, „Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne.“ 3^{ème} éd. Poznań, 1949; C. Bobińska, „Społeczno-ekonomiczne idee polskiego Oświecenia.“ *Przegląd Historyczny* 1951. p. 82—106.; J. Kott, „O nową syntezę polskiego Oświecenia.“ *Przegląd Historyczny* 1951.“ p. 107—128.; B. Leśnodorski, «Le siècle des Lumières en Pologne.» *Acta Poloniae Historica* 4. 1961. p. 147—174.; B. Leśnodorski—J. Tazbir, „Problemy ideologii i kultury Oświecenia w Polsce.“ *Kwartalnik Historyczny* 1965. p. 419—425.; Ryszard W. Wołoszyński, „Pokolenia oświeconych. Szkice z dziejów kultury polskiej XVIII w.“ Warszawa, 1967; S. Hubert, „Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia.“ Wrocław, 1960; B. Suchocki, „Nauka polska w okresie Oświecenia.“ Warszawa, 1953; J. Fabre, «Stanislas — Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières.» Paris, 1952; H. Lemke, „Die Gebrüder Zaluski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig.“ *Studien zur polnischen Frühaufklärung.* Berlin, 1958.

courageuses de Novikov⁴² ou dans la critique amère de Radiščev. Personne n'initia une organisation pour la chute ou la réorganisation du régime existant. Il aurait été trop tôt, mais la raison véritable se doit chercher non dans cette circonstance, mais dans la rigidité impitoyable du régime qui écrasa la pensée même⁴³.

Les lumières hongroises portaient aussi un caractère nobiliaire. Quelques intellectuels plébéiens les firent parvenir au complot jacobin, tentative au moins à refaire ce qui existait. Mais la tentative elle-même révéla ses contradictions internes: d'une part, les lumières hongroises se servirent de l'idée de l'égalité à la défense des intérêts de la classe dirigeante, contre l'absolutisme, tandis que de l'autre elles s'enthousiasmaient pour ce même absolutisme réalisant les idées éclairées. Mais des josephistes, un nombre restreint seulement devinrent Jacobins. Encore un point: les lumières hongroises déployaient une grande activité sur le champs des belles-lettres, concevaient des plans politiques, mais quant aux questions de la philosophie, de la théorie, elles de dépassaient pas le niveau du choix et de l'imitation des idées, venues de l'Occident. Tandis que les Polonais parvinrent de la théorie pure au programme pratique, les Russes restèrent avec la théorie, les Hongrois s'intéressaient plutôt pour le programme pratique, dans la tendance radicale-jacobine et oppositionnelle-nobiliaire également. Ce qui vaut pour les lumières croates aussi.

Au lieu d'une classe dirigeante des nobles, les lumières tchèques ne se basaient que sur la bourgeoisie tchèque, ainsi elles se cramponnaient au josephisme en attendant de lui la réalisation de leurs principes. Principes qui ne dépassaient guère le cercle vénérable, mais assez étroit des lumières allemandes: l'enseignement, la science, l'économie rationnelle étaient les paroles. Comme elles n'insistaient même pas sur l'emploi de la langue maternelle, elles pouvaient compter du soutien de l'État. Elles n'avaient pas de grands plans de réformes. Le développement économique atteignit un niveau beaucoup plus haut que chez n'importe quel autre peuple de l'Europe Orientale. A ce moment, c'était suffisant⁴⁴. Le programme pratique des lumières hongroises s'explique par le fait que le pays était arriéré même à l'égard de ses possibilités existantes.

Un des traits des lumières grecques consiste en ce qui est unique: sur le plan élémentaire des lumières, celui de la civilisation, les Grecs ne devaient pas faire une comparaison seulement, et non plus en premier lieu avec l'Occident, mais avec leur

⁴² *Сатирические журналы Н. И. Новикова*. Ред. П. Н. Берков. Москва—Ленинград, 1951; Г. П. Макогоненко: «Николай Новиков и русское просвещение XVIII-ого века.» Москва—Ленинград, 1951.

⁴³ Quant aux lumières russes, en dehors des ouvrages déjà cités И. А. Федосов; «Из истории русской общественной мысли XVIII-ого века. М. М. Щербатов.» Москва, 1967; З. А. Каменский; Кант и русская философия начала XIX-ого века.» *Вестник Истории Мировой Культуры* 1960. № 1. стр. 49—66.; Г. П. Макогоненко; «А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества.» Москва, 1949; August Ludwig von Schlözer und Russland. Red. E. Winter. Berlin, 1961; O. Nálepková, *Nová literatura o ruském osvícenství druhé poloviny 18. století*. *Československý Časopis Historický* 1955. p. 166—173.; H. Rogger, "National consciousness in eighteenth-century Russia." Cambridge, Mass. 1960; Stuart Ramsay Tompkins, "The Russian mind: from Peter the Great through the Enlightenment." Norman, 1953.

⁴⁴ А. Klima, „Die tschechische Frühaufklärung in Zusammenhang mit der Entwicklung des Manufakturwesens. E. W. von Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Osteuropa.“ Berlin, 1960, 234—244. p.

propre passé, le monde hellénique de l'antiquité. Ce qui, dans les lumières, pour les autres était un legs lointain, venu par la voie de l'humanisme, c'était pour eux presque les antécédents immédiats dont il faut se souvenir simplement. L'autre point: les lumières grecques avaient un caractère encore plus bourgeois que celles tchèques, leur base se trouvait dans les marchands riches vivant à l'étranger. C'est pourquoi sur le plan de la théorie les lumières grecques n'aspiraient pas à l'originalité. A leur époque, Platon et Aristotèle l'avaient déjà fait. Le commerçant ou l'armateur grec exigeait un programme concret. C'est pourquoi les lumières grecques parvinrent plutôt à Rhigas, le révolutionnaire qu'à un Néo-Aristotèle quelconque⁴⁵.

Les lumières des Serbes et des Roumains de la Hongrie⁴⁶ étaient similaires à celles hongroises et croates, à une de leurs branches, elles avaient des pendants polonais et russes: les principes des lumières s'entendaient pour les classes privilégiées. Malgré ce fait, elles étaient plus progressives, en prétendant à une plus grande liberté contre un régime étranger, même si ce n'était que pour les classes dirigeantes. Les boïars roumains des deux Principautés ne souhaitaient que des lumières qui assure-raient leur liberté contre le pouvoir princier⁴⁷.

Les lumières slovaques ne pouvaient pas se baser sur une bourgeoisie comme celles tchèques, mais seulement sur des intellectuels, surtout prêtres, avec l'ombre de la paysannerie à l'arrière-fond. Or, auprès des revendications concernant la langue, les lumières slovaques s'intéressaient surtout aux mesures pratiques visant l'essor économique des paysans. Conscientes de leur faiblesse, les lumières slovaques étaient prêtes à accepter une aide de n'importe quelle part qu'elle viendrait, du traitement philosophique des principes les intellectuels slovaques s'abstenaient à cause de leur éducation cléricale et pour des raisons pratiques⁴⁸.

Inclinées plutôt vers la théorie ou vers la vie pratique, radicales ou modérées, les lumières des peuples dont nous parlâmes marquèrent la première phase du mouvement national aussi, mouvement de renaissance nationale qui aboutira au programme de l'État national indépendant. Les noms et les faits, cités plus haut, appartiennent pour la plupart aux débuts de ces mouvements. Coïncidence tout à fait naturelle si l'on tient compte du fait que les débuts des mouvements nationaux remontaient aux décennies du XVIII^{ème} siècle. A ce moment, les lumières représentaient la forme actuelle des mouvements nationaux.

⁴⁵ R. Demos, "The Neo-Hellenic Enlightenment (1750—1821)". *Journal of the History of Ideas* 1958. Oct. p. 523—541.

⁴⁶ Zoltán I. Tóth, „Az erdélyi román nacionalizmus első százada. 1697—1792.” (Le premier siècle du nationalisme roumain en Transylvanie.) Budapest, 1946; K. Hitchins; "Samuel Clain and the Rumanian Enlightenment in Transylvania." *Slavic Review* 1964. p. 660—675.

⁴⁷ N. Isar, „Aspecte ale mișcării luminate din Moldova în începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821).” *Studii* 1969. p. 1127—1144. (surtout concernant les écoles); V. Al. Georgescu, „Contribuții la studiul luminismului în Țara Românească și Moldova. I. Locul gîndirii lui Beccaria în cultura juridică românească și în dezvoltarea dreptului penal, pînă la mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu.” *Studii* 1967. p. 947—969.; V. Georgescu, "Political Ideas and the Enlightenment in the Romanian Principalities. (1750—1831.)" New York, 1971; A. Dușu, «Un livre grec sur „les lumières” occidentales traduit en roumain en 1819.» *Revue Roumaine d'histoire* 1965. p. 979—987.

⁴⁸ T. Münz, *Filozofia slovenského osvietenstva*. Bratislava, 1961.

Chez les peuples dont nous parlâmes, bien entendu. Il y a une autre série des peuples de l'Europe Orientale, dont l'évolution nationale commence plus tard (les Bulgares, les Albanais, les peuples baltiques), par conséquent les lumières ne jouaient pas un rôle dans leur développement. Des lumières leur manquaient. Mais pour les autres, les lumières constituèrent une phase initiale, très importante de leurs mouvements nationaux.

Mythology as a System of Signs
(Semiotic trends in Soviet comparative mythology)

M. HOPPÁL

1. *Introduction*

“Semiotics is a new science, whose object is any system of signs that are in use in human society... In the near future, semiotics will undoubtedly occupy an important place among sciences and will determine the perspectives of development for the science of today.” — V. V. Ivanov’s words have been quoted from the Preface of a small volume containing the outlines of the first semiotic symposium held in the Soviet Union (Ivanov 1972). Soviet linguists, scholars working in the field of the theory of literature and several other scholars dealing with other human disciplines realized the truth inherent in the quoted passage at the very beginning of the sixties. They strove to build up their treatises in accordance with the basic principles of semiotics. Hosts of young research workers were entrusted the job of examining certain partial problems, so that the various partial fields lying far from one another, of social life, i. e. the codes of ‘everyday life’¹ (traffic signs, etiquette, games, poems and myths) have also been taken in turn and analysed. These treatises have appeared regularly since 1964 in Tartu, with the exception of the first (Симпозиум... 1962).

The reason for this is that Yu. M. Lotman is teaching at the University of Tartu and he is one of the organizers and directors of semiotic researches carried out in the Soviet Union. The systematic character of these is also proved by the fact that every other summer in Tartu, or more exactly in the neighbourhood of Tartu, seminars including a number of lectures were held whose outlines and abstracts are published in mimeographed form (Программа... 1964., Тезисы... 1966., Летняя школа... 1968., Тезисы... 1970.) And the elaborated treatises appear in print the following year in the edition of the university of Tartu (Труды... 1965., 1967., 1969., 1971., 1973., 1975.). This is why this group of Soviet scholars is also called the ‘Tartu school of semiotics’.

¹ György Lukács and his followers’ term and central category: *everyday life*.

There is no need for specially proving the fact that a school in science does not develop from nothing overnight, but is the result of long, planned and pertinacious work. In Soviet research the formation of the school was not only promoted by this organizing activity, but also by the fact that they could start working on solid foundations of the history of science. The historical antecedents must be mentioned also because the Soviet colleagues regard the heritage of their predecessors as their own.

This time the investigation of historical antecedents takes us back into pre-revolutionary, revolutionary and post-revolutionary times, into the period when the so-called Russian 'formalistic' school prospered. Between 1920 and 1940 a number of works appeared that dealt with the theory of art, and chiefly with the theory of literature and which were rediscovered only in the sixties (both in the West and in the East). In the intervening decades well-known historical events and cultural-political principles pushed these works into the background. 'Habent sua fata libelli' — nevertheless at the beginning of the sixties the books had an effect on those who wanted the ideas of cybernetics and information theory to bear fruit in the field of the humanities, too. While investigating the antecedents of the research from their outset, these scholars discovered that a number of conceptions believed to be modern can already be found in these early works.

We have not enough space here to write about these antecedents; two names, however, must be mentioned, those of S. L. Vigotsky and V. Ja. Propp. The thoughts of the Russian psychologist Vigotsky, who died young, harmonize with the latest statements of semiotics. He resolutely pointed out the important role signs play in human culture and, especially, the connection between the word as a sign well as language and thinking. He established that only man is capable of using as signs stimuli produced by himself to control the processes of his own social behaviour. Sign systems produced by people always constitute means of social connections, but these connections are very intricate. For better orientation society has accepted 'sanctioned languages' such as e. g. the colloquial language, gestures, games, etiquette, religion (Hoppál 1971). These languages are the object of recent investigations and the first step here is to determine the constituents. Propp, who was a folklorist, in his investigation of Russian folk-tales revealed the intricate network of the linkage of elements. His *Morphology of Folktale* extraordinarily thorough and logical, is an early but still unsurpassed example of formal analysis. In the sixties he created some sort of a fashion with this method of analysis in the western countries². His method was organically incorporated into the attitude of young scholars, therefore they could join their 'formalistic' predecessors more directly. For that matter, with the formal description of folk-tales Propp set an example for the description of myths, too. The goal of the present thesis is to survey one of the fields of semiotic researches being carried out in the Soviet Union, namely mythological researches. The author had an opportunity to spend three months in the Soviet Union at the end of 1969³ in order

² No less authorities dealt with the evaluation of his work than Cl. Lévi-Strauss, E. Meletinsky and A. Dundes.

³ Here I should like to thank the following for their friendly assistance in my work in Moscow: V. V. Ivanov, V. N. Toporov, D. M. Segal, I. Tofik and last but not least I should like to express my gratitude to Márton Istvánovits, my colleague in Budapest.

to study semiotic investigations. This paper is the result of the work begun there. Such surveys of the history of science have a sad fate in that with the passing of time they soon become out-of-date, since newer and newer works come out. Although during the time, — three years and a half that has passed since then we have tried to keep up with publications, it is probable that our survey will not be complete. All the same such papers are also needed because we think that the work done by Soviet research workers in semiotics has not yet received due Hungarian and international recognition, which it would deserve. This has more than one reason. One of these is that foreign scholars do not have a good command of Russian, — the other being that even if they knew Russian well, they would not have easy access to these treatises, for the 'basic papers' of semiotically oriented comparative mythology to be reviewed below are often to be found in the columns of publications that are out of reach and have a very narrow circulation.

If still, accidentally, they dealt with the Tartu semiotic school, then — knowing the programmes of the summer seminars —, we need not wonder these reviews (Venclova 1967) dismiss mythological papers with a few words. Not much space is left for a deeper and more detailed evaluation and analysis. Or, just on the contrary, one given point of view is singled out and only one kind of material is presented from the many-sided researches.⁴

Nevertheless, now we are also going to resort to this method ourselves, and out of the rich material only treatises relating to mythology will be dealt with and classified. Perhaps such a summary will not be without interest, for the summarizing review of semiotic-mythological researches has not yet been carried out in the Soviet Union, either, although those who are familiar with the results of Soviet scholars have already realized the lasting value of these, opening up new vistas.⁵

2. *Theory and Practice*

We pondered what title could be given to the following part of our treatise, which, on the one hand, would express the many-sidedness that characterizes the diverse interest shown by Soviet scholars, and on the other hand it would refer to the fact that a good part of the papers to be mentioned deals with theoretical questions — for the introduction of semiotics⁶ into comparative and, altogether, into mythological researches had to be substantiated.

One of the first treatises of this kind appeared in the volume edited by T. N. Molosnaya (Molosnaya 1962) is the joint work of three scholars (Zaliznyak—Ivanov—Toporov 1962) A. A. Zaliznyak, V. V. Ivanov and V. N. Toporov started

⁴ Eimermacher, K. 1969. His recently published bibliography of the Soviet Semiotic School is the best (full detailed) collection of the works of the Soviet semioticians. Eimermacher 1974.

⁵ Papp, F. 1965. and Voigt, V. 1971. — E. Meletinsky and D. Segal's treatise (1971) appeared at the same time this work was completed and in it they also touch upon the Soviet semiotic-mythological school.

from the statement that various sign systems are the object of semiotics and these model the surrounding world differently from one another. The models can be different and can be determined by the degree of abstractness: thus, e. g. a mathematical system can be very abstract, but less of the modelling type, whereas the system of religion is less abstract, but it has strong modelling character. Linguistic systems lie between mathematics and religion. The authors deal with the latter two because their further purpose is to develop a new method of research called 'semiotic' by them, too, for the analysis of myths.

They have an interesting statement according to which in almost all religions they examined certain phenomena appear in similar or identical 'semiotic' situations even if there is no interrelationship between the cultures in space or in time. These are the situations where the religious 'message' or text appears.

In various religions messages can differ from one another according both to their content and form; they are, however, identical in two aspects: on the one hand people want to establish contacts with 'supernatural' beings mostly — even if this communication is hopelessly one-sided —, on the other hand the *message* is conveyed not only in one kind of 'language', but in more than one *code* at the same time. What does this mean? The point is simply that in the course of a religious ceremony they not only speak the words, they sing, too, for the most part, with the accompaniment of certain gestures (bows, knee-bending, crossing oneself) and perhaps dancing, not to speak of objects functioning as property (statues, pictures, clothes, flags, badges) of the forms of ritual eating and drinking during the service. This complexity of religious rites is characteristic not only of primitive peoples, but the religions of the so-called great or high cultures have also preserved it and, if possible, have made it even more involved.

Realizing this, the authors concluded that the first step in the course of the analysis is to separate these codes or levels and describe them as clearly distinguished from one another.

In the description it is expedient to follow the binary-based principles of linguistic description and sufficiently long texts must serve for us as a basis. The reason for this is that all texts contain stereotyped repetitions and this provides a statistical possibility for the opposition of essential and non-essential elements. After determining the elements we must strive to determine the semantics of the system (the meanings of elements). A synchronic and semantic textual description that is only based on the religious texts themselves cannot yield an entirely satisfying solution — we must also examine its relation to other systems, so first and foremost its connection with the social system and last but not least its relation to language.

The other such primary and fundamental paper is written by D. M. Segal and is entitled *On Several Problems of the Semiotic Study of Mythology*. The starting point is the concept of modelling in this paper, too: "The semiotic investigation of mythology considers myths such a system of behaviour in groups of people as models the outside world or its details in the mind of the individuals forming the community in question... The modelling capacity of myths and its effect on behaviour are determined by the collective character of the system of mythology (Segal 1962, 92)." Interaction between people, i. e. communication becomes possible through the circumstance that the semiotic system is common for a specific group of people and that the mem-

bers of the group attribute identical meaning to the elements of this system and react identically on the message conveyed by the signs. It is interesting to have modern man set up against groups of people, where myths are still a part of everyday life. The latter are characterized by a high degree of attachment to myths, by the fact that the model of behaviour created by myths is specific and detailed, whereas modern man is not connected directly with the intricately organized world of his environment (Segal 1962, 97), but through a hierarchy of sign systems". Segal determined the steps of the analysis of myths as well: "Segmenting sign elements; determining a possible hierarchy of simple and complex signs; determining the order of interconnections of signs, and, finally, interpreting the system thus created: i. e. signs, and, finally, interpreting the systems thus created: i. e. signs and their relations must be confronted with objects lying outside the myth. Finally, the interpreted system of myths must be compared with the behaviour of the group using it. A description meeting such requirements will be closed and exhaustive on the synchronic level" (Segal 1962, 93).

Such a three-level examination of myths corresponds to the three main categories of classical semiotics (syntax, semantics, pragmatics).

In 1962 a group was sent on an expedition to a Paleo-Siberian people living along the river Yenisey and its material has since been published (Ivanov—Toporov—Uspensky 1969). How far-sighted their plans were for the cognition of Ket mythology still functioning and for the collection and description of texts is demonstrated by the brief outline Ivanov and Toporov (Ivanov—Toporov 1962). In another outline⁷ they laid down the basic principles for the reconstruction of the mythological bases of the Ket epic. They started from the fact that a lot of remains of old epics can still be found in various texts. Therefore, the basis of reconstruction lies in the comparison of epic subject matters, fairy tales and texts in verse and prose. Besides, Ket decorative art and rites — these 'constitute the programme of myth as ritual actions' — were also included in the comparison and, in addition they also took into account the reflection of the features of organized society in myths and rites.

This complex programme was carried out when they described the magical-religious sign system of the Ket people,⁸ i. e. they 'reconstructed' the Ket conception of the universe. In the course of this first they enumerated the characters found in mythological texts and then they provided these with so-called 'distinctive features' on the basis of characteristic traits attached to them (whether they live up or down, whether they are good or evil, friendly or hostile, male or female, etc.). Thus, the characters could be classified into six groups. The uppermost level belongs to the supreme god dwelling in heavens, whereas e. g. cultural heroes (these are human beings) can be found on level III-RS and the shaman on level V. The figure so drawn and the network of the hierarchy of characters are very expressive. Of the semiotic system indicated in the title of their treatise the second is the system of prophecies

⁸ Ivanov, V. V.—Toporov, V. N. 1962. B. 148. "Myths and mythological texts as a programme for ritual actions."

⁹ Ivanov, V. V.—Toporov, V. N. 1965. Религиозно-магическая знаковая система is abbreviated in English as RS (religious system) in the Russian text, too.

⁹ Éva Pócs deals with a comparative examination of Hungarian spell-material.

followed by structural analyses of riddles and a legend. The analysis of ornamentation found mainly on shaman drums is very interesting. The figures can be divided into four parts (upper-lower and right-left) and it can precisely be given what elements can appear in individual parts. (E. g. the world-tree or tree of life divides space in two in the middle, with the moon on its left and always with the sun on its right.) The last part of the paper deals with the magic number 7, for plays a very important part in Ket mythology.

In 1969 they added commentaries (Ivanov—Toporov 1969) to the former description in *Studia Ketica*. Here they used not only their own collections, but they also checked the material of previous collections, i. e. the whole material by means of which the system of Ket mythology can be built up. The commentaries were grouped according to the levels introduced formerly, therefore first they dealt with god *Yes (Es)*, the supreme god of the Ket pantheon.

It is clear from the texts that *Es* means both sun and god which is endowed with anthropomorphic traits (therefore the possibility of a certain Indo-European comparison can be raised). Two explanations can be given concerning Ket monotheism: 1. The deified heaven is gradually transformed into one single god, which process was also stimulated by the Eastern Church; 2. the survival of ancient monotheisms can be observed with more and more layers of new influences (Ivanov—Toporov 1969, 150).

The series of characteristic features ascribed to the superior and inferior beings can be established on the basis of the collected texts and in the course of this the reconstruction of Ket mythology is accomplished. The spatial and temporal location of these superior beings (there is one called *Esteen* among them, too!), spirits, shamans, objects and animals is especially interesting. The mythological system of Ket religion is realized in various 'texts', in other words, in the special forms of behaviour on behalf of the members of the community: in rites, gestures, singing, yarn-spinning and in other forms of linguistic behaviour. All forms possess some sort of independence, but, practically, a close connection with the religious-mythological system is of vital importance.

V. N. Toporov published a further treatise 'on the mythological similarity of mythological structures' (Toporov 1969/a) again in *Studia Ketica*. In this he compares the mythological system of the Kets with the mythological systems of the neighbouring peoples (the Selkups, Evenkis, Nganasans and Nenets). Of course, such investigations are really needed, all the more so since the questions connected with the descent of the Kets are extremely complex — and perhaps such comparisons could render assistance in answering these. Toporov carried out the comparison only on the two upper levels of the religious system, but even so it was possible to establish that there is a high degree of similarity in the structure of the mythologies of the Kets and the Samoyedic peoples living in their neighbourhood. For this reason it is possible to speak of a 'Northern-Yenisey cultural-mythological unity'. In the first place Toporov's work is valuable for us from the methodological point of view; in the second place it is valuable for us because in the second part of his treatise he compares the Ket material with the religious systems of two Finno-Ugric peoples, the Voguls and Ostyaks.

Let us revert to the works of D. M. Segal, receptive to theoretical problems. In 1965 he again dealt with the general laws of modelling semiotic systems in a short paper (Segal 1965/a). He stated that global world-models are the results of cultural conventions and in the language of semiotics they are conventional sign systems.

The cognition of such a sign system is made possible by the elements of 'ordinary thinking' as well as by various 'texts' of everyday behaviour. Such systems may be characterized by openness, heterogeneity or heteromorphism and lack of sophistication as well as by the fact that they are of heuristic nature. At the same time he also published an analysis of myth (Segal 1965/b). In this paper he analyzed North-American Indian (Tsimshian) myths and found a correlation between the syntactic and semantic structures. The lecture written for the semiotic symposium held at Kazimierz near Warsaw (Segal 1966) was an extended version of this and presented the thorough analysis in its entirety. While shaping the way of analysis, here he made use of the descriptive rules established both by V. Ya. Propp (Propp 1928;1969 — Propp 1958; 1968) and Cl. Lévi-Strauss (Lévi-Strauss 1955). It is such summings-up of previous results that characterizes the work of most Soviet — and let's add that of several Central European — scholars, so it is here that Segal excels his masters (Voigt 1971). Since 1969 Segal has been working within a team whose leader is Ye. M. Meletinsky and which deals primarily with the analysis of tales (fairy tales). It is superfluous to emphasize how near the analysis of tales and myths (Meletinsky 1970) are to each other. The members of the working team worked out the steps of this common analysis (Meletinsky—Neklyudov—Novik—Segal 1969).

This is where Meletinsky's work is connected with the new trend in Soviet mythological researches. He does not consider himself to be a scholar in semiotics, he rather applies the labels structural-morphological (Meletinsky 1966) or structural-typological (Meletinsky 1970) to his work. Especially one of his latest papers merits attention, in which he surveyed the results of Soviet folkloristic structuralism and struck a balance of the works hitherto written. Few surveys have been made so far (Voigt 1969) that are so good and fewer still that would point out tasks for the future as well. Paradoxically Meletinsky's earlier works are such and the historical attitude, which structuralism still lacks even today, can be found in these works. In his work published in 1968 (Meletinsky 1968) he examined the folkloristic elements of Edda and carried out a structural stylistic analysis and, in addition, he made an attempt to lay the foundations for the details of historical poetics. Even earlier he tackled the general structure of heroic epics, using Chinese, Turkish, Mongolian, Caucasian and Mesopotamian examples (Meletinsky 1963). The two works are a lasting achievement of renewing Soviet mythological researches and because of their importance their review would deserve a separate paper.

It is characteristic of mythological researches being carried out in the Soviet Union that their scope of interest is not confined to a few cultures, but it encompasses an extraordinarily large field. B. L. Ogibenin, the talented young orientalist deals primarily with the problems of the meaning of certain sign systems (Ogibenin 1965). Thus, he touches on the description of the structure and meaning of rites and myths as well as on the linguistic problems of the description. He calls collective memory the set of rules that operates according to laws when we want to create 'texts' either in the code of myths or in that of rites. The systemic operation of rules can be traced

back to programmes of behaviour characteristic of the given society. The programmes are of comprehensive nature and as a governing principle they can be found in myths and rites alike. There are myths which are played, i. e. performed in the ritual code, too — although for the most part there is a complementary relationship between the text and the motions. It is interesting that Zipf's law, the 'principle of least effort' exerts its influence here.

His book published in 1968 (Ogibenin 1968) entitled *The Structure of the Mythological Texts of the Rig Veda (Vedic Cosmogony)* is primarily a linguistic and philological description, in which the author attempts to interpret the mythological content of the Rig Veda. By examining the 'language of the mythology' by means of a linguistic method he hopes to find the right way of analysis. He determines the elements of the mythology, then he provides them with distinctive features — such an element is a statement for the most part characteristic of or connected with a mythological character or deity — and this statement appears in the form of a sentence mostly in the Vedic texts. The Vedic mythical conception of the universe is very closely connected with and can be deduced, as it were, from the nature of language, especially from that of the sacred language, for this language is of highly symbolic nature (Ogibenin 1968/a. 88—89). Here again he states that the basic myth of the Rig Veda is that man offers a sanctified sacrifice, i. e. gives a present to the gods. (The sacrifice as a gift is a kind of communication according to the theory of general semiotics — and thus Vedic mythology describes a communicational-semiotic process.) In another formulation: with the help of sacred rites the sender (man) chooses a series of symbols (e. g. the sacrificial gift) from the symbolic code and this will serve for making contacts with the supernatural receiver. The process of communication (Ogibenin 1966) can not only be realized in the spoken language or by means of objects or gestures, but in the form of pictures, i. e. visually, too. It is chiefly the conception of the universe — in the narrower sense of the word — that can be expressed very well with the help of pictorial representations. Good examples for this can be found in Indo-Tibetan works; the structure of pictures provides an analogy of the Buddhist conception of the universe.

3. Slavic and Indo-European Comparisons

It is interesting to observe that the major representatives of the Soviet semiotic-mythological school are Slavists and orientalists.

V. V. Ivanov and V. N. Toporov, the two most active scholars are the collaborators of the Institute of Slavonic Studies, although originally both of them started from the fields of linguistics and oriental studies and got to the field of Slavonic studies and comparative folkloristic studies later through comparative Indo-European linguistics. Perhaps it would have been more accurate to state that these fields have never been separated in their work. This is clear from their papers, of which we are going to take first the treatises in Slavonic studies, then those treating Indo-European material of wider horizon.

Slavic Reconstructions. The year 1965 was the appearance of V. V. Ivanov and V. N. Toporov's joint work entitled *The Language Modelling Semiotic Systems*

of Slavonic (Ivanov—Toporov 1965). As regards the antecedents of this work, it is necessary to mention that already in 1963, at the Congress of Slavists held in Sofia they presented a paper (which could also be called a small monography) which contained the method they worked out for the reconstruction of Old Slavonic texts (Ivanov—Toporov 1963). They approached the problem along the lines of semiotics. An unknown system is given (Old Slavonic texts and fragments that have come down to us) which cannot be understood in its entirety, for the code that is necessary to decipher the message is not known exactly. Difficulties arise with decoding many times just like in the case of folklore texts. Since today more and more is known about the laws of linguistic generativity, if these laws are taken into consideration and applied backwards in time to include researches in historical linguistics, too, then perhaps we shall succeed in deciphering fragmentary Proto-Slavonic texts. It is particularly necessary to take into account later Slavonic oral tradition as well in decoding these texts. The authors did not commit the mistake of carrying out the analytical comparison only on the upper level of texts, on the levels of content; they extended their examination to deeper morphological and phonological levels, too. The latter reconstruction can be regarded as a test of content analysis in many cases. The phonological structure of Slavonic folk-poems is analysed in this way. Following Jakobson they also find that Slavonic poems have a determinable phonological structure. Word collocations that are to be found on the syntactic level also form a certain system. Referring to Kolmogorov they state that the flexibility of a language depends on the number of possible, meaning-preserving transformations.

The stylistic rule that there is a relationship between the use of the predicate and the corresponding objects, i. e. a predicate corresponding to the facts is always used is demonstrated on a fairy tale analysed by Propp. They presented their method of reconstruction on names of gods belonging to the Eastern Slavonic pantheon. The names of gods were taken as short texts here and the analysis was carried out from the phonological level to the mythological content. Constituents of names (e. g. Czech *Chernobog* 'black god') were reconstructed by means of linguistic material taken from various Slavonic languages; moreover, in a few cases this also led to the illumination of the structure of Proto-Slavonic society. As a result of comparative work carried out on a large scale they managed to reconstruct some ancient Slavonic phraseological units, too, especially when analysed the old Slavonic epic tradition. (E. g. they examined spells and funeral-songs and in the latter motives referring to mythological and shamanistic rites were found.) It must be mentioned that the time of the completion of this volume the reconstruction of the mythological system written on the basis of Ket collections presented earlier was practically accomplished. The system of reconstruction presented here consists in representing individual systems of gods as graphs (nets) and these nets are compared in the course of comparative investigations. It is mentioned in the Introduction that Lévi-Strauss' work entitled *La pensée sauvage* meant considerable help for them, and they referred to Jakobson in the same way because his valuable help and the results of his linguistic and mythological work were also made use of. The structure of the volume treating the Slavonic mythological models is the following. The first part presents a few elements of the Slavonic world-model and the elements of the so-called religious system are examined here. Only the upper levels of this system are taken into account (this is marked by

I and is the level of the supreme gods). This part contains three chapters, of which the first deals with the religious system of the Eastern Slavs by taking in turn the elements (i. e. the important gods, old source material about them, as well as tales and myths) and representing the interconnections between these elements in the form of nets. In the second chapter the religious system of other Slavonic peoples are presented in the same way. Reverting to the question how to reconstruct the old Slavonic religious system, the authors sum up under 17 items the system of oppositions by means of which the whole system of gods can be constructed. These oppositions are the following: luck—bad luck, life—death, up—down, sky—earth, earth—under the earth, North—South, East—West, sea—land, daylight—night, spring—winter, sun—moon, white—black, red—black, land—water, near—far, house—forest, man—woman, sacred—profane.

In the second chapter they make an attempt to describe old Slavonic religious systems individually (using a structural approach). Finally, several typological remarks are made about the religious system of the old Slavs and in the fields of comparative mythology they venture out to distances somewhat astonishing to us. In a third, appendixlike part the formalized description of the system is given together with some examples from the reconstructed texts or from their elements.

The two works mentioned above prepared methodologically the series of treatises in which the two authors plan to reconstruct the whole system of Slavonic mythology (and not only old religious systems). In accordance with this goal they have produced partial treatises lately. For instance the material of Byelorussian folklore has been subjected to a careful analysis. Meanwhile they worked out the methods for the formal description of folkloristic pieces (Ivanov—Toporov 1966) and they analysed myths and rites (Ivanov—Toporov 1969) at a time. In 1970 they summed up their results in a small monography of a treatise (Ivanov—Toporov 1970. A). Of their further attempts at reconstruction mention must be made of the one in which they systematize the data available about one of the Slavonic deities, *Veles-Volos* (Ivanov—Toporov 1970. B) and also of the two in which Toporov strives to shed light upon the connections between Slavonic and Baltic folklore (Toporov 1963; 1966). The reconstruction of the 'world-egg' myth, also a work by V. N. Toporov (1967) points towards wider horizons of comparative studies.

Indo-European parallels. On the one hand the reconstruction of the system of Slavonic mythology is inconceivable without examining Indo-European parallels; on the other hand, to reverse the problem, a thorough knowledge of the partial systems is also indispensable for the reconstruction of the Indo-European mythological system.

This two-fold purpose was leading Ivanov and Toporov in writing about a dozen treatises having an Indo-European subject. The two authors followed the lines of Georges Dumézil primarily, but they also made use of Roman Jakobson's directions (Jakobson 1970), which he formulated in 1964 in Moscow at the VIIth Anthropological Congress in a lecture entitled *The Linguistic Evidence in Comparative Mythology*. First and foremost two of Ivanov's earlier works (Ivanov 1957; 1965) must be mentioned as well as a short paper (Ivanov 1968) in which he tackled the development of sign symbols with particular attention to Indo-European mythology. This outline, which appeared among the propositions of the Tartu Summer School held in 1968,

indicates that the Siberian and Slavonic material will be followed by the Indo-European. V. N. Toporov (Toporov 1969 Ivanov 1969) tries to reconstruct an Indo-European ritual-poetical formula by means spell-material. Talking of the possibility of such a reconstruction he gives voice to his conviction that the reconstruction is plausible. He himself quotes Hittite, Ancient Greek, Celtic, Indo-Iranian and Baltic material, too; moreover, in the notes the reader is provided with extensive bibliography for the investigation of Indo-European spells. V. V. Ivanov (Ivanov 1969) adds a few remarks to the typological and historical investigations of Roman and Indo-European mythology. The word 'remarks' in the title merely refers to the circumstance that it is not an accomplished work, but a very close processing of partial problems to serve as bricks for a summarizing work. Besides the Roman material he also includes in the comparison the mythical and ritual material of the Etruscan and Anatolian peoples. It is interesting to observe how he strives to interpret the great master, Georges Dumézil's work (Dumézil 1966) from a semiotic point of view, i. e. to find in it ideas corresponding to modern theories.

V. N. Toporov (Toporov 1969/C) also published two short papers entitled *Parallels to Ancient Indo-Iranian Social and Mythological Conceptions*. He started from the fact that even hitherto investigations have uncovered a number of common elements in the Slavonic and Indo-Iranian word-stock for the expression of social and religious conceptions. In the first part of the paper he points out in the Avesta the parallels of the word-stock connected with Mithras, and in the second part he deals with the relevant features of a Russian folk-tale (Aarne 301 A B) and with the etymology and mythological significance of the names of the characters. Such an element is the figure of the dragon living under the earth, too; this subject was further extended in a joint article with Ivanov (Ivanov—Toporov 1970/A).

4. Conclusions

As has been emphasized earlier, V. V. Ivanov's and V. N. Toporov's work in comparative mythological studies cannot be separated from their linguistic activity — this assertion, however, is true not only of them two but, practically, of the whole Soviet semiotic school. Researches, however, only derive benefit from this strong linguistic orientation. It is promising from the viewpoint of the future, too, that the scope of comparative mythology is extended rather than narrowed and that the possibilities of advancing further are investigated in the direction of *ethnolinguistics*. One of the basic principles of ethnolinguistics, (Hymes 1966) as is well-known, is that the language used by a society has a decisive influence on the various manifestations of culture. Such a field where this phenomenon can be observed very well is mythology and — in so-called high cultures — religious consciousness.

We mention B. A. Uspensky's paper (Uspensky 1969) in this range of subjects. According to him, one of the decisive phenomena of Russian religious mind is that etymologically a lot of other expressions are related to the word *cross* (крест) and the examination of these provides a possibility for very interesting historical and philological conclusions.

A. M. Piatigorsky (Piatigorsky 1965) dealt with mythology from the viewpoint

of psychology. According to his definition, on the one hand mythology is a special branch of science, on the other it is clearly a psychological phenomenon, since it endeavours to dissolve oppositions by creating a new, synthetic construction choosing from possibilities confronting with each other.

The semiotic investigation of mythology, i. e. its interpretation as a system of signs is a new idea or, as you please, the invention of the Soviet scholars introduced above. Finally, I should like to call attention to the work of the head of the 'semiotic school' working in Tartu, for, virtually, only the works of scholars working in Moscow have been reviewed so far. Yu. M. Lotman is a scholar who sets out to account for the whole cultural framework and analyses culture itself — as a semiotic mechanism (i. e. as a process of signs=semiosis) whose aim is the storage, processing and conveyance of information. The conveyance of news within the confines of culture takes place by means of certain texts. A joint paper of Yu. M. Lotman and a psychologist, A. M. Piatigorsky (Lotman—Piatigorsky 1969) is about this, only the concept of 'text' is taken in a very broad sense when mention is made of the various *texts* of culture. (In this sense mythology is only one of the texts.) It is an interesting idea in this paper that the type of culture determines whether a text has only one or more functions, or whether all functions have a separate text attached to them. Lotman put forward the idea that the independent and peculiar culture of individual peoples must be regarded as a peculiar text which has to be deciphered, decoded and read. (This is why the question of reconstruction became one of the crucial problems of Soviet mythological researches — decoding here is virtually the reestablishment of the original system.) In a book published in 1970 he devotes a separate chapter to the questions of textual typology (Lotman 1970; Lotman 1967). This is essential because by laying the typological foundations of culture Lotman provides a broad framework for the further development of semiotic researches and he points out the direction of progress, too, at the same time. In the last chapter of the same book he calls attention to the not too well-known fact that it is necessary to work out a meta-language for every branch of science. Soviet scholars successfully created the meta-language of mythological description; and, as has been seen, they have produced not only theoretical or methodological papers but they have carried out concrete analyses, too. From Sanskrit texts to Russian folk-tales, from Abhazian child games to Byelorussian agrarian rites they have examined a lot of facts to try out their methods.

For this reason this many-sidedness proves the prudence and thoroughness of their investigations and gives credit to them.

According to the English proverb the proof of the pudding is in the eating. It is easy to write a critical or an annotated review of Soviet mythological semiotics, but it is much more useful if after the treatises became known and the attention was called the results of the Soviet scholars will be applied here, and not only here in Hungary, too, for a decade after the publication of the first papers it can be assured that they have done significant work and that they have made their mark as scholars.

Literature

- Dumézil, G. *La religion romaine archaïque*. Paris, 1966
- Eimermacher, K. Entwicklung, Charakter und Probleme des sowjetischen Strukturalismus in der Literaturwissenschaft", *Sprache im Technischen Zeitalter*, 1969, 30:126—57
- Eimermacher, K. "Arbeiten sowjetischer Semiotiker der Moskauer und Tartuer Schule." (Auswahl bibliographie.) Kronberg. Scriptor Verla
- Greimas, A. J. (et alii eds.), *Sign—Language—Culture*. The Hague-Paris, 1970.
- Hoppál, M. Review: Sz. L. Vigotskij, "Művészetszichológia" (Psychology of Art) *Acta Ethnographica* (Budapest) 1971, 20:223—27 (In German).
- Hymes, D. H. "Language in Culture and Society" *A Reader in Linguistics and Anthropology*. New York—Evanston—London—Tokyo, 1964.
- Ivanov, V. V. *L'évolution des signes-symboles*. Semiotica, 1969, 1:2:218—21.
- Ivanov, V. V.—Toporov, V. N. *Le mythe indo-européen du dieu de l'Orage poursuivant le serpent*. Reconstitution du schéma in J. Pouillon—P. Maranda, eds. 1970. (1970. A)
- Lévi-Strauss, Cl. "The Structural Study of Myth," *Journal of American Folklore*, 1955. LXVIII: 428—44.
- Lotman, I. M. "Problèmes de la typologie des cultures" *Social Sciences Information*, 1967. 6:2/3:29—38.
- Lotman, J. M.—Piatigorsky, A. M. *Le text et la fonction*, Semiotica, 1969, 1:2:217—23
- Meletinsky, Ye. M. "The Structural-Typological Study of Folklore" *Social Sciences* (Moscow), 1970. 1:3:64—81.
- Meletinsky, E.—Segal, D. "Structuralisme et sémiotique en U. R. S. S.," *Diogenes*, No. 73. 1971. 94—117.
- Ogibenin, B. L. "Communication Process in Indo-Tibetan Art", *Paper for Semiotic Symposium in Warsaw*, 1966.
- Ogibenin, B. L. "Myth Message in Metasemiotic Research" *Social Science Information*, 1968. 7:5:87—93. (1968/a.)
- Papp, F. "Szemiótikai jegyzetek" (Notes on Semiotics), *Általános Nyelvészeti Tanulmányok*, (Budapest), 1965. III: 157—76.
- Pouillon, J.—Maranda, P. eds. *"Échanges et communications"*, *Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60^{ème} anniversaire*, La Haye, 1970.
- Propp, V. J. *Morphology of the Folktales*. Bloomington, Ind. 1958, Austin-London, 1968.
- Toporov, V. N. "Parallels to Ancient Indo-Iranian Social and Mythological Concepts", in: *Pratidanam*. Studies to Franciscus Bernardus Jacobus Kuipers on his Sixtieth Birthday, pp. 108—20. Gravenhage, 1969. (1969. C)
- Venclova, T. 1967. "Le Colloque sémiotique de Tartu", *Social Science Information*, 1967. 6:4:123—9.
- Voigt, V. "Towards Balancing of Folklore Structuralism", *Acta Ethnographica* 1969. XVIII: 247—66.
- Voigt, V. "Some Problems of Narrative Structure Universal in Folklore", *Paper for the Symposium on Mythology and Folklore — Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica*. Urbino, July 1971.
- Зализняк А. А. — Иванов В. В. — Топоров В. Н. «О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих систем», in: *Молодая Т. Н.* 1962, 134—43.
- Иванов В. В. «Социальная организация индоевропейских племён по лингвистическим данным». *Вестник истории мировой культуры*, 1957, № I, 43—5.
- Иванов В. В. «Предисловие». *Симпозиум по структурному изучению знаковых систем*. Москва, 1962., 3—9.
- Иванов В. В. *Общиневропейская, праславянская и анатолийская языковые системы*.

- Иванов В. В. «Эволюция знаков-символов», in: *Летняя школа...*, 1968, III, 3—6.
- Иванов, В. В. «Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии» *Труды...* 4, 1969, 44—75.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «Кетская модель мира», *Симпозиум...*, 1962, 99—102.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К вопросу о реконструкции кетского эпоса и его мифологических основ», *Симпозиум...*, 1962, 146—9.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К реконструкции праславянского текста», *Славянское языкознание, Доклады советской делегации. V-ый Международный съезд славистов*. Москва, 1963, 88—158.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. *Славянские языковые моделирующие семиотические системы*. Москва, 1965.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К описанию некоторых кетских семиотических систем» *Труды...*, 2, 1965, 116—43.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К семиотическому анализу и формализованной записи мифа и ритуала на белорусском материале», in: *Тезисы...*, 1966 стр. 46—9.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К семиотической интерпретации коровая и коровяных обрядов у белоруссов» *Труды...*, 3, 64—70.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «Комментарий к описанию кетской мифологии», in: *Кетский сборник — мифология, этнография, тексты*. Москва, 1969, 148—66.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К семиотическому анализу мифа и ритуала» (на белорусском материале), in: A. J. Greimas (et alii eds.) *Sign-Language-Culture*. The Hague—Paris, 321—89. 1969.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н. «К реконструкции образа Велеса-Волоса как противника громовержца — на основании вторичных источников», in: *Тезисы...*, 1970, 47—50.
- Иванов В. В.—Топоров В. Н.—Успенский, В. А. (Под ред.), *Кетский сборник — мифология, этнография, тексты*. Москва, 1969
- Лекомцев Ю. К. «Мифологическая система санталов», *Тезисы...*, 1966, 79—81.
- Летняя школа по вторичным моделирующим системам*. Тарту, 1968.
- Лотман Ю. М. *Статьи по типологии культуры*. Тарту, 1970.
- Мелетинский, Е. М. *Происхождение героического эпоса*. Москва, 1963.
- Мелетинский Е. М. «О структурно-морфологическом анализе сказки», в: *Тезисы...*, 1966, 37—40.
- Мелетинский Е. М. *Эдда и ранние формы эпоса*. Москва, 1968.
- Мелетинский Е. М. «Миф и сказка», in: *Фольклор и этнография*, 1970, 139—48.
- Мелетинский Е. М.—Неклюдов С. Ю.—Новик Е. С.—Сегал Д. М. «Проблемы структурного описания волшебной сказки. *Труды* IV. 1969, 86—135.
- Молошная Т. Н. (под ред.) *Структурно-типологические исследования*. Москва, 1962.
- Огибенин Б. Л. «Замечания о структуре мифа в Ригведе». *Труды...*, II, 1965, 192—97.
- Огибенин Б. Л. «К вопросу о значении в языке и некоторых других моделирующих системах.» *Труды...* 2, 1965, 49—59.
- Огибенин, Б. Л. *Структура мифологических текстов «Ригведы»*. Москва, 1968.
- Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам* Тарту, 1964.
- Пропп В. Я. *Морфология сказки*. Ленинград, 1928, Москва,² 1969.
- Пятигорский А. М. «Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психологии», *Труды...* 2, 1965, 38—48.
- Сегал, Д. М. «О некоторых проблемах семиотического изучения мифологии», *Симпозиум...*, 1962, стр. 92—9.
- Сегал, Д. М. «Заметки об одном типе семиотических моделирующих систем» *Труды...*, II, 1965, 60—63. 1965/a

- Сегал Д. М. «Опыт структурного описания мифа» *Труды...*, 2, 1965, стр. 150—8.
- Сегал Д. М. «О связи семантики текста с его формальной структурой». *Poetyka, Poetics* (Warszawa—Paris—The Hague), 1966, 15—44.
- Серебряный С. Д. «Интерпретация формулы В. Я. Проппа» in: *Тезисы*, 1966, 92—5.
- Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов*. Москва, 1962.
- Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам*. Тарту, 1966.
- Тезисы докладов IV-ой летней школы по вторичным моделирующим системам*. Тарту, 1970.
- Топоров В. Н. «Из области балто-славянских фольклорных связей». (*Lietuviu kalbotijos Klausimai*) VI. Vilnius, 1963, 149—74.
- Топоров В. Н. «К реконструкции некоторых мифологических представлений». In: *Народы Азии и Африки*. 1964, 101—11.
- Топоров В. Н. «Ещё раз о природе ведийского Митры в связи с проблемой реконструкции некоторых древних индоиранских представлений». *Тезисы...*, 1966, 50—2.
- Топоров В. Н. «Об одной ,ятавжской' мифологеме в связи со славянской параллелью», *Acta-Baltico-Slavica*, 143—9
- Топоров В. Н. «К реконструкции мифа о мировом яйце. (На материале русских сказок)» *Труды...*, 3, 1967, 81—99.
- Топоров В. Н. «О типологическом подобии мифологических структур у кетов и соседних с ними народов». in: *Кетский сборник — мифология — этнография — тексты*. Москва, 1969, 126—47. 1969/a
- Топоров В. Н. «К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров)». *Труды...* 4, 1969, 9—43. (1969/b)
- Труды по знаковым системам*. (Tõõd semiootika alalt — Works on Semiotics) II, Тарту, 1965. III, Тарту, 1967. IV. Тарту, 1969.; V. Тарту 1971; VI. Тарту 1973; VII. Тарту 1975.
- Успенский Б. А. «Влияние языка на религиозное сознание». *Труды...* 4. 1969 159—68.
- Якобсон Р. «Роль лингвистических и этнографических показаний в сравнительной мифологии». VII-ой *Международный конгресс антропологических и этнографических наук*, V. Москва, 1970 (1964), 608—19.

INDEX

И. К. Белодед: Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение в жизни народов СССР	5
М. С. Зарицкий: Зіставне вивчення лексики інослов'янської мови в українсько-російському мовному середовищі	17
С. В. Семчинський: Семантичні запозичення слов'янського походження в народних говірках східнороманських мов	31
Л. Дэже: Исторические пласты лексики закарпатского украинского литературного языка XVI века	43
Л. Киш: Расщепление одного слова в древневенгерском языке и славянские параллели	61
Ф. Папп: Некоторые количественные показатели венгерских и русских текстов на уровне фонем	67
М. А. Карпенко: Обобщенно-символическое слово- и фразеупотребление в горьковской речи и его резонанс в русском литературном языке	75
О. С. Дяченко: Тема дружби народів в українській літературі про Велику Вітчизняну війну	87
Э. Иглои: «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева как первый русский реалистический роман	97
К. А. Шахова: Йозеф Этвеш и Н. В. Гоголь (О некоторых типологически сходных чертах романа Й. Этвеша «Деревенский нотариус» и поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»)	105
L. LIEBER: Die Welt der lebendig gewordenen Gegenstände in Puschkins Prosa („Der Schuß“, „Der Postmeister“)	117
А. В. Кулинич: К проблеме традиций и новаторства в творчестве В. Маяковского	131
С. Ф. Щелокова: К вопросу об эстетических взглядах К. Паустовского (30-е годы)	143
И. Молнар: Драма М. Булгакова и Я. Ивашкевича о Пушкине	155
E. NIEDERHAUSER: Les lumières en Europe Orientale et les débuts des mouvements nationaux	167
M. HOPPÁL: Mythology as a System of Signs (Semiotic trends in Soviet comparative mythology)	181

СОДЕРЖАНИЕ

И. К. Белодед: Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение в жизни народов СССР	5
Н. С. Зарицкий: Сопоставительное изучение лексики инославянского языка в украинско-русской среде	17
С. В. Семчинский: Семантические заимствования славянского происхождения в народных говорах восточно-романских языков	31
Л. Дэже: Исторические пласты лексики закарпатского украинского литературного языка XVI века	43
Л. Киш: Расщепление одного слова в древневенгерском языке и славянские параллели	61
Ф. Пап: Некоторые количественные показатели венгерских и русских текстов на уровне фонем	67
М. А. Карпенко: Обобщенно-символическое слово- и фразеупотребление в горьковской речи и его резонанс в русском литературном языке	75
А. С. Дьяченко: Тема дружбы народов в украинской литературе о Великой Отечественной войне	87
Э. Иглои: «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева как первый русский реалистический роман	97
К. А. Шахова: Йозеф Этвеш и Н. В. Гоголь (О некоторых типологически сходных чертах романа Й. Этвеша «Деревенский нотариус» и поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»)	105
Л. Либер: Мир оживленных предметов в прозе Пушкина («Выстрел», «Станционный смотритель»)	117
А. В. Кулинич: К проблеме традиций и новаторства в творчестве В. Маяковского .	131
С. Ф. Щелокова: К вопросу об эстетических взглядах К. Паустовского (30-е годы) .	143
И. Молнар: Драма М. Булгакова и Я. Ивашкевича о Пушкине	155
Э. Нидерхаузер: Просвещение в Восточной Европе и начало национальных движений	167
М. Хоппал: Мифология как знаковая система (Семиотические направления в советском сравнительном мифологическом исследовании)	181

TABLES DES MATIÈRES

I. K. BELODED: Les enseignements de Lénine concernant le développement des langues nationales et leur réalisation dans la vie des peuples de L'Union Soviétique	5
N. S. ZARYTSKY: Étude comparée du lexique de diverse origine slave dans le milieu linguistique ukrainien-russe	17
S. V. SEMTCHYNSKY: Emprunts sémantiques d'origine slave dans les dialectes populaires des langues romanes orientales	31
L. DEZSŐ: Les couches historiques du vocabulaire dans la langue littéraire de l'Ukraine transcarpathique au XVI ^e siècle	43
L. KISS: Une scission de forme lexicale en ancien hongrois, avec des parallélismes slaves . . .	61
F. PAPP: Quelques indices quantitatifs des textes hongrois et russes au niveau du phonème . .	67
M. A. KARPENKO: Termes et expressions à fonction symbolico-généralisatrice dans l'écriture de Gorki, leur écho dans la langue littéraire russe	75
A. S. DIATCHENKO: Le thème de l'amitié des peuples dans la littérature ukrainienne sur la Grande Guerre Patriotique	87
E. IGLÓI: Le «Voyage de St. Petersburg à Moscou» de Radichev, premier roman réaliste russe	97
K. A. CHAKHOVA: József Eötvös et N. V. Gogol (Sur l'analogie de certains traits typologiques dans un roman de J. Eötvös, «Le notaire du village» et dans le poème de N. V. Gogol, «Les âmes mortes»)	105
L. LIEBER: L'univers des objets animés dans la prose de Pouchkine («Le coup de feu», «Le maître de poste»)	117
A. V. KOULNITCH: Sur le problème de la tradition et de l'innovation dans les oeuvres de V. Maïakovski	131
S. F. STCHELOKOVA: A propos des idées esthétiques de K. Paoustovski (les années 30) . . .	143
I. MOLNÁR: Les drames de M. Boulgakov et d'Ivachkevitch sur Pouchkine	155
E. NIEDERHAUSER: Les lumières en Europe Orientale et les débuts des mouvements nationaux	167
M. HOPPÁL: La mythologie comme système de signes (Tendances sémiotiques dans la mythologie comparée soviétique)	181

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Felelős kiadó: *Dr. Kónya István*
Felelős szerkesztő: *Iglói Endre*
Technikai szerkesztő: *Lieber László*
A kézirat a nyomdába érkezett 1975
Megjelent 1976

Készült monószedéssel íves magasnyomással,
az MSZ 5601—50 és az MSZ 5602—55 szabvány szerint
Példányszám: 700. Terjedelem 00,00 A/5 ív
76.1838,66-11-2 Alföldi Nyomda, Debrecen

NOS
COLLABORATEURS

I. K. BELODED

titulaire de la Chaire de langue ukrainienne,
membre de l'Académie de l'URSS, vice-
président de l'Académie de la RSSU
(l'URSS, Kiev)

K. A. CHAKHOVA

(v. Slavica X.)

LÁSZLÓ DEZSŐ

(v. Slavica XIII.)

A. S. DIATCHENKO

maître de conférences à la Chaire de litté-
rature ukrainienne (l'URSS, Kiev)

MIHÁLY HOPPÁL

chercheur scientifique (Institut d'Ethno-
graphie de l'Académie Hongroise)

ENDRE IGLÓI

professeur d'université (v. Slavica I.)

M. A. KARPENKO

professeur d'université (v. Slavica X.)

LAJOS KISS

premier attaché de recherches (v. Slavica V.)

A. V. KOULINITCH

professeur d'université à la Chaire de litté-
rature russe (l'URSS, Kiev)

LÁSZLÓ LIEBER

(v. Slavica XIII.)

ISTVÁN MOLNÁR

professeur adjoint (v. Slavica XIII.)

EMIL NIEDERHAUSER

professeur d'université (v. Slavica IV.)

FERENC PAPP

professeur d'université (v. Slavica XI.)

S. V. SEMTCHYNSKY

professeur d'université (v. Slavica X.)

S. F. STCHELOKOVA

professeur adjoint à la Chaire de littérature
russe (l'URSS, Kiev)

N. S. ZARYTSKY

maître de conférences à la Chaire de philo-
logie slave (l'URSS, Kiev)